

АВРОРА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал «Аврора»

Издается с июня 1969 года

№ 5, 2016 г.

Санкт-Петербург



Кира Грозная

Этот удивительный год кино

Подходит к концу Всероссийский год кино. И немного грустно оттого, что не все новые, нашумевшие фильмы удалось посмотреть, и не хватает яркой «киношной» жизни, и хочется, чтобы следующий, 2017 год, в творческом плане тоже стал чем-то особенным!

В этом году нас, авроровцев, откровенно порадовал конкурс «Лучший молодежный сценарий в год кино», который проводится при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга. Сценариев было прислано много, и среди них — немало ярких, интересных работ с непростыми сюжетными поворотами. Конечно, хотелось бы не читать о них, а следить за их развитием на большом экране! Жаль, что возможности и нашего шорт-листа, и списка победителей так ограничены. Зато уже в следующем, шестом выпуске журнала читатели «Авроры» смогут ознакомиться со сценариями-победителями. Каждый из этих сценариев — это уникальная история, в первую очередь, добрая и светлая.

Председатель конкурсного жюри, кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии России И. Ф. Масленников отметил, что при оценке представленных сценариев главными для него были «уровень профессионализма и степень гуманизма». Также он обратил внимание на то, что значительная часть допущенных до участия в конкурсе работ почему-то была посвящена детям или школе. Значит ли это, что наша творческая молодежь еще не до конца рассталась со своим замечательным детством? Или повышенное внимание к проблемам детства и отрочества следует считать одной из отличительных черт российского «кинематографа будущего»? Ведь те сценаристы, которые сейчас прислали свои работы на наш конкурс — это завтрашние «мэтры» отечественного кинематографа...

Приятно было с ними познакомиться. А главное — убедиться в очередной раз, что «страшные девяностые», с их травмировавшей юные души смутой, разрухой и неопределенностью, остались далеко позади.

Отсутствие «чернухи» в конкурсных работах (и в головах их авторов), на наш взгляд, есть первый признак того, что искусство действительно способно изменить этот мир к лучшему!

Содержание

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОД КИНО

Валерий Попов	
<i>Муки творчества</i>	
Роман Круглов	
<i>Ф. М. Достоевский в кино постмодернизма</i>	
Лев Наумов	
<i>Александр Кайдановский и семья его керосинщика (окончание)</i>	
Извещение о завершении II этапа конкурса	
«Лучший молодежный сценарий в год кино». Шорт-лист	

ПРОЗА

Светлана Забарова	
<i>Зверь любви. Повесть номера</i>	
Эрик Шмитке	
<i>Марсианские Лазни. Рассказ</i>	
Светлана Волкова	
<i>Побричь Добролюбова. Рассказ</i>	

ПОЭЗИЯ

Наши рижские гости

Евгений Орлов, Николай Гуданец, Владлен Дозорцев, Юрий Касянич, Милена Макарова, Ирина Зиновчик, Михаил Москаленко, Наталья Бельская, Владимир Соляр, Петр Межиньш, Людмила Межиньш, Сергей Воробьев
--

ВЗГЛЯД

Наши юбилеи

<i>Российскому научно-техническому обществу судостроителей имени А. Н. Крылова – 150 лет!</i>

МЕТРОНОМ

Роман Круглов	
<i>Спасение от бессмысленности. О творчестве Алексея Ахматова</i>	
Сергей Арно	
<i>Дайвер должен пройти через смерть</i>	

ВЗГЛЯД

<i>Репортаж об участии в международной книжной ярмарке в Хельсинки–2016</i>

Женский взгляд

Виктория Черножукова

Кино и ветер. Размышления при просмотре фильма «Прикосновение ветра»

ДЕБЮТ

Александр Левашов

Стихи

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ

Валерий Киселев

Команда (рассказ)

Олег Дорогань

Стихи

Владимир Галахов

Рассказы

Энвер Ажиба

Стихи

Екатерина Наговицына

Тонкая струна

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Сделано в Петербурге!

НАШИ КОНКУРСЫ

Информация о проведении конкурса «Серебряный голубь»

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ

Элла Бельская, Николай Мотовилов

Я. И. Перельман – великий популяризатор науки

Валерий Попов

О Довлатове (отрывок из книги серии ЖЗЛ «Довлатов»)



Валерий Попов

Муки творчества

Валерий Попов. Русский писатель, сценарист, кинематографист. Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кинематографистов. Председатель дипломной комиссии сценарного отделения института кино и телевидения. Автор сорока книг. Публиковался в изданиях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и других. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2013 г.), Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства (2014 г.), Гоголевской премии за книгу «Зощенко» (2015 г.) и других. Награжден орденом «Дружбы» (2009 г.) и знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014 г.). Живет в Санкт-Петербурге.

Кино, несомненно, влияет на жизнь — и особенно на жизнь тех, кто его делает.

Помню как я, юный, голодный, да еще и легкомысленный, прорывался на «Ленфильм». Думал — стоит только прорваться, и все сразу пойдет... Однако сценарии мои (слишком легковесные, как я понимаю теперь) почему-то не брали. И я «осел» в студийном кафе, как и многие, подобные мне — самонадеянные и пустые.

Мой друг Цыбульник, тоже закончивший ВГИК (как и я... ну и что?), устроился на одну из самых низших должностей: помощник режиссера, мальчик на побегушках, как оценивал это я. Однажды он, к моему неудовольствию, вытащил меня из нетрезвой компании, окопавшейся в дальнем углу кафе.

— Будешь сниматься, — жестко сказал он. — А то, я гляжу, скоро сопьешься.

— А где... происходит действие фильма? — Заплетающимся языком выговорил я.

— На Чукотке.

— А...

— Но снимаем в Крыму.

— А-а-а!

— Отрастишь бороду! — Приказал он.

— ...А кто я? — Поинтересовался вскользь.

— Увидим, — отрывисто произнес он и умчался.

Борода, отрастая, дико чесалась, а девушки, которым я раньше нравился, теперь в ужасе отшатывались, видя меня. А Цыбульник, что интересно, вообще исчез — укатил в какую-то киноэкспедицию (на выбор натуры, как мне кто-то сказал). Какая ему нужна была борода — неизвестно, она росла у меня абсолютно бесконтрольно, и теперь ужасались не только девушки, но и родители, и пассажиры метро.

Наконец, появился Цыбульник, и хоть он одобрил меня:

— Ну что? Одичал нормально! Страшней, чем я думал. Молодец!

Процесс «творческого одичания», оказывается, только начался. С несколькими такими же страшилами меня привезли в город Керчь в Крыму.

Был июль. Нас одели в кожаные штаны, тяжелые сапоги, толстые свитера и меховые шубы (действие фильма, вспомнил я, происходит на Чукотке). Но уже было поздно раскаиваться. Нас привезли на засушливый мыс Казантип, уходящий в мелкое и теплое Азовское море, и погрузили на парусник.

Оказывается, мы — американские китобои, приплывшие на Чукотку, которая Америке никогда не принадлежала... Негодяи, короче. Поведение — соответствующее. Тридцатиградусная жара, не снимаемые доспехи, перебои с пресной водой, но зато — бесперебойное снабжение самогоном (так нас «вводили в образ»!)

Наконец, режиссер скомандовал: «Можно выпускать!»

Вот оно, лицо американского империализма! Готово!

Местное население было представлено почему-то только женщинами (мужчины, видимо, опрометчиво ушли на охоту). Красавиц-чукчанок в разукрашенных нарядах с энтузиазмом изображали работницы ближнего корейского лукового совхоза, тогда еще «миллионера». Мы должны были набрасываться на них (разумеется, в рамках советской эстетики) — но с огоньком!

— Похоть, похоть где?! — покрикивал режиссер-новатор. Положительным героям такое не позволялось, но отрицательным — как же без этого? Не знаю, как готовили наших партнерш, но от дублей они не отказывались, только хихикали. Не отказывались они и от частных приглашений «на репетицию».

Я уже чувствовал себя негодяем. Перевоплощение удалось! Но удастся ли перевоплотиться обратно? Вот о чем я думал по ночам, особенно после затаившихся «репетиций».

Уже пора было здесь появиться положительному герою славянской внешности (его играл Юрий Богатырев), который должен был нас всех перестрелять, но он задерживался в театре, и мы дичали все больше.

Вот оно, настоящее искусство! Обманом не проживешь — все всерьез! Добавлю, что моим соседом по номеру был пиротехник-садист, помешан-

ный на взрывах и выстрелах, и он уже отрабатывал на нас (и особенно почему-то — на мне) довольно болезненные «попадания пуль» (хотя тот, кто их должен был выпустить, находился еще в Москве). «Да у меня уж все ребра болят!» «Ничего, ничего, — ласково приговаривал он, развешивая на мне взрывные устройства, — такая наша специальность!»

Наконец, спаситель, а точнее, палач наш приехал, извиняясь за опоздание. «Убивал» он нас долго и мучительно — каждый день было дублей шесть! «Не то!» — вздыхал режиссер. «Да! Мало мучаются за все свои преступления!» — поддакивал пиротехник...

А я вдруг решил: надо все выдержать!.. почему-то... Иначе как был, так и останусь — никем! А так — хоть погибну, как настоящий мужчина!

Я падал под пулями — и снова мужественно поднимался для новых дублей. Искушение грехов и должно быть нелегким!

Ну, наконец-то мы все легли...

Вернулся я возмужавшим, не скажу — окрепшим (ребра болели), но главное — понявшим, что искусство — не менее серьезно, чем жизнь, и отвечать человеку предстоит за все, что придет ему в голову.

А фильм, к сожалению, успеха не имел, и показывался почему-то только на детских утренниках.



Роман Круглов

Ф. М. Достоевский в кино постмодернизма

Роман Круглов. Поэт, прозаик, критик, редактор. Родился в 1988 году в Ленинграде. Член бюро секции критики Союза Писателей России. Заведующий искусствоведческой частью альманаха «Молодой Санкт-Петербург». Преподает в РГПУ им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Автор трёх книг стихов, сборника литературоведческих и критических статей «Грани» (2013). Лауреат Литературных премий: «Молодой Петербург» (2009), премии им. Б. П. Корнилова «На встречу дня» (2013).

Кинематограф конца XX — начала XXI веков не избежал влияния постмодерна — это проявляется не столько в определенном комплексе приемов, сколько в том, как постмодернистское мироощущение отражается в подходе к созданию фильма. Характерно это и для киноинтерпретации классической литературы. При экранизациях классических романов всегда текст, как минимум, редуцируется, а то и значительно перерабатывается в соответствии с современным его прочтением.

По выражению Л. И. Сараскиной, «Достоевский — писатель XXI века, и нам еще надо дожить до полного соответствия». Действительно, произведения величайшего русского писателя продолжают раскрывать свои смыслы, а присутствующие в них художественные и философские «пророчества» продолжают сбываться. Явленное на экране отношение к творчеству Достоевского становится яркой характеристикой той культуры, к которой относятся кинематографисты и кинозрители. Тем интереснее проследить воплощение художественного мира писателя в современных фильмах, имеющих явные черты постмодернизма. Это, прежде всего, игровое использование выразительного языка, смещение или отсутствие нравственных оценок, обилие цитат и реминисценций.

В случае с постмодернистским кино зачастую довольно трудно определить грань между отсылкой, фрагментарным заимствованием и полноценной экранизацией. Связь с литературным произведением может быть очевидной, использование художественных элементов романа в фильме может быть весьма последовательным, но при этом никак не деклариру-

ванным. Например, в фильме Брэда Андерсона «Машинист» (2004) имя Достоевского в титрах не названо и лишь однажды оно возникает в самом видеоряде (главный герой читает роман «Идиот»). При этом картина, безусловно, является интерпретацией романа «Преступление и наказание», хоть и довольно вольной.

Главный герой фильма Тревор Резник страдает хронической бессонницей, анорексией и, как выясняется в финале фильма, галлюцинациями — отталкивающий и одновременно притягательный для героя его негативный двойник Айван (Свидригайлов) и некоторые другие персонажи оказываются плодом его больного сознания. Причина болезни состоит в том, что герой за несколько лет до изображаемых событий по неосторожности сбил на машине женщину с ребенком, а затем вытеснил воспоминание об этом. Избавление от болезни наступает вследствие того, что герой признается себе в совершенном поступке и сдается полиции. Освободиться от клинической бессонницы, навязчивых состояний и прийти к раскаянию герою помогает сострадательная проститутка Стиви (интерпретация сюжетной функции Сонечки Мармеладовой).

Идейная и религиозная подоплека действия в картине отсутствуют. Главный герой, совершивший убийство по случайности, вытесняет содеянное из памяти, и предметом киноповествования становятся не нравственные переживания, а ряд психофизиологических реакций: бессонница, истощение, галлюцинации, навязчивые состояния героя. Его любовница и друг проститутка Стиви — добрая сострадательная блудница, которая проявляет к главному герою душевную теплоту, призывая его заботиться о здоровье. Такая особенность поэтики Достоевского, как двойничество героев, представлена в фильме посредством введения воображаемых собеседников Тревоора — акцент смещается от экстенсивного выражения определенной философии в нескольких героях в сторону психопатологии. Центральная коллизия ведет героя не к раскаянию и моральному возрождению, а к выздоровлению — развитие сюжета построено по принципу психоаналитической сессии, направленной на выявление причины заблуждения. Болезнь и выздоровление героя в данном случае не метафора — они осмысляются в фильме буквально. Аудиовизуальные изобразительные средства направлены на создание гнетущей атмосферы. Фильм «Машинист» абстрагирован от романа «Преступление и наказание», однако для зрителя-читателя Достоевского источник сценария картины очевиден. Экранизацию с такой значительной степенью дистанцирования от литературного прообраза, как правило, называют «фильм по мотивам». Несмотря на то, что имя Достоевского в титрах не упомянуто, картина представляет собой киноинтерпретацию, показывающую переосмысление нравственной проблематики романа в медицинском ключе.

В качестве отдельной формы обращения к творчеству писателя можно выделить типичное для искусства постмодернизма упоминание самого автора или того или иного его произведения в несоответствующем ему контексте. Такого рода назывная отсылка отличается игровым характером; игра как действие ради действия предполагает то, что обращение к творчеству писателя происходит без погружения в него. Например, в фильме Ричарда Ловенштейна «Он умер с фалафелем в руке» (2001) незадачливый главный герой, считающий себя писателем, ассоциирует себя с Достоевским. Его творчество в картине несколько раз упоминается, однако отображения художественного мира писателя в фильме при этом нет. Имя Достоевского используется в данном случае в значении «известный писатель для интеллектуалов» как маркер высокой культуры, к которой герой хочет себя причислить, однако в образе героя и в фильме в целом отсутствуют какие-либо сюжетные или образные взаимосвязи с творчеством Достоевского. В фильме «Он умер с фалафелем в руке» действует принцип обращения к творчеству Достоевского обратный тому, что представлен в фильме «Машинист»: в картине Р. Ловенштейна обращение к Достоевскому декларируется, но фактически отсутствует, в фильме Б. Андерсена — присутствует, но не декларируется.

Отдельно следует оговорить форму обращения к творчеству Достоевского, ориентированную на высмеивание оригинала. Наиболее яркий пример этого — фильм В. Аллена «Любовь и смерть» (1975), в котором гротескно обобщается и пародируется русская литература XIX века. В картине присутствует целый ряд аллюзий на творчество Достоевского — сюжетно-фабульных, текстовых, смысловых. При этом заимствованные из литературы сюжетно-фабульные элементы, как правило, сопровождаются буфонадой, а текстовые — многословной бессмыслицей. Принцип пародии в данном случае чрезвычайно прост — при сохранении ряда узнаваемых действенных и словесных образов классической литературы ее смысловое содержание выхолащивается и подменяется абсурдным.

Характерным примером этого служит диалог, который полностью строится на перечислении названий произведений Достоевского: «Помнишь, рядом с нами жил симпатичный парень, Раскольников. Убил двух женщин». — «Мне Бобок рассказывал, а ему братья Карамазовы». — «Наверное, в него вселились бесы». — «Он был всего лишь подросток». — «Ничего себе подросток. Он был просто идиот». — «Он считал себя униженным и оскорбленным». — «Я слышал, он был игрок». — «Он вполне мог быть твоим двойником». — «Просто записки из мертвого дома».

Данный диалог наглядно показывает то, что высмеивание в фильме не достигает цели — предлагая бессмысленное вместо осмысленного, сценарист и режиссер В. Аллен, в сущности, демонстрирует собственное

бессилие перед пародируемым материалом. Обращение к творчеству Достоевского в картине систематическое, однако кинематографического воплощения художественного мира писателя не происходит — фильм решает иную задачу: выразить ироничное отношение к русской классике. Подобно тому, как крупный советский режиссер И. Пырьев в своей картине «Идиот» (1958) ориентировался на «освобождение Достоевского от достоевщины», то есть на доработку художественного мира писателя, В. Аллен в своем фильме полностью его подменяет с целью высмеивания.

В картине «Любовь и смерть», как и в фильме Р. Ловенштейна «Он умер с фалафелем в руке», обращение к творчеству Достоевского остается, по сути, назывным — ограничивается формальной репрезентативностью. При этом изображенные время и место действия искажены не столько в связи компиляцией ряда различных литературных источников в сценарии, сколько благодаря абсурдизации действия. Введение откровенных несуразностей, очевидно, преследует цель продемонстрировать неадекватность экранизируемых произведений действительности и противоестественность утверждаемых ими идей, однако художественное своеобразие самих произведений при этом на экране не отражено.

Согласно современной классификации экранизаций Н. Г. Федосеенко, жанровая разновидность фильма «Любовь и смерть» — фильм-пародия. Действительно, на экране предстает комическое подражание группе произведений, основанное на нарочитом несоответствии стилистических и тематических планов художественной формы. Однако принцип интерпретации идей и образов классики в данном случае состоит не в их переосмыслении, изменении или дополнении, а в их подмене. Творчество Достоевского является основой художественного целого картины, но пародируемые элементы классических произведений обозначены в кинопроизведении чисто номинально. Цель экранного воплощения художественного мира писателя в фильме В. Аллена не только не достигается, но и не ставится.

Более плодотворно творчество Достоевского осмысливается в фильмах, осмысляющих современную действительность. В картине А. Кауризмьяки «Преступление и наказание» (1983) материал романа вскрывает неутешительные итоги западной цивилизации, такие как всеобщее равнодушие и одиночество. Прологом к сюжетному действию становится сцена повседневной жизни финского Раскольникова — мясника Анти Рахикайнена. В первом кадре показывается таракан, ползущий по чурбаку для рубки мяса; герой убивает его топором, оттирает о край чурбака лезвие и возвращается к работе. Музыкальным сопровождением к сцене служит песня «Цветок шиповника» на стихи Г. Гейне из цикла «Лебединая песня» (четырнадцать песен для голоса с фортепиано, 1828) Ф. Шуберта на английском языке в рок-обработке (эта же композиция звучит в финале фильма, подчеркивая,

что в результате коллизии ничего, в сущности, не изменилось). Современная интерпретация мелодии Шуберта выражает принцип, положенный в основу экранизации — классический роман, подобно музыке, преподносится в современной «аранжировке». Студент Раскольников, в восприятии которого старуха-процентщица сравнивается с тараканом, на экране превращается в мясника Рахикайнена, который без угрызений совести с безразличным равнодушием убивает сперва таракана, а потом человека.

Творческая находка режиссера — превращение студента в мясника — спонтанно выявила один из скрытых смыслов современного понимания сюжета романа. В ответном письме Достоевского московским студентам от 18 апреля 1878 года, спросивших его мнения о событиях 3 апреля того же года, когда торговцы из мясных лавок Охотного ряда избили группу студентов, устроивших политическую демонстрацию, значится: «...народ у нас опять назвал уличных револьверщиков студентами. Это скверно, хотя тут, несомненно, были и студенты. Скверно то, что народ их уже отмечает, что начались ненависть и разлад. И вы сами, господа, называете московский народ “мясниками” вместе со всей интеллигентной прессой. Что же это такое? Почему мясники не народ? Это народ, настоящий народ, мясник был и Минин. Негодование возбуждается лишь от того способа, которым проявил себя народ. Но, знаете, господа, если народ оскорблен, то он всегда проявляет себя так».

По мысли писателя, мясники — это народ, а студенты ему чужды (мысль об оторванности интеллигентов от народа периодически возникает в творчестве Достоевского, начиная с повести «Хозяйка» (1847) и проявляется, в том числе, в романе «Преступление и наказание»). В этом же письме автор свидетельствует о неудачности попыток студентов сблизиться с народом: «...искренняя честнейшая молодежь, желая правды, пошла было к народу, чтобы облегчить его муки, и что же? Народ ее прогоняет от себя и не признает ее честных усилий. Потому что эта молодежь принимает народ не за то, что он есть, ненавидит и презирает его основы и несет ему лекарства, на его взгляд, дикие и бессмысленные». В свете процитированного письма то, что А. Кауризмьяки сделал своего героя мясником, показывает, что большой дистанции между зараженной губительными идеями интеллигентной молодежью и народом больше нет. Свойственные студентам (например, Раскольникову) идеи — «лекарства дикие и бессмысленные» — народ уже полностью воспринял. А значит, любой современный человек может быть потенциальным идеологическим убийцей.

В экранизации переосмыслиется сквозной романом творчестве Достоевского мотив насекомого. В разговоре с Эвой (финской Сонечкой) Рахикайнен говорит о загробной жизни: «...рая не будет, будет что-то иное (...) Пауки, или что-то подобное. Откуда мне знать?..» Раскольников конца

XX века воспринимает мир, как Свидригайлов — подобно ему, он убил и не изменился, поскольку и до преступления уже заранее жил с постоянным ощущением презрения к людям и миру. Жертва Рахикайнена, по его словам «был никем», однако это не абсолютное ничто, а противное герою мелкое существо — насекомое, таракан. Убитый Хонканен по сюжету фильма за три года до экранных событий сбил на машине невесту главного героя без зазрения совести и оправдался в суде. Однако Рахикайнен не мстит, а просто «убивает таракана» и совершенным поступком уподобляется ему. То, что герой «становится насекомым», проявляется в том, что он убил и, как Хонканен, стал бояться — захотел бежать, сделал для этого паспорт, переехал пограничный контроль. И современный Раскольников возвращается и признается в убийстве из отвращения к самому себе, вернее, к насекомому в себе.

Рахикайнен, в отличие от Раскольникова, не оправдывает свое убийство идеями о спасении семьи и будущем служении человечеству, главный герой фильма — одиночка и индивидуалист. Характерно, что режиссер из всех мотивов, которыми руководствовался герой Достоевского, оставил всего один — презрение, неприязнь; Рахикайнен испытывает к жертве чувство безразличности, как к таракану: «Он мне просто не нравился, поэтому я его и убил».

Современный индивидуалист, показанный в экранизации, достаточно безнравственен для того, чтобы не оправдывать своего преступления идеологией, как писал В. Чубуков, «...в данном случае Кауризмьяки был глубоко прав. Именно это чувство и являлось осью, вокруг которой вращалась вся проблема Раскольникова. Не в теории ведь, если разобраться, было дело, а именно в этом чувстве, неосознано витающем среди логики». Философская подоплека действия в фильме нарочито сжата — экранизация показывает, что в конце XX века идеи утратили былое значение и что жизненные коллизии, в сущности, гораздо проще, чем принято считать. В немногословности, сухости экранного действия проявляется специфический реализм, близкий к эстетике абсурда — показывается «обыкновенный» мир, в котором у поступков (даже у убийства) нет глубоких сложных причин.

Современность киноинтерпретации проявляется также в том, что сюжетные линии героинь Достоевского Сонечки Мармеладовой и Авдотьи Раскольниковой в фильме объединены в одну. Героиня фильма по имени Эва, в отличие от своих прототипов, никого не любит и не жалеет. Один женский персонаж с символическим ветхозаветным именем показывает некоторый архетип — женщину вообще. На экране современная женщина холодна, замкнута, ее поступками движет не нравственное или чувственное начало, а инертность и осторожность (например, Эва приходит в бешенство, когда Рахикайнен, как ей кажется, хочет свалить на нее ответ-

ственность, предлагая ей выдать его властям).

В одной из сцен Эва говорит Рахикайнену, что хочет видеть в нем человеческие качества; ей нужен человек, и потому она решает ждать его освобождения. Однако в конце фильма на свидании в тюрьме герой четко обозначает свою позицию: «Изоляция меня не пугает, и знаешь, почему? Потому что я всегда был один. (...) Поэтому я не хочу, чтобы ты меня ждала. Уходи и живи своей жизнью. Мы все рано или поздно умрем». В эпилоге романа Раскольников тоже далеко не сразу сблизился с Соней, однако режиссер ставит вполне конкретный смысловой акцент при помощи пластического хода — исчезновения героя за запирающейся дверью одиночной камеры. Между героями сохраняется стена непонимания и отчуждения, это подчеркивается кадрами с панорамой тюремных коридоров, по которым Рахикайнен идет к своей (одной из многих) камере — такова кинематографическая метафора современного мира и человека в нем.

Совершенно иной тип современного кинематографического прочтения Достоевского отражен в снятом по мотивам романа «Идиот» фильме Анджее Жулавски «Шальная любовь» (1985). Основной элемент художественного мира писателя, заимствованный и укрупненный в этой картине, это принцип чрезмерности. Сюжет классического романа не столько благодаря сценарной обработке, сколько благодаря специфическому режиссерскому стилю демонстрирует событийную и эмоциональную перенасыщенность. Безусловно, для писательского своеобразия Достоевского характерны драматические крайности, изображение человека, переживающего сильнейшие потрясения и необыкновенные страсти. Однако в картине А. Жулавски принцип чрезмерности подчиняет себе все средства киноповествования, вследствие этого оно оказывается за рамками реалистического правдоподобия, сохраняемого в романах писателя.

В основу сюжета картины положена центральная коллизия романа «Идиот», однако каждый сюжетный элемент исходного произведения применен к действительности конца XX столетия и развит в абсурдном ключе. Сжатость и уплотненность художественного времени и пространства в фильме доведены до предела — ситуации меняются с головокружительной быстротой. Действие фильма начинается с ограбления банка, которое совершает со своими братьями гангстер Микки (Рогожин). Грабители в масках персонажей мультипликационных фильмов Уолта Диснея истерически смеются и танцуют; на протяжении всего фильма эти и другие персонажи находятся в состоянии предельной экзальтации, которая выражается не столько в утрированной актерской игре, сколько в гиперболизированном действии. Душевные движения героев воплощаются в шокирующих поступках, находящихся за гранью общественных приличий и художественного правдоподобия. Картина наполнена вызывающими жестами, слезами

и хохотом, а также сценами насилия и секса. В финале фильма погружение главного героя Леона в безумие, показанное с помощью перенесения его в другое пространство и изменения цвета его глаз, совершенно не контрастирует с другими эпизодами киноповествования. Болезненное эмоциональное напряжение других героев также не ослабевает в течение экранного времени. Свойственный литературному прообразу болевой эффект в картине усугублен броской шокирующей образностью. Согласно Р. Г. Назирову, «болевой эффект» — «очень сильное средство, и за гранью гениального вкуса он может превратиться в сюрреалистическую провокацию...», это происходит в фильме А. Жулавски.

Получившийся фильм, безусловно, отталкивается от романа Достоевского с его напряженным действием, вихревым временем, сценами-конклавами и предощущением катастрофы. Однако в картине «Шальная любовь» трагическое мироведение представлено посредством гротескного образного ряда. Если в романе чрезмерность (сочетание разноточного, эмоциональная перенасыщенность, сгущенность времени и пространства) служит задаче действенной реализации идей, то на экране принцип чрезмерности является самодовлеющим. Абсурдный мир, показанный в картине А. Жулавски — это мир, увиденный глазами Мари (Настасьи Филипповны), страдающей страстной героини, неспособной вырваться из круга прошлых болезненных переживаний и усугубляющей их новыми безумными поступками. Герои «Шальной любви» существуют в реальности, где все извращено, противоестественно-сложно, и им не остается ничего иного, кроме как еще больше усложнять и извращать происходящее. Постоянное болезненное напряжение показывает обреченность героев — в художественной реальности «фильма-истерии» положительный исход априори невозможен.

В интерпретации А. Жулавски роман Достоевского стал отправной точкой для изображения непоправимости, фатальности современного мира. Однако акцент на страданиях и обреченности героя очевиден, например, и в ранней экранизации Р. Вине «Раскольников» (1923), в которой параллельно с «не нормальным» миром боли (экспрессионистские декорации) существует не деформированная, «нормальная» реальность. В картине А. Жулавски отсутствует контраст между «нормальным» и «ненормальным» — изображаемый мир безумен полностью и постоянно. Пафос модернистской экранизации Р. Вине серьезен, страдание и ужас героев на экране передают модернистскую проблематику утраты ценностей и ориентиров, ощущение конца цивилизации. Фильм А. Жулавски отражает характерную для искусства постмодерна идею о том, что конец истории уже произошел и состояние современного человека уже не является жизнью в полном смысле слова. Как писал о западной цивилизации Ж. Бодрийяр,

«это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, критического и антикритического ... (...) что делать теперь, после оргии? Нам остается лишь изображать оргию и освобождение, притворяться, что ускорив шаг, мы идем в том же направлении. На самом же деле мы спешим в пустоту...» Параллель с метафорой Ж. Бодрийера в фильме четко прослеживается в сцене, когда герои просматривают видеозапись с надругательством группы мужчин над матерью Мари и ее убийством: все, что происходит на экране — это последствия оргии. В фильме А. Жулавски, вместо трагически страдающих героев, показаны невротики и шизофреники, существующие по инерции в мире без системы координат, без смысла и перспектив.

Известный российский фильм «Даун Хаус» режиссера Романа Качанова (2001) представляет собой постмодернистскую переработку романа «Идиот», вторичную по отношению к картине А. Жулавски. Все экранное действие также парадоксально от начала до конца, однако оно решено в комедийном ключе. Сохранены имена героев, сюжет романа весьма полно переносится в постперестроечную Москву, которая показывается как анекдотическая реальность. Развившаяся в массовом искусстве эпохи перестройки мрачная натуралистическая эстетика (чернуха) приобретает в фильме юмористическую окраску. Вульгарный практицизм эпохи становление капитализма (три вагона тушенки в качестве приданного за Аглаей Епанчиной), повсеместная наркомания, торговля оружием и т.д. преподносятся как норма жизни, это становится источником комического.

Вместо предельной экзальтации, присущей героям фильма А. Жулавски, в поведении героев Р. Качанова превалирует неуместная серьезность и невозмутимость. Тем, что герои нисколько не удивляются, как бы безумно ни было происходящее вокруг, кинематографисты показывают, что абсурдное действие в изображаемой реальности совершенно обыденно. Экранная действительность фильма «Даун Хаус» шизоидна, однако ненормальность мира, в отличие от «Шальной любви», не ориентирована на болевой эффект. Как писал В. П. Руднев, «для постшизофрении как нового переходного постмодернистского культурного проекта не характерна ... катастрофичность и болезненность». В фильме Качанова безумие мира не только постоянно и повсеместно, но и нисколько не болезненно, не страшно.

Черный юмор и особенности актерской игры в картине направлены на усиление основной идеи — действительность, проверенная классическим сюжетом, показывает свою абсурдность, но и сам показанный в этом ракурсе классический сюжет выглядит совершенно не адекватным жизни. В отличие от «Шальной любви», в фильме «Даун Хаус» не только идейное наполнение, но и поэтика романа Достоевского не становится предметом интерпретации — в отношении использованных средств картина скорее

напоминает литературу эпохи перестройки, например, ранние романы В. О. Пелевина. Принцип, которым руководствовались постановщики, в своей основе чрезвычайно прост — на основе сюжета классического романа создается эклектичная парадоксальная буффонада. Как и в фильме «Любовь и смерть» В. Аллена, в картине «Даун Хаус» происходит подмена, а не переосмысление художественного мира писателя.

Совершенно иной современный подход к интерпретации классически представлен в картине П. Зеленки «Карамазовы» (2008), на нем имеет смысл остановиться подробнее. Положенная в основу сценария фильма инсценировка романа Достоевского «Братья Карамазовы» была предпринята в 1979 году Э. Шормом, впоследствии она легла в основу целого ряда постановок, в том числе театра «Дейвицке дивадло» (режиссер Л. Главица, 2000). Желание записать, сохранить для будущего эту постановку, по утверждению П. Зеленки, и подвигло его на создание полнометражного художественного фильма. Оригинальная сценарная концепция картины состоит в том, что кинематографическое действие разворачивается в ходе репетиции накануне спектакля в рамках фестиваля современного искусства, проходящего на территории полузаброшенного сталелитейного завода — произведение-прообраз многократно «взято в кавычки».

Репетиция наполнена рефлексией как о собственно театральных задачах, так и о романе Достоевского; на экране друг в друга перетекают игровой повествовательный план пьесы и как бы документальный повествовательный план работы трупы над ней. Однако события, разворачивающиеся в обоих этих планах, оказываются незначительными на фоне жизненной трагедии заводского рабочего, у которого умирает сын — сюжетная линия рабочего создает отличный от предыдущих третий повествовательный план, который, как это ни парадоксально, более активно коррелирует с романом «Братья Карамазовы», чем два других. Главным образом, взаимосвязью трех различных повествовательных планов и обуславливается специфика интерпретации художественного мира писателя в рассматриваемом фильме. Изначальное абстрагирование от первоисточника обуславливает право экранизаторов на вольное обращение с классическим материалом — роман является для кинематографистов отправной точкой для собственного творчества и, кроме того, становится поводом для художественного размышления о роли и месте искусства (в частности, наследия Достоевского) в современной жизни.

Использованные в картине пластические выразительные средства соответствуют обозначенному художественному принципу абстрагирования от первоисточника: в первую очередь, обращает на себя внимание обусловленное сценарным решением несоответствие изобразительного ряда картины и художественного пространства романа. Однако внешний анту-

раж в фильме имеет образное значение, в котором выражается режиссерский взгляд на литературный первоисточник: завод символически связан с адом. Индустриальный ад завода в фильме служит как бы внешним выражением внутреннего ада рабочего, сын которого упал с подвесного моста и травмировал позвоночник. «Это крючья. Это ад», — говорит исполнителю роли Ивана Игорю Хмеле рабочий, показывая действующий цех.

Согласно рассказу рабочего, завод задумывался Сталиным как «место без Бога» — гигантское предприятие в пригороде Кракова Нова Хута должно было стать оплотом атеизма, где пролетариат вытеснил бы интеллигенцию и вместе с ней религию. Однако замысел не удался — вера не была изжита, рабочие построили при заводе церковь (этот момент рассказа рабочего также подчеркнут пластическим ходом — показывается репетиция танцовщиков — рабочий восхищенно смотрит на танец двух тонких белых фигур на фоне мрачных цеховых сводов). При этом завод, тем не менее, имеет infernalную энергетику, на ней в фильме не раз ставится акцент. Символика ада на экране реализуется в образах огня, брызг раскаленного металла и подъемных крюков, вызывающих ассоциацию с адскими крючьями, о которых говорит со сцены исполнитель роли Федора Павловича Иван Троян. Эти визуальные символы неоднократно возникают в ходе киноповествования, подчеркивая душевное состояние рабочего, эту же функцию выполняют «звуки ада» — гул, скрежет, стук работающих механизмов.

В фильме есть определенный пролог к основному действию — это дорога к заводу; открытие огромной металлической двери, похожей на занавес, символизирует начало спектакля. Важно, что именно завод является той сценой, на которой разворачивается действие романа Достоевского — художественный мир инсценировки связывается с преисподней. Неуютные и враждебные человеку, угрожающие ему смертью и страданиями пространства цехов становятся местом театральной репетиции — этот контраст создает ощущение нереальности действия, завод становится пейзажем потрясенной мучающейся души рабочего. Его жизненная трагедия разворачивается в тесной взаимосвязи со сценической трагедией — кинематографическое действие совершенно реалистично, но при этом фантастично. Решение экранного пространства картины подчеркивает определенные свойства инсценировки и самого романа Достоевского — это мир тревожного напряжения и глубоких переживаний.

Символическое значение пластических образов в фильме реализуется благодаря фигуре простого человека, переживающего внутренний ад и одновременно наблюдающего инсценировку великого романа; узнав о гибели сына, рабочий находит в себе силы попросить актеров продолжать играть — на заводе, где идет спектакль, «дьявол с Богом борются, а поле битвы сердце людей».

Ракурсы съемки и монтаж подчеркивают контрасты в киносюжете, ориентированные на то, чтобы показать парадоксальность современной действительности (стремление выявить странность, «нереальность» повседневной жизни характерна и для других фильмов П. Зеленки, таких, как «Пуговичники», 1997; «Год дьявола», 2002; «Хроники обыкновенного безумия», 2005).

В фильме как бы отправной точкой сценарной обработки романа является декларируемая мысль о невозможности для современного европейца полностью понять Достоевского. Она иносказательно заявлена уже в первом кадре: один актер рассказывает другому о фильме, согласно сюжету которого внук Достоевского, работающий водителем трамвая, ничего не знает о своем знаменитом предке. «Россия и Запад никогда не поймут друг друга», — так рассказчик заканчивает историю. Характерно, что эта реплика принадлежит актеру Мартину Мышичке, исполняющему в спектакле роль Алеши — по определению автора, центрального героя романа. В действительности не внук, а правнук писателя Дмитрий Андреевич Достоевский действительно работал водителем трамвая, но также и экскурсоводом в музее-квартире Ф. М. Достоевского — утверждение о его незнании творчества прадеда, конечно, ошибочно. Начальная сцена фильма показывает отношение актеров к наследию писателя и его национальной специфике; с первого кадра четко обозначено, что действие фильма происходит в совершенно ином мире, нежели мир Достоевского.

На экране действительно не предпринимается попытки показать Россию и русское в Достоевском, а обращение к его эпохе в фильме реализуется только в исторических костюмах, диссонирующих с заводским пространством. От оригинального романа и самого автора кинематографисты абстрагируются, наиболее показательна в этом отношении комическая сцена «интервью с Достоевским», которое изображает артист-кукольник: творческий процесс и эпилепсия писателя представляются с незамысловатым юмором в абсурдном ключе. В фильме фигура Достоевского и роман, легший в основу сценария, рассматриваются как определенная ценностная константа, являющаяся предметом рефлексии, в большинстве случаев — шуточной.

В ходе киноповествования многочисленные его элементы (в особенности, поведение актеров) свидетельствуют о дистанции между ними и ролями, которые они исполняют. В первую очередь, обращает на себя внимание современный облик актеров. Однако различие между ними и героями Достоевского заключается, главным образом, в том, что артисты показаны как увлеченные профессионалы, которых волнует, в первую очередь, их работа, а не жизнь как таковая — «живая жизнь». Одна из основных тем фильма — тема актерства — раскрыта таким образом, что зрителю показыва-

ется как бы негативная изнанка творческой профессии. Артисты зачастую пошло шутят, проявляют самовлюбленность, эгоизм и легкомыслие, граничащее с цинизмом. Такая интерпретация темы актерства и игры сущностно близка художественному миру романа — как писала М.В. Воловинская, «в „Братьях Карамазовых“ мотив игры связан с центральным для автора понятием карамазовщины».

Сюжетная линия взаимоотношений внутри труппы возникает на экране с самого начала и развивается параллельно с коллизией спектакля. Так в сцене беседы актеров, исполняющих роли Алеши и Мити, «Алеша» начав всерьез отвечать на заданный ему вопрос, несколько раз повторяет недоговоренную фразу для тренировки дикции и при этом, к недовольству собеседника, теряет нить разговора. Актер, исполняющий роль капитана Снегирева (рифмующуюся с рабочим, у которого умирает сын), тренирует артикуляцию, яростно твердя перед зеркалом похабные поговорки, после чего, резко изменившись в лице, произносит болевую фразу из роли. Исполнитель роли Трифона Борисовича на экране в основном занимается растягиванием рта; когда ему удастся уместить во рту 230 соломинок для коктейля, этот герой оказывается первым, кто встречает пораженного известием о смерти сына рабочего. Ироничный режиссерский взгляд, трюкачество и шутовство актеров не только снижают патетику драматического (романного) действия, но и ставят под сомнение серьезность всего происходящего и, соответственно, актуальность романа Достоевского.

Безусловно, характерная для постмодернизма игра смыслами приводит к уменьшению или потере ценностного значения составляющих художественную реальность писателя содержательных и формальных элементов. Однако игра смыслами, ирония и юмор в фильме сосуществуют с сюжетной линией рабочего (обозначенным ранее серьезным планом повествования), это создает обостряющий центральную коллизию контраст смешного (нелепого) и ужасного, непристойного и трагического. Такой художественный подход очень близок поэтике первоисточника, примером может служить шутовство Федора Павловича в монастыре в главах «Старый шут», «Зачем живет такой человек!» и «Скандал» первой части романа, где дается своеобразная идеологическая философская экспозиция романа.

В ходе экранного действия образы актеров вступают в смысловые параллели с героями, которых они играют. Так, исполнительница роли Грушеньки, Ленка Кротова, оказывается наиболее чуткой к горю рабочего, с романым прообразом ее сближает сострадательность. Исполнитель роли Федора Павловича Иван Троян в начале фильма грубо шутит и одновременно знакомится с устроительницей фестиваля Касей и на протяжении действия между делом ухаживает за ней — с героем романа его объединяет безоглядное, неуместное женолюбие. Иван Троян упрекает исполнителя

роли Дмитрия Давида Новотны в том, что он хочет уехать с репетиции в Прагу на свидание — происходит иносказательное повторение романного конфликта. В этой сцене также возникает обращение к характерной для художественного мира романа этической проблеме выгоды для человека чужих несчастий (примером может служить негласный «сговор» Ивана и Смердякова, воспринятый им как одобрение замышляемого убийства). Давид Новотны спрашивает Ивана Трояна: «Ты думаешь, я рад, что ребенок упал и получил травму?», тот отвечает: «Нет, но этот случай тебе выгоден».

Параллель между Давидом Новотны и Дмитрием Карамазовым не ограничивается его осуждаемым труппой поведением. Заподозрив в потерявшем сына заводском рабочем актера, подосланного режиссером с целью увеличить эмоциональное напряжение труппы, экранный Дмитрий бесшабашно пытается его обличить: «Мне жаль, что Вы неадекватно играете. Ваш ребенок умер. Вы понимаете? (...) Если бы мой ребенок умер, я бы не смотрел, как какие-то пражские клоуны играют в театре». Этот эпизод работает как своеобразная параллель с оскорбительным поступком Дмитрия по отношению к штабс-капитану Снегиреву и одновременно это один из самых острых моментов столкновения трех обозначенных повествовательных планов: романа, постановки и жизни.

Сцена, в которой Иван испытывает брата Алешу рассказом о замученной родителями девочке, поражает рабочего и он заговаривает с исполнителем роли Ивана Игорем Хмелой во время перекура, показывает ему завод-ад и рассказывает его историю. Так впервые в фильме показывает увлеченность рабочего спектаклем и далее — вовлеченность рабочего в структуру спектакля и романа. Во время прогулки по заводу Игорь Хмела рассказывает рабочему о том, как в Индии нищие женщины бросали своих детей под колеса автомобилей дипломатов, чтобы на компенсацию смерти или увечий ребенка прокормить остальных детей. «Зачем Вы мне это рассказываете? — внезапно спрашивает его рабочий. — Думаете, я смог бы поступить так со своим ребенком? Может, и смог. Думаете, Бог бы меня простил?» В этой сцене рабочий становится как бы участником спектакля, при этом выясняется его роль в интерпретации художественного мира романа в экранизации: рабочий — единственный герой, который по-настоящему сомневается и страдает и в свете своего страдания он единственный оказывается способен «прожить» романную трагедию.

По сюжету инсценировки Федор Павлович в эпизоде, соответствующем главе романа «За коньячком» в порыве шутовства для доказательства отсутствия высшей справедливости плюет на икону, Смердяков протягивает ему для этой цели попавшийся под руку фотопортрет Папы Римского. После того, как рабочий узнает о смерти сына и репетиция прерывается, между Иваном Трояном и исполнителем — роли Смердякова Радеком Голу-

бом на фоне жестяных шкафчиков, обклеенных вырезками из эротических журналов, происходит полушуточный диалог: «Ты плюнул на Папу Римского». — «Зачем ты мне его дал, идиот?» — «Ты плюнул на папу Римского и теперь он плачет! (...) Подумай, где ты играешь? Актер Иван Троян плюет на Папу Римского. Это твоя последняя роль в Польше».

Совершенное в ходе репетиции кощунство становится поводом для нового кощунства — шуток о поведении убитого горем человека. Однако эта ситуация выглядит совершенно реалистично, как и реплика сценического Алеши М. Мышечки о несчастном случае: «Формально мы здесь ни при чем». Все столкновения повествовательных планов — исходного произведения, актерства и настоящей жизни — закономерны в ситуации инсценировки романа Достоевского на заводе, режиссер показывает абсурдность действительности.

Творческий подход П. Зеленки близок к свойственному художественному миру Достоевского полифонизму — каждый из повествовательных планов функционирует по собственным законам, в каждом действуют своеобразные представления. Образы героев фильма, конечно, не так глубоко разработаны, как в романе, и полифоническое целое не формируется на уровне героев-личностей, но столкновение повествовательных планов оказывается сложнее, чем обычная острая драматическая ситуация — взаимовлияние неслиянных планов формирует дисгармоничный киносюжет, сходный по своей поэтике с полифоническим.

Возникающие на сопоставлении обозначенных ранее повествовательных планов контрасты в замысле картины, помимо прочего, служат задаче показать столкновение искусства и современной жизни. В одной из сцен организатор фестиваля Кася озвучивает актерам девиз театрального проекта — «ближе к жизни» — в такой формулировке заложена идея о том, что искусство от жизни, как правило, слишком далеко отстоит. Это подчеркивается поведением актеров, занятых исключительно профессиональными задачами и амбициями. Механическое сближение искусства и жизни заканчивается самоубийством рабочего — жизненная драма ломает задумку фестиваля. В таком сценарном решении показывается неоднозначный взгляд на поднятую проблему взаимоотношений человека и искусства: искусство прекрасно и нужно людям (рабочий находит отдушину в спектакле), но в то же время люди, занимающиеся искусством (театральная труппа) по преимуществу не адекватны жизни — горю рабочего.

Контрапункт сценического действия и жизненной драмы в кульминационный момент фильма обозначает режиссерское отношение к столкновению искусства и жизни — рабочий извиняется перед актерами за беспокойство и просит продолжать репетицию. Спектакль поражает героя и, как минимум, дает ему возможность временно забыть о своем горе, раство-

рить его в трагическом действии сюжета Достоевского. В замысле картины заложена мысль о спасительной катарсической роли искусства, о его жизненной необходимости для человека.

Однако, тем не менее, в ходе последней сцены, когда после речи Алеши на могиле Илюшечки исполнительница роли Лизы Хохлаковой произносит монолог о страданиях и смерти, рабочий уходит и стреляется — жизнь рабочего на экране длится столько же, сколько идет спектакль. Реалистический взгляд на финальный режиссерский ход подразумевает два варианта его трактовки: или спасительное воздействие спектакля закончилось вместе с ним, или эстетическое переживание вкупе с поведением актеров по отношению к герою укрепило его в мысли о самоубийстве. Однако третий — серьезный повествовательный план фильма, формирующийся в переключке с романом, становится неотъемлемой частью его интерпретации, — финальные монологи (как и другие элементы структуры спектакля), в картине обретают свой смысл по отношению к судьбе рабочего. По-видимому, конец сюжетной линии рабочего ориентирован на то, чтобы спровоцировать серьезную зрительскую рефлексию. Финал фильма синхронизирует три повествовательных плана картины (спектакль заканчивается, рабочий стреляется, актеры покидают репетиционную сцену — цех), это придает замыслу картину законченность.

Основной темой современного фильма, интерпретирующего классическое произведение литературы, является собственно современная интерпретация классики. Типичная в постиндустриальном обществе ситуация осваивания художественными проектами индустриальных объектов становится предпосылкой для рефлексии о современном искусстве, классике, творческом процессе и о роли искусства в жизни обычного человека.

Картина П. Зеленки «Карамазовы» при всей ее постмодернистской ироничности, глубоко серьезна, в ней исследуются этические вопросы, сходные с проблематикой творчества писателя. В данной экранизации классическая литература как бы проверяется современностью и проходит эту проверку, показывая свой неисчерпаемый эстетический потенциал. Как показал обзор экранизаций А. Кауризмьяки, А. Жулавски, Р. Качанова и Б. Андерсена, в большинстве постмодернистских экранизаций Достоевского проявляется обратная тенденция — современность проходит проверку классическим текстом, в результате чего проявляются ее специфические черты. Однако, тем не менее, экранизации продолжают выявлять те или иные аспекты художественного мира писателя. В эпоху, в определенном смысле, предсказанную и предопределенную романами Достоевского, возникают фильмы, по-новому открывающие их особенности.



Лев Наумов

*Александр Кайдановский
и семья его керосинщика*

(Окончание, начало в №№ 3–4, 2016 год)

Лев Наумов. Писатель, драматург, эссеист, автор художественной и документальной прозы. С 2010 года — арт-директор международного кинофестиваля ArtoDocs. Лауреат Царскосельской художественной премии за книгу рассказов и пьес «Шепот забытых букв» (2014 г.). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живёт в Санкт-Петербурге.

Название фильма обозначает для зрителя ключевого персонажа, который, формально, не является главным. Братьям Удальцовым, да и следователю уделено намного больше экранного времени, тогда как Ольга находится где-то на одном уровне с Гермесом. Тем не менее, именно она играет важнейшую роль: в условиях взаимопроникновения добра и зла безошибочно различать Сергея и Павла может только жена керосинщика.

Несколькими мгновениями раньше, когда разум еще не покинул Сергея, можно было говорить о мотиве его поступка. Жалоба священника на то, что «молитвы не доходят» — это ведь только одна сторона медали. Каин ведь тоже остается без кары. Земляк Канта лишен категорического императива. Продолжать существовать в этой пустоте невозможно, пучина порока засасывает все глубже, впрочем, в отсутствие ориентиров не всегда даже ясно, где дно, а где поверхность. Надежна разве что гравитация, и Сергей со словами «да здравствует марксизм-ленинизм» делает шаг в реку и погибает, лишая, тем самым, смысла все страдания, которые Павел перенес ради него. Однако, пребывая в иллюзии того, что бог здесь он, Каин вынужден и наказывать себя самостоятельно.

Павел остался один, потому в финальном монологе он выступает за обе стороны: Каин и Авель едины в одном человеке. Зло повержено, но оно живет в добре, как истина подлецов — в победе. Добро восторжествовало, но оно — вперемежку со злом. Такой конец, в виде неразрешимого гордиева узла в кино встречается в последнее время все чаще, поскольку веры ему куда больше, чем хэппи-эндам или мрачным трагическим развязкам. Но одно дело сейчас, а другое — в 1988 году.

После описанных выше событий выясняется, что Гришу убил дворник. В результате возникает дилемма: произошло ли это по указке Сергея или же по собственной инициативе? Больше ни в чем нельзя быть уверенным, у всего есть оборотная сторона.

Справедливость невозможна. В своем рапорте прокурору республики Петравичус вынужден написать, что «доводы, изложенные в жалобе, не подтвердились. Факты получения взяток не установлены». Благодаря такому заключению мир выглядит чуть лучше, чем он есть на самом деле. Сергей же все равно мертв, а того Каина, что жив в Павле, не отделишь и в клетку не посадишь.

Эволюция личности следователя заслуживает отдельного разговора, поскольку он меняется сильнее других. Эти изменения касаются его отношения к людям и к профессии. В конце фильма он выказывает полное безразличие к криминальным происшествиям. Теперь он не сомневается, что Гермес приходил его убивать, но Петравичус даже не бежит за ним, когда тот крадет у человека последние деньги и документы. В то же самое время, когда Юргис Казимирович видит старика, катающегося на катке с развязанным шнурком, следователь искренне хочет помочь, но не может докричаться, поскольку тот глух. Осознание тотального бессилия — это не обесчеловечивание следователя, это его воцерковление в мире, в котором молитвы тщетны. Как докричаться до адресата молитв, если тебя не слышит даже старик на катке.

Начальник следственного отдела говорил Петравичусу, что «город маленький, все как на ладони», но стоило приехать чужаку, как на этой ладони проявились линии нескольких жизней и переплелись в кружево непреходящей притчи.

Следователь избегает признания собственной победы, тем самым, убеждая себя от ее оборотной стороны. Как он ее добился? Засадой? Подставной взяткой? Чем это лучше того, что устроили Гермесу местные мужики? Следователь засчитывает ничью или даже собственное поражение.

Церковный служака Дмитрий прячет свои ангельские крылья под видом горба. После смерти Сергея Удальцова Дмитрий отправляется в психбольницу, где содержится Чапаевец — в миру Василий Петрович Добрынин — с письмом следующего содержания: «Главврачу психбольницы Марцу Михаилу Аркадьевичу. Убедительно прошу Вас, уважаемый Михаил Аркадьевич, выпустить на свободу незаконно посаженного мною тов. Добрынина В.П. Заранее благодарю, председатель горсовета Удальцов». Перед словом «незаконно» — зачеркнутое начало слова «случайно». В мире без справедливости эти слова, по сути — синонимы.

Письмо, разумеется, написано самим ангелом. И хоть он тоже прибегает к подлогу, тем не менее, Дмитрий опровергает то, что говорил священ-

ник: ангелы-хранители существуют! Проблема куда фундаментальнее: они то ли не нужны, то ли бессильны. Вот и Чапаевец отказывается выходить во внешний мир из сумасшедшего дома, в котором, помимо прочего, ему обещали, что повезут пациентов на дачу в сказочные Семикаракоры. Стоящий перед пациентами Василий Петрович, который своим спокойным вкрадчивым голосом повторяет: «Мы поедем в Семикаракоры», — выглядит как меланхоличный политик, сулящий очередную синекуру. Но что же это за пункт назначения?

Приставку «семи» — «полу» можно трактовать, как знак некой неполноценности места, куда собираются вывезти душевнобольных. На самом деле это название — из детства Кайдановского. В силу семейных обстоятельств маленький Саша долго жил у своей тетки — тети Зины. Той нередко приходилось топить рождавшихся в ее доме котят и щенков. Когда, недосчитавшись кого-то из них, Саша прибегал к ней и спрашивал о судьбе малышей, тетя отвечала, что они «уехали в Семикаракоры». Дальнейших вопросов не возникало, поскольку Семикаракорск — город в ростовской области, районный центр, возникший возле городища Семикаракоры, уничтоженного еще в X веке. Памятуя об этой истории, впоследствии в честь тетки Кайдановский назовет Зиной свою любимую собаку.

Фильм «Жена керосинщика» развивает простой библейский сюжет до комплексной диалектической картины, в которой легче сомневаться, чем существовать. В искусстве нередко того или иного персонажа делают проводником некой философской доктрины. Кайдановский идет дальше, и весь его мир — это Кант и Гегель во плоти, со всеми их недомолвками, разочарованиями, противоречиями.

В заключительных кадрах фильма Каинавель, сидит на развалинах и взрывает пистоны под смесь звона курантов и романтической музыкальной темы. В руинах виден светлый туннель. Картина о вере и любви четко показывает зрителю место для надежды. Надежды на спасительное чудо.

Речь обобщенного Удальцова посвящена тому, что в своей исторической политико-индустриально-военной гонке люди утратили тот орган, который отвечает за эту самую надежду на чудо. Наполнив свою страну памятниками участникам и средствам этого спурта, люди добились бессмертия идеи, но не души. Лозунги заменяют мораль, в результате предыдущим поколениям не докричаться до последующих. Памятник победе и мощи, обобщенному «защитнику», обобщенному «танкисту», просто танку, смертоносной машине, атрофирует конкретную личность. Идея и цель выступают в роли Иуды.

Добрынин — первый из героев, появляющихся на экране. В разговоре со следователем священник недаром называет его ключом ко всему. Чапаевец перестал петь в церковном хоре из-за того, что ему

приходилось носить взятки от имени всего прихода. Это лишало смысла исполняемые песни, и хор, а за ним и приход, и город, но смысл постепенно обретали Семикаракоры.

Священник поет на улице о том, что он «любуется родиной и не скрывает слез»¹, сопровождая себя на аккордеоне. В следующей сцене кричащий по-немецки ангел привлекает внимание Дмитрия и тот предлагает Родину ретироваться: «Может, уйдем, Владимир Степаныч? Слышишь, он ругается». «Стой, Дмитрий, куда нам деваться», — отвечает священник с богатырской добротой. Здесь расставляются точки в теологии данного мира: кто может быть авторитетом для ангелов?

Неслучайно, что действие этой сцены разворачивается в сознании прозревающего Юргиса Казимировича Петравичуса, единственного пришедшего на этих обетованных небесах. Впрочем, есть еще один заезжий гость — это вы, дорогой зритель.

Кроме того, стоит обратить внимание на место действия. Данная живописная сцена разворачивается в каркасе готического храма, будто напоминая о финальном эпизоде «Ностальгии» Тарковского, который тоже трагическим образом связан с возвращением на родину. Сняться в этом фильме Кайдановскому было не суждено, потому он взаимодействует с «Ностальгией» не как артист, а как режиссер.

Удивительное свойство фильма «Жена керосинщика» состоит в том, что он может притворяться, производить впечатление сюрреального, граничащего с абсурдом повествования, хотя на деле он представляется абсолютно четкой философской фантазмагорией.

На широкие экраны картина не выходила, ее показали в нескольких кинотеатрах Москвы, что, признаться, удивительно. Как бы там ни было, но конец восьмидесятых стал благословенным временем для многих выдающихся советских режиссеров, поскольку цензура уже рухнула, а инфраструктура проката еще существовала. В 1990 году за операторскую работу премию «Ника» получил Алексей Родионов, создавший визуальный ряд этого незаурядного желто-оранжевого Бонявска. Тогда же, будто бы в насмешку, Кайдановскому дали приз XVII фестиваля молодых кинематографистов киностудии «Мосфильм». На этом признание на родине закончилось. За границей картина была обречена на успех, вот только отправили ее лишь на один периферийный фестиваль. Так в послужном списке «Жены керосинщика» появился гран-при в номинации «странные фильмы» международного кинофестиваля фантастического кино и фильмов ужасов во французском Авориазе.

¹ Песня «Вернулся я на родину», музыка М. Фрадкина, слова М. Матусовского

После этого фильма Кайдановский сделал еще немало: написал несколько прекрасных сценариев, снял клипы для групп «Аквариум» и «Alphaville», а также документальный фильм «Маэстро» — интервью с уже тяжело больным Сергеем Параджановым. Преподавал. В 1994 году Александра пригласили в жюри Каннского кинофестиваля. Но ни одного художественного фильма, развивающего эстетику мистического реализма, Кайдановский больше не снял.

Как мы уже сказали, бюджет его следующей картины «Восхождение к Экхарту» испарялся трижды. Совсем уж фантастическая история связана с четвертым источником финансирования. Во Франции был учрежден конкурс в поддержку нового советского кино. Александр отправил на него свой сценарий еще в 1993-м и, конечно, незамедлительно об этом забыл. Телеграмма, о том, что художественный фонд при участии министерства культуры Франции готов финансировать создание картины, пришла 4 декабря 1995 года — на следующий день после смерти режиссера.

Завершился II этап конкурса «Лучший молодежный сценарий в год кино»

По итогам голосования жюри, в шорт-лист вошли следующие работы:

1. Kurt Wagner. Год из моей жизни
2. Анастасия Вебер. Жемчужные люди
3. Дмитрий Гатауллин. Здравствуйте, дядя Сережа
4. Мариэтта Захарян. Волосы Вероники
5. Алексей Морозов. Хеппи-энда не будет
6. Сергей Новиков. Пионерский лагерь
7. Дмитрий Суворов. Edication
8. Олег Федоров. Танцуй, пока молодой

*РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВРОРА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ II ЭТАПА КОНКУРСНОГО ОТБОРА!*

Победители конкурса, получившие I, II и III премии, будут определены до конца ноября 2016 года.



Анатолий Слепков. Иллюстрация к книге Аркадия Гайдара «Чук и Гек»

Анатолий Слепков. Анатолий Слепков. Художник, писатель. Родился в Киеве в 1937 году. Член Союза художников СССР. На отлично защитил дипломную работу в ВХУ (оформление и иллюстрации к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»). Автор иллюстраций к произведениям Михаила Шолохова, Федора Абрамова и многих других известных писателей. Приобрел широчайшую известность как иллюстратор детских книг. Был награжден медалью им. М. Ю. Лермонтова за вклад в российскую культуру и за укрепление российской государственности. Постоянный участник всероссийских и международных выставок живописи и графики. Его работы размещены во многих российских и зарубежных музеях и картинных галереях.



Светлана Забарова

Зверь любви

Светлана Забарова. Русский писатель. Родилась в Казахстане, г. Чимкент. Приехала в Ленинград в 1976 г. Окончила музыкальное училище им. М. П. Мусоргского по классу фортепиано, позже училась в СПбГИПСР на факультете прикладной психологии. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член редколлегии альманаха «Пятый угол и его обитатели» (Москва), член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни» (Бурятия). Автор изданной книги прозы. Публиковалась в ряде изданий России и ближнего зарубежья (Украины, Казахстана). Имеет благодарности от Пискаревского мемориального кладбища, музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», Дома-музея поэта Павла Васильева (г. Павлодар, Казахстан).

Часть первая. Зверь любви

Вчера старик сильно напился на свадьбе племянника, потеряв всякую солидность, приличную возрасту.

Сегодня к сильному похмелью примешивалось чувство стыда.

От этого чувства и пробудился, как вздрогнул... и еще что-то, помимо стыда, мучило, что — не понял пока...

Хуже всего было то, что он в приступе «зверя любви» целовался и обнимался с «мафией».

Мафия была из Караганды, — друзья племянника, который имел с ними «шуры-муры» на контрабанде сайгачьих рогов.

Рога эти переправлялись в Китай, и там уже местные «авиценны» мастрятили из них средство для поддержания мужской силы в «нефритовом жезле».

В последние годы, когда расшаталось государство, отстрелы сайги уже никого не волновали, и степь пропахла парной кровью... по аулам и летовкам валялись обожравшиеся требухой псы, горы протухшего мяса распространяли зловоние, забивая чистый запах степи; племянник связался с этим греховным делом и с этими людьми, он же, старик, их знать не хотел, но вчера напился...

Знал он за собой это дурное свойство: когда в глотку попадал самогон, а потом растекался по крови и жилам, то будил в нем этого странного «зверя любви» ко всему живому: двуногому и четвероногому. Он тогда не делал между ними разницы — все требовали его любви и жалости. Всех надо было обнять, обласкать, проявить отцовскую нежность.

Когда трезвел, потом дня три не мог показаться людям на глаза: стыдился.

Спозаранку уезжал вдаль, по направлению к закату на своем Каракале (в переводе — «степной барс»), проветрить мозги и набраться у степи спокойного созерцательного настроения.

Ехал так: между рассветом и закатом, то есть с востока на запад, и когда солнце красным, уставшим за день зрачком упиралось в зрачок старика — поворачивал обратно.

Сейчас, проснувшись, он не пошевелился, а лежал так, будто еще спит, и даже дыхание старался держать между ребер, хоть дышать было тяжело: воздух в нос попадал пропитанный чужим потом и перегаром. Кто-то сопел рядом, чье-то тепло мягко текло к нему в спину, но тепло это почему-то казалось ему враждебным и хотелось отодвинуться подальше, а лучше вскочить и убежать... Но вначале, прежде чем он обнаружит себя проснувшимся, надо вспомнить подробно, что вчера произошло...

Он еще не мог вспомнить, как оказался лежащим в этом месте, и что за место — где он проснулся, и что вообще случилось: мозг, отравленный алкоголем, был бессилён и вял, но что-то иное, что-то в душе, — тягостная пустота, томление, — сообщало, что вчера он, пожалуй, сделал что-то недопустимое... что просто стыдом не излечится, а будет хуже, много хуже...

Про мафию он сразу вспомнил, это было, конечно, плохо, — целоваться в губы с людьми, которых не то что не уважал, презирал, но уже давно стойко ненавидел...

Он вдруг вспомнил, как пахло изо рта Нурланбека (старшего из карагандинских) — гнилью от застрявшего в зубах мяса, тухлой кровью, которая поднималась со дна желудка — плохой запах, не живой... как у гиены... так пахнет пасть гиены — ему ли, степняку, не знаком этот запах!

Но в тот момент он почти любил этого Нурланбека, с его красной взмокшей в жирных складках бритой шеей. По вискам бедняги текли капли пота, рубаха не держит живот, натянута, вот-вот треснет, крайние пуговицы отлетели и в распах виден посиневший от дурной крови и натуги вывороченный пупок, от которого по животу распластался зловещий рисунок вен — большая печень. Бедный Нурланбек однажды умрет от пьянства и обжорства.

Племянник очень гордился этим знакомством и самим Нурланбеком, а уж как заискивал — глядеть было противно. Еще спозаранку, до начала свадьбы, все оглядывал степь, будто не на своей невесте Сауле женится, а

на этом самом Нурланбеке. А когда вдали запыхало, заклаксонило, загорланили, и потом, из песков, прямо без дороги, через кочки, показались, подпрыгивая и взреывая, две черные, лаковые, как навозные жуки, машины — совсем потерял голову, бросился отворять скрипучие на ржавых петлях жердевые ворота, прикрикнул на мать и на него — чтобы пошевеливались...

Тогда старик не выдержал, сплюнул:

— Кто приехал? Что? Отца встречаешь?

Здесь был тонкий намек, язвительный. След застарелой обиды.

Отца у племянника не было: то есть когда-то был — старший брат старика, но взял и ушел на войну, причем добровольно, хотя его даже и не позвали... и там пропал без вести: может, прямое попадание получилось, а может, и плен...

У жены старшего брата было двое детей — девочки, и старик помогал их поднять на ноги, он-то на войну и вовсе не попал, вначале по возрасту, а потом уже и война кончилась...

Они так и жили, как будто он — «часть» брата, которую тот оставил для помощи своей жене, успев с ней пожить два года — между двух дочек. Кто-то еще грубо пошутил, что девочки к войне родятся.

И хоть жена брата была старше почти на шесть лет, но такой красивой женщины он больше не встречал и привык считать ее чуть ли не своей женой.

Он мог бы и жениться, да и родственники советовали взять в жены: женщина спокойная, хорошая хозяйка и подолом не метет. Пока не случилось очень странное событие.

У жены брата вырос живот в 1957 году.

Этому не было объяснения, но женщина вела себя уверенно и спокойно. Когда родился мальчик, женщина сказала: это сын брата — и стояла на своем.

Некоторые из семьи решили, что это он, старик, пробрался в запретные места, и, собственно, большого греха в этом нет, зачем только скрывать? А другие думали, что эта женщина от тоски по мужу тихо сошла с ума, и не помнит, кому отдалась с горя — может, первому проезжему, приняв его за мужа.

Решили скандал не поднимать, а так и было принято всеми, что Баглан и есть последний, самый желанный ребенок брата... и в метриках вписали имя старшего брата.

Кто бы что ни говорил потом — когда степь удивлялась несоответствию в датах, как бы ни смеялись на летовках, но с течением времени все как-то привыкли, что пропавший в сорок третьем году брат смог родить сына в пятьдесят седьмом.

Тем более, что подросший Баглан был в точности как брат, на последней карточке перед его отправкой на фронт.

Этого своего племянника, из загадочного 1957 года, старик полюбил особо. Иногда он подумывал, что, может быть, напившись, в приступе «зверя любви» не удержался, а жена брата проявляет воспитанность и деликатность и не «помнит» об этом. Но мог ли он сам так и не «вспомнить» того, что, может, между ними случилось...

Эта «загадка» окончательно припаяла его к семье брата и его жене, потому что на протяжении всей своей последующей жизни он пытался отыскать на нее ответ.

Он так и не женился.

Не то, что у него не было в жизни женщин, были, но это все были женщины, которых он имел, но не хотел, а ту, которую хотел — не имел. А прожил с ней бок о бок всю жизнь, и видел, как она стареет — красиво и невозмутимо.

Да, бок о бок прожили, но постели у них были разные.

Когда был молодой, лежал подолгу без сна, представляя, как жена брата за стенкой укладывается в свою постель. Как снимает верхнее платье, потом рубашку; наверное, рубашка пахнет потом, набранным за целый день забот по хозяйству; какое под рубахой молодое тоскующее по мужчине тело, какая грудь, что уже познала мужскую руку и губы, и соски, в которые еще недавно впивался рот младенца, когда кормила своих детей...

Он трогал свое тело, выгнутую кость ключицы, жесткий впалый живот, упругую нежную складку внизу живота, между ног, и мягкий островок волос, вокруг того самого главного мужского, что таил в себе желание, набухший от застывших внутренних соков; поглаживал себя, представляя, как бы это сделали руки жены брата; однажды не выдержал и заплакал от невыносимой сладкой боли: ему казалось несправедливым, что его тело пропадает зазря, без ласки любимой женщины.

Жену брата звали Жанат, что в переводе с арабского означало Сад Наслаждений.

И вот этот Сад был заперт войной на вечный замок!

Да, вот такую фразу, что, мол, «отца встречаешь», он умудрился сказать своему племяннику, хоть и не был еще пьян, а был просто раздражен и унижен таким неприятным поведением Баглана, племянника, которого считал своим сыном, и только увидел, как вдруг застыло лицо жены брата, Жанат, и стало белым, как нарядный белый платок вокруг ее головы...

Город портит человека, уверен был старик, он лишает человека самого себя, принижает его, не остается времени на раздумья, притупляется вкус и обоняние...

В степи ты на сто километров можешь быть один, и виден сам себе, и виден земле и небу; сам принимаешь решения; в городе таких, как ты — тыщи, все человеческое уплотняется, подгоняется под один размер, подстригается, как декоративный кустарник ровненькой кромкой; там сидишь в правилах, как зверь в клетке, но правила не продиктованы природой, а часто придуманы против природы вообще и против природы человека.

Зверь же не создан природой, чтобы сидеть в зоопарке или выступать в цирке — это насилие, которому учат взрослые детей.

Чему люди радуются, когда видят, как бьется о прутья боками ягуар или молча и загадочно стоит в глубине неволи степной волк. Пусть лучше взглянут волку в глаза — разве в тех глазах веселье? Нет, в глазах волка живет тоска по воле и еще — ожидание... волк ждет любой оплошности, чтобы вцепиться в глотку мучителям. Он, старик, это знал, он знал сущность волка, потому что не раз встречался с ним там, на свободе, в степи...

И когда привез маленького Баглана в Караганду, в амбулаторию, чтобы врач посмотрел рахит ребенка, то они зашли в «приезжий» зоопарк, и когда стояли у клетки с волком, старику показалось, что они с волком друг друга поняли, и он пожелал степному брату — воли... а Баглана увел прочь из этого места, которое люди называют зоопарком.

Но человек — разве не сидит он в такой же клетке из своих правил и запретов? Только он уже не тоскует, он живет хуже зверя, потому что презрел законы природы и уже не тоскует...

А когда ему, городскому, тосковать? Некогда!

Городской человек занят другими вещами: он толкается в очереди за продвижением по службе, толкается в очереди, чтобы купить мопед; он покупает мопед, машину, телевизор, серванты, — на все это уходит целая жизнь... Он вкладывает жизнь в вещи, потом вещи стареют на свалке, куда их свалят его дети, чтобы купить себе новые, еще более красивые и удобные...

Вот у него, старика, есть котел — остался еще от деда, и лучше этого котла, который вполне исправно трудится уже не одно десятилетие, ему не надо. Он, старик, привык к своему котлу, он знает, как с ним обращаться, он знает вкус еды, который получается в этом котле — зачем ему новый?

Или сапоги. Он носил сапоги столько, сколько они могли прожить; а когда стерлись подметки и уже не покрывались латками, купил себе другие, новые; а его ноги еще долго тосковали по старым — удобным и разношенным.

Так примерно рассуждал о городе старик, но все же отправил Баглана учиться в Караганду.

И что привез Баглан из города вместе со знаниями? Привез снисходительное презрение ко всей прожитой им, стариком, жизни...

Когда старик однажды рассказал вслух свою мысль «про сапоги и котел», то приехавший на каникулы и сильно поумневший в городе Баглан поднял его на смех:

— У вас, ага, деструкт мозга! — (Что такое «деструкт», старик не знал, решил, что, может, опухоль, и побоялся спросить). — Это из-за войны, наверное. Я не спорю, тяжелое было время, но уже пятьдесят лет прошло. Все изменилось! Вы представьте, что все так будут рассуждать, и перестанут покупать себе сапоги и одежду? Тогда легкая промышленность загнет-ся, а вместе с ней — машиностроение, и вообще индустрия! Цивилизация встанет из-за таких вот! Вы поперек цивилизации легли и не желаете видеть новое, хорошее! Но она вас переедет и даже не заметит, кто это там валяется раздавленный, в кювете, ха-ха!

Тут Баглан, если можно так выразиться, оседлал «городской мопед» и застрекотал по асфальту рассуждений:

— Если вам лучше без вещей, зачем тогда вы на паях с Агулбеком купили трактор? Так бы и вспахивали поле мотыгами, чего там! А движок? Движок вам свет дает, а то сидели бы впотьмах, как суслики! Ну и выбросьте его, раз без света лучше в темноте на звезды глазеть! А мать? До сих пор моет посуду в тазу! А вы знаете, что в городе придуманы такие машины, чтобы посуду мыть? Знаете? Посудомойка называется. Когда женюсь, на-перво такую машину куплю. Моя жена руки будет душистым вазелином мазать, они у нее будут мягкие и гладкие, а у матери ладони — как наждак, пораниться можно!

Старик угрюмо буркнул:

— Я не против всех вещей, я другое сказал!

Он чувствовал, что Баглан специально не хочет понимать его мысль, как-то легко ее переворачивает наоборот и показывает смешной стороной... И получается при этом правым, а он, старик, выглядит дураком.

Особенно его задело упоминание о руках жены брата, Жанат.

Это было справедливо, но и жестоко, и несправедливо одновременно.

Он вспоминал, какая была радость, какой праздник в семье, когда в семьдесят первом году они купили стиральную машинку с ручным отжимом.

Это было летом. Машинку установили прямо на дворе; все собрались вокруг, даже соседи. Среди них были и друг Шашубай, он притащился с другого края плато (вставные металлические зубы этого Шашубая обмывали недель раньше; мир и его праху, и его челюсти), и Альберт, немецкий поселенец с молочной фермы, которая располагалась в разьеме

между двух склонов тургайских гор, километрах в десяти от хозяйства старика.

Приехал важный и серьезный, как врач, мастер. И долго прилаживал провода машины к движку, и какие-то шланги внутри и снаружи «стиралки» — так он называл ее, с легким налетом превосходства человека над техникой; бренчал инструментом и матерился, пока машинка, наконец, не зажужжала; в нее набрали воды из цистерны, засыпали порошка...

Когда стиралка прыгнула, у Шашубая вылетела в песок челюсть, сверкнув на солнце металлом.

А машинка, набрав обороты, и тряслась, и пенилась, и подпрыгивала в радостном движении стирки. Получился такой смешной и веселый, немного дикий танец стиральной машинки, стирающей белье семьи, отчего мастер упал на спину, потеряв важность, и ржал, как лошадь.

Вначале все онемели, потом испугались и разозлились, хотели поколотить мастера: думали, он специально испортил им машинку, чтобы еще содрать денег сразу и за починку; но, мастер, вытирая выступившие на глазах слезы, объяснил, что надо иметь ровную поверхность — пол лучше кафельный, и хорошую мощность электроподачи — чтобы машинка работала, спокойно стоя на месте. И дал язвительный совет: «Вы ее стреножьте, а то ускачет в Караганду»...

Еще у машинки к задней стенке были пристроены два валика («Вальцы», — прочитал в инструкции Баглан) с блестящей металлической ручкой. Ручка ослепительно сияла в свете солнца, и когда белье простиралось, то жена брата вставила кромку простыни в губы вальцов, завертела ручкой, как будто у колодца, и вальцы своими плотно сомкнутыми тугими резиновыми губами стали со скрипом прожевывать белье, и на той стороне оно выходило плоским длинным влажным языком, и смачно падало в подставленный таз.

А потом белье пузырилось и хлопало на веревках, сияя намытостью, и быстро сохло под солнечным ветром; ветер набивал поры белья запахом степных трав, и когда старик впервые лег на эти выстиранные и высушенные на веревках простыни — то ему показалось, что он попал в рай.

Конечно, белье и раньше стирали, но редко, — берегли воду, и поэтому пропитавшие его человеческая кислота и жир, отбиваемые палкой, а потом зашварканные хозяйственным мылом, у которого у самого был резкий щелочной запах, не пропадали, и белье, после такой стирки и сушки на жердях ограды, пахло кислятиной, тяжелым трудом и унынием...

Даже было неловко свое тело располагать на такой чистоте.

В тот раз он никак не мог заснуть и все пристраивался поудобнее, а в душе замкнуло — все вспоминал взгляд Жанат, когда она вертела ручку

вальцов, и смотрела на него, тихо улыбаясь; не избегала смотреть прямо на него, как обычно, не скользила взглядом мимо, а ровно и долго смотрела из-под съехавшего на лоб платка, и что-то там внутри ее глаз теплилось, мерцало изнутри... если б он осмелился так подумать, то подумал бы, что — любовь.

Вот ведь, в данном случае вещь помогла проявиться чувству — значит, он не может ее отрицать совершенно.

Все тогда получили свою порцию впечатлений: Шашубай тайно радовался, натирая рукавом халата пластмассовое небо в оградке металлических зубов, что челюсть просвистела мимо машинки, потому что он не смог бы пережить бряканье своих зубов внутри центрифуги: а вдруг бы стиралка их навовсе растворила? Мастер просто был доволен, что даже в пустой дикой степи мог наладить сложный современный механизм. Немец-фермер радовался тому, что у него стиралка работает без сюрпризов и стоит, как и положено, на ровном покрытом лаком настиле; жена брата — свежести белья, облегчению в хозяйстве и заботе старика, а он, Санжар, понятно чему...

А Баглан, которому в том году исполнилось четырнадцать — тому, что смог поважничать перед приятелями в школе-интернате Агадыря: «Стиралку летом купили, подумаешь! Прыгает, как лягушка».

И вот, в том разговоре Баглан смог произнести такие несправедливые слова в отношении материнских рук! Разве она виновата, что машинку удалось купить только в 1971 году? В этом году «стиралке» стукнет двадцать лет! Хоть замуж выдавай!..

Он бы мог объяснить Баглану, что раньше даже и хотел, но не хватало денег, и возможности такой не было! Вначале подрастали девочки, на них тоже тратили — на форму, на тетрадки и учебники, на лекарства; потом сколько лет копили на движок, потом еще несколько лет копили на цистерну для воды: жизнь не строится внезапно, но обустроивается необходимым постепенно.

Вот в этой точке между ними нарастало напряжение и непонимание.

Баглан хотел сразу!

Он не имел терпения, почему-то старик не воспитал в нем терпения перед жизнью.

Вначале он хотел мопед, транзистор и джинсы.

Совсем пропадал в городе, что там делал — не говорил, но все, что хотел — приобрел...

Теперь транзистор отдал старику, и он слушает через треск радиоволн передачи и музыку. «Алматмиздиректермыз», — стрекочет женским голосом транзистор. — «Давай, давай, слушаю тебя», — отвечает старик, прилипнув ухом к динамику.

Баглан посмеивается — опять правда на его стороне; старик, застигнутый врасплох возле транзистора, сердится, будто его уличили во вранье.

Себе Баглан купил бобинный магнитофон «Астра».

Мопед тоже быстро надоел. Стал говорить: «Ну разве можно мопед сравнить с мотоциклом! Это все равно, что Ил-96 сравнить с кукурузником! Мотоцикл скорость берет сразу и летит над шоссе бесшумно, а мопед стрекочет, как веялка — на всю степь слышно! А в городе мопеду никто дороги не уступит... на нем школьники ездят, а серьезный человек — на мотоцикле и машине». Уже наперед определил себе задачу на будущее.

Разговоры про «вред и пользу» у них возникали раз от разу, когда Баглан приезжал из города. По сути, это был один бесконечный разговор, как песнь акына, только с паузами-отдыхом, а потом опять возобновлялся...

— И все же некоторые вещи, делая добро, приносят зло. Например, ракеты, — заводил старик, когда они вечером усаживались на лавке под стеной дома.

— И какое вам, ага, зло от ракет? Вы их даже в глаза не видели!

— Когда их запускают, все знают, что потом три дня дует ветер. А кто-нибудь изучил этот ветер? Что в нем содержится? Может, он несет плохое для степи и людей! Когда ракета там, в небе свои дела делает — ладно, пускай. Но когда у нас в степи находят ее части, это к чему? Шашубай, тот, у которого еще зубы вылетели, когда ставили машинку, нашел большой кусок дюралья и покрыл себе крышу дома, а сам загнулся от рака. Целые куски легких выхаркивал на землю. И все из-за ракеты!

— И при чем тут ракета?

— Его крыша фонила, как АЭС!

— АЭС не фонят — там реактор под колпаком!

— А что — фонит?

— Радиация!

— Когда счетчиком крышу проверили, он трещал, как резаный!

— Зачем ваш Шашубай всякую дрянь из степи в свой дом пер?

— Ага, значит, был вред Шашубаю от ракеты!

— Даже от спичек таким дуракам, как вы с Шашубаем, может быть вред!

— Как ты смеешь нас с Шашубаем дураками ругать? Шашубай имел Орден Труда! А ты что имеешь, кроме мопеда?

— Не в мопеде дело! Гагарина весь мир знает! А вас кто знает?

— А зачем нас знать? Мы сами себя знаем, и хватит! Один лектор приезжал, про космос рассказывал для овцеводов, говорит — скоро арбузы будем выращивать на Луне. Я его спрашиваю: зачем мне арбуз с Луны,

сколько он будет стоять? Пять лет надо работать, чтобы такой арбуз купить!

Баглан расхохотался:

— И что он ответил?

— Сказал: трудно вашу дремучесть выкорчевывать, но они выкорчуют... корчеватели... Арал зачем убили? — всерьез завелся старик. — Теперь за Каспий взялись. Вы цивилизацию делаете, только пока сделаете — земля загнется! От твоего мопеда одного — вони на всю степь, а от машин какой выхлоп! Мой трактор тоже воняет... мне это не нравится, что портится в степи воздух...

— У вашего Каракала дерьмо тоже воняет! Что он, ирисами гадит, что ли?

— Это естественный запах! Ты что, кизяк не месил? Забыл уже? Иди под навес — понюхай, может, вспомнишь! Кизяк пахнет теплом и едой! Домом пахнет, твоими бабушкой и дедушкой! Руками твоей матери! Вот чем пахнет кизяк! Нет лучше этого запаха для казаха, который в степи родился!

— Ладно, ладно, старая песня... лучше признайтесь, что заблудились в своих рассуждениях, лучше поменьше думайте! Да, кстати, о Каракале... чего вы с ним возитесь, он уже слепой совсем.

— Это тебя Нурланбек надоумил такое сказать?

— При чем здесь Нурланбек? Лошадь ваша не из-за Нурланбека состарилась, а от времени...

— Вы лучше про Каракала не начинайте, и близко не подходите, а то — застрелю!

— Да кому он нужен! Его место на скотобойне давно, там заждались...

— Сказал уже!

Санжар встал, ушел в дом: обида жгла за Каракала! Почему у Баглана такое беспамятное сердце? Разве не его, Багланчика, старик вывозил в степь на спине тогда еще молодого адаевского жеребца, разве Каракал хоть раз взбрыкнул или выразил недовольство? Разве мопед, или вот мотоцикл, могут полюбить Баглана? А Каракал Баглана любил, и каждый день ждал, когда племянник из города приедет, и ждал, когда к нему подойдет, и потреплет гриву или подует в глаз, как это раньше делал, пока не увлекся своими железками; но Баглан совсем перестал обращать на коня внимание, всегда ходил мимо...

Что Каракал любит Баглана — это старик знал доподлинно, уж он-то все знал про своего коня. А вот за что Баглан невзлюбил Каракала, понять не мог.

А какой он был красавец, это ж настоящий адаевец, степняк! — помесь казахской и туркменской пород, самый для пустыни верный конь, самый быстрый и выносливый! Его мускулистое ладное тело отливало светлым

благородным золотом, сухие тонкие ноги до бабок, грива и хвост были угольно-черными, как будто пролетел на всем скаку над палом, только и опалило слегка...

Старик вздыхал и шел объясняться с конем, шептал ему в ухо:

— Ты не обижайся на Баглана, он еще стригунок, ну не подошел в этот раз, в другой раз вспомнит: сердце у него не злое, только легкое, тарахтит без толку, как погремушка, не знает страданий пока что... не сердись, — и скармливал ему пару яблок «белый налив»: очень Каракал уважал белый налив. Когда другие яблоки давал, — розмарин, апорт или лимонку — ел, но без удовольствия...

Этот первый разговор о судьбе Каракала произошел, когда в их жизни уже появился Нурланбек.

А спустя месяц Баглан влетел, едва не свалив ворота, на новеньком мотоцикле.

— В его моторе сорок лошадей, а таких, как ваш Каракал, и все пятьдесят! Целый табун!

— Откуда деньги взял?

— Нурлан одолжил, теперь я на него работаю...

«Вот как, уже по-свойски называет — Нурлан, нашел себе ровню!»

Этого старик стерпеть не мог. Он собрался поехать в город и как следует поговорить с Нурланбеком. Разве для этого человека он вырастил племянника как своего сына, а может, это даже и его собственный сын — так неужели он отдаст его такому вот Нурланбеку? Он скажет, что может продать и трактор, свою часть трактора — свой пай, а если не хватит, то и новый движок, если не хватит, то все, что есть на дворе и в доме — продаст, чтобы выкупить у Нурланбека своего сына, а если не поможет, то обо всех их делишках расскажет в милиции, — там разберутся как следует!

Когда наступил сентябрь, не в самом его начале, а ближе к концу, он оседлал заслужившего честь этого похода Каракала. Пусть конь и стал хуже видеть: его левый глаз постепенно затягивался бельмом, словно белая тучка набежала на зрачок, — но правый был горяч и черен, как в юности!

А ноги у коня были по-прежнему крепки и уверенно пробивали копытом затвердевшую от первого ночного заморозка землю. Разве что зад стал костлявым, и кости крестца выпирали при каждом шаге. И «волос» уже не шелковился, не отливал степным золотом, а посивел...

Еще с собой он взял фотокарточку Жанат и челюсть своего друга Шашубая, которую тот завещал ему.

— Пусть она хранит для тебя мою улыбку, — так сказал, умирая, Шашубай и подмигнул, — последний «прикол».

И старик понял, что имел в виду умиравший: пусть сохранится весь их юмор, все «приколы», которые они устраивали друг другу в жизни, и что все будущие невзгоды старика судьба перемелет так же, как это делала челюсть Шашубая, разгрызая бараньи мослы! Старик поцеловал тогда Шашубая в пустую впавшую щеку.

— Потом заберу. Ты же еще не умер, а вдруг поправишься? Еще твоя Жанар скажет — украл! — невесело пошутил.

Шашубай ответил, поддержал друга:

— Тогда обратно заберу. Жди. Смотри, не продай!.. — и, хоть не хотел огорчать напоследок Санжара, но все же сказал: — Зря я связался с этой ракетой — видишь, уморила меня...

Доктор — и тот не сумел переубедить Шашубая, что ракета здесь ни при чем. Он даже накричал:

— Хватит нести этот бред!

Может, доктор был прав, и опухоль образовалась после удара копьем в грудь, когда Шашубай участвовал в козлодрании наравне с молодыми, семь лет назад. Но доктор приехал из города, из Караганды, из центра. И Санжар больше верил своему другу Шашубаю, с которым был знаком еще с детства, когда они в одном арыке пускали дощечки-кораблики, чем чужому пришлому человеку, пусть и медицински образованному.

Это было долгое путешествие в его жизни, то есть дорога туда... впервые он ехал, чувствуя себя воином, человеком, который едет сражаться за жизнь и судьбу другого человека, своего сына, — это его роднило с душой брата, он как бы чувствовал его незримое присутствие и одобрение...

На Каракале старик собрался проехать сорок километров до поселка Агадырь, там крупный железнодорожный узел: он, как в кулак, собрал все рельсы Центрального Казахстана, и из этого кулака потом в разные стороны разбегались стальные нити, по которым шли товарняки, груженные углем, и пассажирские дальние, и местного назначения. Ему тоже нужен был поезд местного назначения: от Балхаша до Караганды. Поезд проходил через Агадырь в час ночи: он будет тащиться, останавливаясь у каждого переезда, и каждого мазара, собирая степных жителей со всех окрестностей.

Коня он оставит у знакомого «директора переезда». Это была старая история, «прикол» в духе Шашубая. На переезд понадобился стрелочник, зарплата пятьдесят рублей, развесили объявление, и даже один младший чиновник прокатился на «ниве» по аулам с уговорами. Никто не хотел за пятьдесят рублей работать стрелочником: поездов много ходит — только успевай туда-сюда «крутить реле»! За какие-то пятьдесят рублей!

Тогда кто-то догадался и повесил другое объявление: «Требуется директор переезда без высшего образования». Что тут началось! Чиновники чуть не свихнулись! С утра, еще до открытия конторы, толпился народ, едва дверь не снесли: всем хотелось в директоры! Думали, раз директор, значит, и кабинет дадут, и машину.

А первым оказался Тельжан, даже пришел с портфелем, правда, пустым, внутрь насовал старых газет «Агадырская правда», чтобы бока у портфеля были раздуты, как будто там важные бумаги... Жена потом ругалась: эти газеты она берегла под обои, как в городских домах!

Шашубай и Санжар потом долго потешались над «директором переезда» Тельжаном.

— Где твоя новая машина, Тельжан? Колеса меняешь?

— Отстаньте! Уже на всю степь прославили!

— Нет, ты скажи, где прячешь секретаршу? Наверное, красавица тебе чай подает прямо на рельсы! И где твой портфель? Небось, начальство думало, что у тебя в портфеле коньяк, а не газеты, вот и поторопились дать работу, хи-хи...

— Дело не в портфеле! Работа ответственная, почти уголовная, а вдруг засну, не опущу шлагбаум, что тогда будет, умники? Авария случится! Или стрелку не переведу — состав с рельсов сойдет... Так что заткнитесь, я люблю свое дело! Командую безопасностью, чтоб вы знали, идиоты!

После этого Санжар и Шашубай больше не терзали своими подколками стрелочника, а в народе его так и стали звать: «директор переезда» — ну, в самом деле, он был куда важнее, чем какой-то надутый шишак, просяживающий штаны в конторе — про таких говорили: плоскозадый.

Хорошие это получились сорок километров до «переезда директора»...

Степь, конь и он, Санжар.

Ехал шагом, изредка, минут на пять переходя на рысь, чтобы Каракал размял мышцы: до сих пор любил, задрав хвост, поиграть движением — то иноходью, то аллюром...

В этот раз Санжар двигался на восход, только небо с утра было затянуто плотно, и лишь там, где должно было быть солнце, виднелся светлый неровный кружок, будто в этом месте кто-то от усердия протер до тусклого блеска серое сукно.

Ветер дул ровно, вбок, без нарастания и порывов... так что через какое-то время заледенела левая половина лица, которая оказалась на пути ветра, ветер выбил из глаза слезу, и она застряла в подглазном мешочке; брезентовый плащ совсем затвердел и похрустывал при движении.

Какой-то это был очень ранний заморозок: степь к нему была еще не готова, и поеживалась под первым холодным ветром. Это из узкой щели

между кромкой неба и кромкой земли несло понизовым холодом; казалось, что там, за горизонтом, сидит кто-то сердитый, надувает щеки и вдывает в степь свое ледяное дыхание...

Может, не хочет, чтобы Санжар ехал, куда ему надо.

Как только отъезжал от дома, что того уже не было видно, — начинал томиться по Жанат.

Он ничего ей не сказал о цели своей поездки, а она, как всегда, не спросила.

Для других такие отношения были непонятны. Молчаливые — почти не употребляли друг с другом слов. А он уже так привык к их общему молчанию, что, удивился и, пожалуй, испугался бы другому: он привык понимать ее по жестам, по взгляду, по запаху, по дыханию... это было какое-то первобытное чувство женщины — так, наверное, самец животного чувствует свою самку, только свою.

«Дорога Жанат», — так называл он свой путь.

Можно было спокойно поразмышлять о ней, о брате, о себе. Когда Жанат была рядом, он старался о ней не думать, — был уверен, что она прочтет его мысли, и это нарушит равновесие их жизни. Но когда выбирался надолго в степь, то давал себе волю...

Любовные игры в степи никого не удивят — все на виду: и как жеребец свою кобылу оплодотворяет, и как тазы (азиатская борзая) на самку влезает и возит ее по двору, и роды всех: овец, собак, лошадей — на всеобщей видимости и при помощи человека происходят.

И среди людей степи, живущих на таких сквозных просторах тесно, впритык друг к другу, в юртах или зимовьях, взаимные чувственные отношения, с одной стороны, очень практичны — для пополнения рода, для потомства: очень важно для семьи рождение сына — но, в то же время, поэтичны: сама природа здесь человеку улыбается, подбадривает его.

Но то, что в юности случайно увидел Санжар, сильно поразило его.

В тот день с пацанами из соседних становищ, Шашубаем и Агулбеком, они уговорились пойти собирать мумие в горы, что располагались грядой, километров за пятнадцать от их плато. Мумие можно было потом свезти в Агадырь и сдать как сырец врачевателю Али; врачеватель платил по тридцать копеек с килограмма. Али потом выпаривал из сырца смолу, из которой готовил настойку и мазь. Эти самопальные снадобья пользовались большим успехом у местных — для лечения ран, ревматизма и омолаживания всего организма.

В голове не укладывалось, как это обычный мышинный помет (проще — какашки) с годами под воздействием горных вод и воздуха превращался

в целебное лекарство. На такой вопрос Али мудро ответил: «Процессы окисления».

Впрочем, друзья мало об этом задумывались. Главное, что этот промысел приносил деньги.

Это было небезопасное дело. Можно было нарваться на конкурентов, — такие встречи не раз заканчивались дракой. Но и сам процесс требовал ловкости и бесшабашности. Нужно было пролезать фактически туда же, где сновали мыши — в узкие щели, что находились на крутых карстовых отвесах, так что потом весь живот был располосован царапинами, как будто его выстирали на «кварцевой щетке»; можно было попасть под камнепад или застрять.

Так случилось годом ранее с Шашубаем — внутри щели гора схватила его за ступню и не хотела отпускать... Друзья тянули его за руки наружу, а гора внутри сжимала каменными пальцами ступню и не возвращала Шашубая. Тот орал от страха и боли, но и Санжару с Агулбеком тоже было страшно, не меньше Шашубая. Хоть и не больно. Все же уговорили гору отдать обратно Шашубая, пусть и с посиневшей распухшей ступней, зато живого.

Но Шашубаю хоть бы хны — быстро забывал плохое. В тот день тоже с ними пошел в «поход за дерьмом» — так он называл это дело, без церемоний. И именно Шашубай нашел хорошую пещерку. В нее можно было влезть на карачках: снаружи она густо заросла диким шиповником, поэтому конкуренты прошляпили, а внутри все камни понизу были густо замазаны черной липкой массой и сумрачно-маслянисто поблескивали в сквозном неясном свечении; даже попадались отдельные хорошие куски смолы, — прямо «урожай», только успевай отколупывать металлическим крючком, который специально гнули из крученых проволок, чтобы зацепить облапленный смолой камешек — набрали из этой пещерки килограмма по полтора.

Пещерка оказалась сквозной, — вот откуда был свет, — и выходила на ту сторону горы. Первый высунулся Агулбек и замер, стал отчаянно махать руками — глаза его были круглы и рот округлился в немом возгласе: «О!»...

Внизу, на берегу прозрачного, еще не успевшего пересохнуть ручья, дремал вороной жеребец, похлестывая хвостом бока, от насевших слепней.

Ручей в ярком жарком свете бликовал между золотистым галечником, вода в нем ходила радужными кругами, играла...

В ручье стояла абсолютно голая девушка, к которой со спины приник абсолютно голый парень, он обнимал ладонями ее грудь и целовал в шею возле уха.

Ручей был так прозрачен, что им сверху были видны щиколотки девушки, которые окольцевали черным пульсирующим венцом и пощипывали головки, в то время как парень все ласкал и ласкал ее тело своими руками, перебегая пальцами то вверх к горлу, то опускаясь все ниже и ниже, к черному треугольнику волос. Охваченная мужскими руками, девушка стояла неподвижно, закрыв глаза: ее лицо казалось даже спящим, но по нему то и дело проносились легкие судороги наслаждения и даже боли... иначе с чего бы ей вздрагивать и постанывать...

Потом парень уложил обмякшую и будто спящую девушку в ручей, а сам налег сверху, так что были хорошо видны его напрягшиеся смуглые и круглые ягодицы и хребет спины в ломком изгибе, пальцы ног его упирались в галечник ручья и то и дело соскальзывали, как будто он все собирался оттолкнуться от дна ручья и унести в небо, потом он вдруг стал вначале медленно, потом все увереннее, потом уже быстро-быстро, толчками, продвигаться внутрь девушки, она вскрикнула и «проснулась», ее ноги вскинулись и обхватили накрест спину парня.

Это длилось какое-то время все отчаяннее и отчаяннее. Казалось, что вся жизнь их вот-вот закончится... Они оба стали кричать... их крики звучали все громче и стремительнее, потом оба крика слились в яростном и победном вопле «зверя любви», который помчал их прямо вверх, отталкиваясь от гор, к спящему диску солнца...

Что было дальше у ручья, никто досматривать не стал: в ужасе быть обнаруженными, пацаны съехали внутрь пещерки, и, не говоря друг другу ни слова, выскочили на прежний склон, ободрав тело и одежду о шиповник, ссыпались по склону и неслись, не разбирая пути, пока не забились дыхание...

Только спустя полчаса вспомнили, что забыли свои мешки там, внутри... но возвращаться никому даже и в голову не пришло...

Вечером на крупе вороного Санжар обнаружил притороченными к седлу мешки, а в них — мумие.

— Не знаешь, чье это добро? — спросил брат. Санжар недоуменно пожал плечами. — Откудова? — брат хмыкнул. — Ну-ну...

Но не стал настаивать, хотя, конечно, мешок Санжара не мог не узнать: там была суконная латка, заметная, которую сам же брат и делал...

Этот миг у ручья ожег Санжара навечно. Он боялся этого воспоминания, мучился им, и все же травился им, раз от разу и год за годом.

Тогда он был очень благодарен Шашубаю и Агулбеку за деликатное молчание, — они ни звука не проронили про этот момент. Ни тогда, ни потом. Но Санжар поневоле вспоминал, какие у них были лица.

Он помнил, как самого его трясло, как естество налилось и готово было взорваться, это было впервые и страшно до отвращения, до отвра-

щения к себе, к своему «балакаю» (мальчуган), или «емип журген кулыну» (жеребенок-сосун), «кишкентаю» (меньшой) — так, по-разному, называл «его» отец, когда обмывал маленького Санжара в тазу или на озере; к тщедушному и спрятавшемуся на животе, прикинутому к животу в страхе и жалости, но полному запретных желаний; и отвращения к Жанат: зачем она так? как могла быть такой? — от этого его уже ночью неудержимо рвало и обметало жаром. Он сказал, что объелся перепрелым одичавшим урюком...

Сколько ему тогда было — пятнадцать или четырнадцать? он уже не мог вспомнить... канун войны, все это было в канун войны...

Потом у Жанат было два живота и две дочки; но он знал, видел воочию, как это все с ней происходило, чтобы потом получились эти две черноглазые девочки...

В отношении к брату у него тогда возникло раздражение и чуть не злоба...

Когда брат положил как-то ему на плечо руку, он, не успев подумать, резко сбросил ее... ему было неприятно любое прикосновение брата, и он стал примечать, что у того есть дурная привычка причмокивать губами во время еды, что он шумно высасывает мозговые кости, и при этом у него еще двигались уши — это раздражало, раздражала и походка брата, и его смех, вообще эта способность быть веселым... и уж особенно — когда он по-хозяйски «потискивал» Жанат...

Все это прервалось с уходом брата на войну...

Жанат полдня валялась в пыли на дороге, мертвее мертвой, никто и не думал пойти и поднять ее. Это ее горе, к которому никто не смел приблизиться...

Когда брат прощался с ним, то крепко обнял, очень крепко, так что губы Санжара невольно, до боли, впечатались в жесткую грудную кость в распах рубашки, и потом на губах сохранялся вкус брата: потный, горьковато-полынный; он потом боялся невольно облизнуть губы, чтобы этот вкус не исчез, он хотел, чтобы пот навсегда впитался в губы и хранил запах и вкус брата. То мгновение, пока он стоял в прощальных тисках, в его голове бешено крутилось колесо. То самое колесо, без камеры, с железной-крючком, которое когда-то ему, пацану, смастерил брат из ржавого велосипеда проезжего геолога... Сквозь спицы яростно било солнце. Внутри колеса вращался «зверь любви» и ему было не выбраться... он сейчас завращается до смерти...

— А-а-а, — забился в крике Санжар... потом затих. Обмяк на руках брата...

Уходя, брат сказал:

— Оставляю тебе Жанат...

Вначале это казалось естественным: он один оставался мужчиной в семье — все остальные умерли своим ходом...

Потом стал думать, почему брат сказал то, что сказал. Что значит: «Оставляю тебе», — дарит, что ли, ему Жанат, отдает навечно? Если не так, должен был сказать: «Поручаю тебе свою жену и детей, береги их до моего возвращения»...

Но он сказал так, как сказал: «Оставляю тебе»...

Так не говорят, когда собираются вернуться... только в июле сорок первого года он не мог знать, что не вернется никогда... никак не мог.

Над этой фразой Санжар думал всю войну, и после войны все прошедшие годы, и сегодня, когда ехал на «переезд директора» — тоже о ней подумал.

Зачем ему так сказал брат? А может быть, надо было взять Жанат и жить с ней как муж с женой... поговорить, рассказать ей о словах брата, — не упустил ли он самое главное, ради чего все?

Но именно так произнесенная братом фраза и мешала всю жизнь Санжару — она вводила его в желание... в плохое желание, чтобы брат не вернулся...

Это была страшная пугающая мысль, которая нет-нет да и пробиралась в голову Санжара: если брат не вернется, то Жанат останется ему, Санжару...

И когда однажды он ясно это пожелал — чтобы брат, которого любил как отца, не вернулся с войны — то готов был расковырять себе мозг, чтобы достать оттуда эту мысль и раздавить ее, как гадину, каблуком...

Эта мысль — все равно что пуля, которой он выстрелил в спину брата, там, на войне...

Степь запасмурела: небо уплотнилось, налилось свинцовой тяжестью, опустилось совсем низко, вдали практически легло на землю, и создавалось впечатление, что Санжару вместе с конем не пролезть в узкую щель горизонта, за которым скрывался Агадырь и «переезд директора».

Ветер внезапно стих, и минут через десять безветрия бесшумно западала белая крупка, тут же покрывая землю седыми клоками, будто их кто дерганул с головы мертвой старухи. Крупка скапливалась в следах копыт, забивала сусличьи норки, горизонт скрылся за мутной завесой... Санжар надвинул на голову капюшон и поплотнее запахнул брезентовый плащ...

От брата пришло пять писем, и все. И потом, только через полгода — извещение, что «пропал без вести». Опять неопределенность: что значит — «пропал»?

Всю жизнь эта разъедающая неопределенность во всем...

После получения этой бумаги-извещения Санжар стал думать, нет ли его вины в этом «пропал без вести», не было ли такой звериной силы в его мрачном желании, что она встала на пути возвращения брата домой? Может, она оказалась действеннее ожидания и тоски Жанат.

Жанат тогда сказала: «Он живой, вернется». А он не сказал, но подумал: «Нет».

И оттого, что он так подумал — «нет», чувство вины все росло с годами, и мешало подступиться в жене брата... кроме, возможно, вот той ночи в пятьдесят седьмом году.

Ему тогда было тридцать один, и он уже вполне освоился с умением напиваться.

Подростками они с Шашубаем и Агулбеком накуривались анашой до свинячьего хохота, а потом узнали и водку с самогоном, а если самогонку настоять на выпаренной эфедре, то такое получалось, что на следующий день лучше было не просыпаться... а просыпаться дня через три... И конопля росла в степи, и эфедра. Узбеки коноплю в плов добавляли... потом все ходили «обдолбанными» — веселуха.

После одной попойки с Шашубаем и вырос у Жанат последний, третий живот.

Но слишком много в тот раз забухал Шашубай эфедры в самогонку, так что только зыбко маячил смутный хвост воспоминания, что видел над собой то самое «спящее» лицо «девушки из ручья»... лицо, покачиваясь, плавало во мгле — как луна, то приближаясь, то удаляясь ввысь к звездам... и еще — пугающее ощущение ямы, пустоты между ног в паху... даже взглянул, все ли там на месте...

Когда Санжар осмелился выйти в общую комнату, там на коврах уже раскинул ноги Шашубай, вокруг лба его был накручен платок и еще из пилалы бедолага поливал водой темя.

Жанат подала Санжару миску с айраном, сказала: «Выпей» и ушла на двор. Все как обычно, ничего нового в ее лице или жесте, в том, как подала ему миску, в тоне, каким сказала: «Выпей», — для себя не услышал...

Он тогда здорово разозлился на Жанат и швырнул миску с айраном о стену.

Он иногда на нее злился.

Неужели она не видит, как он мучается желанием, не чувствует притаившегося в нем «зверя любви», не чувствует смертной тоски «зверя» по ней, не ощущает его мужского первобытного запаха, его силы... почему не отзовется ее душа, ее плоть, которая скоро, еще несколько лет — и превратится в труху!!!

Разве его тело хуже, уродливее тела брата, разве не развилась за эти годы его грудная клетка вширь, разве его спина не имеет твердости и гибкости, разве руки не могут быть такими же нежными и любящими, как у брата? Разве он не смог быть таким же страстным и мощным, как брат у ручья? А его «кишкентай» давно превратился в «Сары-арку»!

Он его уже сколько раз проверил, когда «драл» в Агадыре «легких» девок, те сами лезли на него... вопили, раздирая горло, когда он раздирал их изнутри до самой матки, когда шуровал там раскаленным затвердевшим жезлом с победной мощью и силой...

После таких вылазок он возвращался домой заматерелым, чувствуя себя состоявшимся мужчиной, пропахший вязким и кисловатым соком «любви», «запахом жеребца», и поглядывал на Жанат с усмешкой и свысока... таким она его побаивалась.

Как-то Шашубай привел свою кобылу, чтобы Каракал ее покрыв.

Они стояли возле загона и посмеивались...

Проходившей по двору Жанат Санжар бросил: «Погляди, вот как это делается!»

Жанат с испугом шмыгнула по ним взглядом, задернула лицо платком и почти бегом скрылась в доме. Больше в тот день не показывалась.

Вечером Санжар робко подергал занавеску над проемом двери ее комнаты — хотел извиниться за вырвавшуюся грубость.

— Уходи, — глухо сказала.

Он потоптался у занавески, вздохнул: «Э-эх», — и убрался восвояси.

Да, это был самый сложный период.

Когда он мужал и хотел от жизни подтверждения своему возмужанию. Особенно тяжело было зимой.

Их саманный с плоской крышей дом торчал посреди ровной тарелки тургайского плато, продуваемый ветрами.

Зимой же отчаянные и свободные, не знавшие удержу буранные ветры исхлестывали стены дома и запеленовывали его снегом по самую крышу. Крышу же так заваливало, что она постанывала и грозила вот-вот рухнуть внутрь дома.

Когда бураны стихали, Санжар выбирался и целый день только и расчищал дом и подворье до следующих буранов.

А внутри дома только в большой комнате печь хорошо протапливала помещение, и все собирались поближе к теплу. Жанат чесала козью и верблюжью шерсть, потом мотала из нее нитки и валяла носки и малахаи. Санжар чинил всякие рабочие причиндалы, в доме толклись ягнята и собаки. Жанат все время была на глазах, каждую минуту... как было себя удерживать...

Он брал с собой на ночь палку и грыз ее зубами...

Легче стало, как ни странно, когда у Жанат стал подрастать живот.

Санжар чувствовал, как там внутри, в таинственном и желанном ложе, зреет новая человеческая жизнь, к которой он мог быть сопричастен, и это новое материнство вознесло для него Жанат на какую-то недостижимую вершину.

Ее лицо округлилось, по нему разлилось спокойствие, и вся ее располневшая в сиянии женственности фигура и наливающийся выпирающий из-под платья живот утихомирили желание, а возникло новое, до этого неизвестное: жалость к ее телу и страх, что оно может повредиться: он готов был сторожить ее живот день и ночь...

Те, прежние ее «животы» у него тогда вызывали отвращение, тогда он ко всему причастному ей относился с отвращением, к тому же учился в интернате в Агадыре, видел ее мельком и старался избегать встреч... поэтому не видел вот этого каждодневного созревания ребенка внутри материнского тела.

Теперь же находился на расстоянии двух дыханий от ее живота...

Запомнился вечер: прямо на линии горизонта выкатилась круглым желтоватым шариком маленькая луна, небо было цвета горечавки — глухо-синее; по степи, за двором, небрежно и редко были разбросаны желтые чашечки тюльпанов; воздух, насыщенный запахом полыни, слегка горчил.

Жанат стояла так, что ее силуэт с большим, чуть опустившимся, уже готовым к родам животом и напряженной вогнутой спиной, которую она придерживала руками, четко обрисовался на этом фоне.

И этот тревожный силуэт женщины в ожидании родов как-то заместил в сердце Санжара ту, прежнюю девушку из ручья.

Он неслышно подошел и стал рядом... вечер застыл, даже цикады приоткрылись.

Жанат взяла его руку и положила себе на живот: он ощутил под своей ладонью упругость и натянутость ее живота, так что стало не по себе, и вдруг откуда-то из глубины, его что-то толкнуло в ладонь, раз и другой, он почувствовал, как из живота выперло что-то маленькое и твердое, и оно толкается в его ладонь...

Лицо Санжара, видимо, выразило такой испуг и изумление, что Жанат рассмеялась:

— Его пятка.

— Чья?! — почему-то шепотом спросил Санжар.

— Скоро увидишь...

Теперь он находился на расстоянии одного дыхания от ее живота... который она доверила ему потрогать. Впервые так открыто, «по ее доверию», он к ней прикоснулся, но это прикосновение не вызвало у него

того прошлого, неистового желания, а только тихую мягкую нежность и печаль... которая затопила степь до самого горизонта.

Это было за два дня до рождения Баглана...

Это был сложный вопрос, — отношения с племянником-сыном.

В основе их лежала любовь, она их скрепляла и одновременно разъединяла — как это постигнуть, старик не знал.

Вначале была жалость: он помнил подушками пальцев гладкость и твердость младенческих десен, когда скармливал в беззубый рот «жевку» из хлеба и козьего молока — младенец был более беспомощен, чем только что народившийся ягненок.

Старик за всю жизнь принял сотни окотов, в его руки выпадали осклизлые, в крови и слизи матери-овцы детеныши, и он их обтирал пучком травы и тут же пристраивал к материнскому сосцу, а потом ставил на дрожащие ножки.

А на второй день ягненок уже сам лез под мать, и уже твердо держался на ногах... На второй день...

Поэтому и называли мальчика — Баглан, то есть ягненок, чтобы так же быстро стал на свои ножки.

Но Баглан только через полгода стал ползать, а встал совсем поздно. Рахит.

Сейчас, глядя на парня, и не подумаешь, что когда-то такое было, разве что коленки повернуты друг к дружке — между икрами баран пролезет, но это скорее признак родовой — указывает, что его предки, степняки-кочевники, поколениями жили и умирали в седле.

Прежде чем выйти на разговор с Нурланбеком, старик хотел поделиться с тем, как, на каком этапе, Баглан стал отваливаться от родовой жизни. И сколько в этом вины его собственной, а сколько — Нурланбека.

Он с рождения приучал Баглана к будущей жизни в степи, к трудному и тяжелому укладу этой жизни, но и к ее ежедневной красоте и смыслу.

Он видел, как молодежь покидает степь: не хочет пасти овец, жить на зимовьях, как манит и привлекает город, и соблазн города оказывается сильнее традиции.

А потом все чаще в степи стали появляться такие, как Нурланбек.

Они приезжали в степь с одной мыслью: чем бы поживиться, что бы еще у нее отнять, что продать, они рыскали алчными стаями по беспомощно раскинувшейся под ними земле... и жрали ее хуже саранчи...

«Время — деньги» — такая у них формула взялась. Откуда? Кто их надушил, что «время — деньги»? Как можно вечность перевести в деньги? Время — то, что соединяет твою жизнь с прошлым твоей семьи, ты — мостик от прошлого к будущему, по которому должны пройти твои дети. Вот что такое время: мостик вечности... Это ты сам и есть — время...

А они свои души превратили в кошельки для денег... и оттуда ушла вечность, ушло время...

Они говорят, что деньги им нужны ради их детей, что для детей стараются, но что будут их дети делать с бумажками, если умрет земля, об этом не думают, и о детях не думают, только о себе, чтобы самим хорошо пожить... врут все, замазывают глаза людям...

Баглан укорял, что он, старик, против цивилизации — нет, он не против, он только не хочет, чтобы цивилизация превратилась в убийцу степи.

Если что-то взял у земли, то потом отдай в три раза... тогда будет справедливо. А иначе — грабеж. И все они, такие, как Нурланбек — грабители, потому что привыкли только брать без отдачи... и его вина, Санжара, в том что он не уследил момент, когда его племянник, или его сын, примкнул к этой стае пожирателей степи. Он не называл их хищниками специально, потому что хищник — зверь, который берет столько, сколько надо для жизни и не больше, а потом отдает степи своими детьми, своим потомством... хищник справедлив и достоин уважения.

Поэтому у них с Нурланбеком сразу не пошло, а первая встреча едва не закончилась дракой.

Когда Баглан привез из города новых приятелей, и все сидели на дворе за дастарханом, выпили слегка уже, Нурланбек спрашивал старика о жизни, заинтересовался мумие, и Санжар, как дурак, рассказал про то, как в юности брали мумие в горах... Нурланбек подробничал: в каких местах, где эти горы находятся. Санжар простодушно рассказывал...

Потом ушли в другой разговор, и подвыпивший Нурланбек тогда расхвастался:

— Я — хозяин жизни, а не ее подмастерье! Жизнь надо оседлать и приручить, а не болтаться у нее под хвостом, не ждать, пока она обгадит всю голову или шарахнет тебя копытом в лоб.

То есть, по его мнению, такие, как Санжар, провели всю жизнь под хвостом жизни.

Санжар вскочил:

— Это я, по-твоему — обгаженный?!!

Баглан расхохотался, чуть не опрокинулся навзничь от смеха. Жанат как раз принесла тарелку с лепешками. И слышала и видела эту сцену. И закусила губу. Может, это было и смешно. Санжар был на голову ниже Нурланбека. И в два раза суше. Он так всю жизнь крутился-вертелся, что

ему некогда было нажать на бедрах жир. Он был как кусок конины, про-солоненной и провяленной на солнце, который надо пять часов варить в казане, чтобы разжевать. И вот теперь этот «кусок конины» стоял и кричал на Нурланбека.

Нурланбек тоже поднялся:

— Что это вам взбрело, уважаемый? Когда я такое про вас сказал?!

— Только что, все слышали, он назвал меня...! — он обратился даже не к сидящим, не к Жанат, а к степи — уж она-то поняла все правильно...

Нурланбек усмехнулся, он вовсе не хотел ссоры, и сказал примирительно:

— Совсем я вас не хотел обидеть, дорогой! У вас крепкое хозяйство, трактор, конь, отара, вон какого батыра вырастили, жена-красавица (он еще не знал, что Жанат не жена Санжара), — как я мог о вас такое подумать? Вас вся степь уважает! Предлагаю тост за такого уважаемого человека! Зачем нам ругаться? Голова барана смотрит прямо на меня, вашего гостя, — и приложил руку к сердцу.

Возразить было нечего, но все же Санжар остался уверен, что Нурланбек говорил именно про него. Да и остальные все поняли, только сделали вид.

И Баглан потом нет-нет, да и хмыкал... запомнил.

Зря он тогда рассказал о мумие Нурланбеку: конечно, и без него все известно, но хотя бы не по его рассказам, а так получилось, что он сам пособничал Нурлынке с мумие. Из-за своей глупой доверчивости к чужакам...

Через пару недель Нурланбек уже сколотил артель: на грузовиках приезжали работяги и вычищали подчистую горы; потом сырье вывозили в Караганду и там, в каких-то арендованных шарашках, выпаривали, расфасовывали по пластиковым пакетикам, торговали в ларьках, на базарах, с рук — и очень здорово на этом деле наварились. Баглану тоже перепало: купил мопед, джинсы и транзистор...

Что должен был сделать Санжар? Должен был сжечь все приобретения Баглана, но — не сжег, а и сам потом стал транзистор слушать, хоть и исподтишка...

Согласился с воровством... Так чего теперь?..

Конечно, они с Шашубаем и Агулбеком тоже брали у гор мумие. Но не производили «полное выскабливание»...

Так назвал этот промысел Нурланбек — «полное выскабливание», внес сюда мрачный и пошлый юмор.

Последние годы городские женщины, и даже это стало проникать в степь, увлеклись «полным выскабливанием» — вычищали зародышей

своих детей в больницах. Им помогали избавиться от детей врачи; все было красиво: в палатах с цветами врачи в белых халатах стерильно убрали из животом женщин — их детей.

Зачем научили женщин избавляться от детей? Разве в жизни казаха ребенок — не главное?

Некоторые женщины потом уже никогда не могли забеременеть, даже позднее раскаяние не могло помочь...

Зачем нужна такая женщина мужчине? В чем тогда ее предназначение, если ее живот будет навечно пуст и мертв? Как осуществить тогда с ней близость, если знать, что твое семя будет орошать солончак, на котором никогда ничего не произрастет?

Его «зверь любви» знал, сколько еще в лоне Жанат скрывается соков для будущих жизней, и поэтому тосковал с такой безысходностью и страстью...

И еще: у него все же есть шесть внуков, от тех двух дочек Жанат, которые ему, правда, скорее в сестрыгодились, чем в дочки (так все война смешала: и время, и возраст, и смыслы): они давно выпорхнули из родного гнезда, вышли замуж и рожали потомство, а когда семья собиралась вместе, то дом, и двор, и степь вокруг звенели ребячьим смехом и радостью...

Так что нет, никакой он не обгаженный... такими были те, кто прожил вхолостую... кто не держал в руках пятку своего сына... А он — держал ли он пятку своего сына? Да, держал, и она, еще до своего рождения, стучала в его ладонь, держал — пусть даже и пятку сына своего брата, и целовал попки внуков своего брата... все равно в них кровь его отца и матери, и дальних до седьмого колена, и еще глубже во времени — предков...

Санжар въехал в небольшой горный кряж, образованный кварцевыми породами. Копыта Каракала стали проскальзывать на обледенелой щебенке; заметно стемнело. В небе, за спиной Санжара, образовался разрыв, он слегка подкрадывался, как свежая рана. В этот разрыв, видимо, пытался пробиться закатный отсвет — запылала кварцевая вершинка.

Санжар, занятый своими думами, даже не заметил, когда утихомирился ветер и перестала сыпаться крупа. Горы уже наливались ночной густотой.

За этим кряжем открывалась дорога на Агадырь... совсем скоро он окажется в тепле, и Тельжан напоит его горячим жирным монгольским чаем: эту привычку тот заимел после армейской службы на границе с Джунгарией. Теперь всех друзей так поил — монгольским чаем; а когда-то монголы выжигали древние казахские города. А потом, с приходом Советов, часть скотоводов, не приняв новшеств на своих землях, откочевала вместе с аулами и стадами к монголам, на Угрю; и до сих пор ведут кочевую жизнь, как и века назад; люди ездили, знают: вот и пойми ходы истории.

Он вернулся к мыслям о семье, о Жанат.

Последний раз все вместе собирались два года назад, на празднике Наурыз.

В Казахстане в конце восьмидесятых вдруг стали возрождать национальное. Раньше «козлодрание» устраивали только показушные — для иностранцев или обкомовских, а теперь вроде люди стали самоосознавать себя «казахами», а некоторые вообще говорили, что им тесно жить в такой большой стране, к тому же русские захватили их недра и сырье — вон сколько развелось геологоразведок: рыщут по всему карагандинскому бассейну...

Такие разговоры все чаще вели, особенно молодежи.

«Пусть копаются у себя в Сибири, а землю Казахстана оставят для казахов».

Не все с этим были согласны, но некоторые задумывались: а правда, не лучше ли русским убраться к себе, и не хозяйничать на чужой земле, особенно со своими ракетами? Пусть бы прихватили свои ракеты и катились с Байконура... А то закрыли часть казахской земли вокруг Тюратама, и казахов же туда и не пускают... Русские живут здесь, не уважая казахов — называют «козлоглазые», «чучмеки-чуреки-чурки» и смеются... даже не хотят знать язык! — такие вот разговоры наполнили степь.

Насчет Байконура и Тюратама Санжар, пожалуй, и был согласен, особенно вспоминая друга Шашубая, а насчет остального — не очень.

Если ты — казах, сам это про себя знаешь, все твои про тебя знают то же самое, зачем это кому-то нужно доказывать? Да еще выгонять людей оттуда, где они родились: многие же русские из числа переселенцев родились в Казахстане. Это нехорошо — выгонять людей с земли, которая стала им родной. Простой человек не должен враждовать с простым человеком: это заканчивается кровью...

И что валишь вину на геологов? Работа их такая, он с ними встречался: веселые люди, щедрые, добродушные, вежливые, песни поют, девочки в штанах с рюкзаками, увлеченные, а Санжар уважал увлеченных своим делом людей...

Если бы не русские геологи, то, может, уже прошлым летом похоронил бы Жанат.

Жанат, конечно, была уже не молода, но сохранила плавную гибкость, со спины фигура казалась девичьей. Вот, пожалуй, только коса истончилась и проседела, из-под платка висел до поясицы тоненький жгутик, прихваченный тесемкой. Но, кроме гибкости, тело сохранило и здоровье, и силу. Никогда не жаловалась на недомогания; может и болело у нее что, но про это Жанат не сообщала.

Не то, что жена Шашубая — ту разнесло сразу после вторых родов, и она вечно охала: то у нее кости ломит, то голова чешется, то чирьями

пойдет. Это все от недержания в еде — ела слишком много, так, что «сахар поднялся». «Сахарная жена», — так шутил Шашубай; а что ему оставалось, как не перевести недуг жены в шутку.

Не такая была его Жанат, не такая. И все равно случилось.

Стал болеть живот, рвало.

Вначале прикладывала к животу теплый овечий помет, пила настойку полыни и жевала мумие — а делалось только хуже. Говорил: давай в больницу — но Жанат, упрямец, отказывалась. А на третий день болезни, молча, без стопа, упала прямо на дворе, под солнцем.

Санжар перенес обморочное тело на кровать, потрогал живот — он стал твердым, как земля, а сама Жанат была горячее и бредила. Из угла рта сочилась зеленоватая слюна, и дыхание стало зловонным.

Когда же взглянул в ее лицо — испугался сильно. Лицо будто провалилось внутрь себя, и стало как будто неживым, цвета костей животного, на которые натыкаешься в степи; по лицу пролегла нехорошая темная тень — будто это тень кого-то, караулившего ее жизнь...

Баглан был в городе. Санжар заметался по дому и двору, кинулся к трактору — потом вспомнил, что у того уже вторую неделю перебирает карбюратор сын Агулбека: когда чуть выпьет, приходит на двор и копается в раскуроченном железе.

На Каракале до Агадыря вдвоем не уедешь, да и Жанат так плохо выглядит, что не довести... Тогда взлетел в седло и помчался к Агулбеку, у того был «Запорожец».

Дом был пуст: Агулбек с сыном шлялись где-то в степи с отарой...

Попросил жену Агулбека пригласить пока за Жанат; та разохалась, подхватила... помчалась прямо по степи. Он видел, как часто-часто мелькают ее ноги, как развевается на бегу черный ситец платья, будто чумной флаг — знак беды.

Санжар растерялся. То ли догнать и подвезти жену Агулбека три километра до их становища, то ли самому куда-то лететь, но куда? В Агадырь, или в Караганду...

Вот когда пожалел, что не учитывал цивилизацию в полной мере: если бы жили в городе, имели телефон, сейчас бы набрал «03». А тут, среди степи, кто наберет «03»? Куда ни глянь — верблюжья колючка, ковыль да перекати-поле...

В этот момент, глядя на удалявшийся по степи «чумной флаг» — осознал, что его Жанат умирает, что может сейчас, сию секунду, отлетает с ее нежных губ последнее дыхание жизни, что тот, кто навис над ее лицом, впивает этот глоток жизни в себя. Лишает Жанат дыхания...

Отчаянно, до хруста, втопив пятки в ребра Каракала, погнал, не разбирая пути... На счастье выскочило воспоминание, что два дня назад про-

езжал мимо палаток геологов. Начальник был ему знаком: ленинградцы, из Агадырской экспедиции геологоразведочного института. На полном скаку развернул коня и уже с целью, наметом, погнал к урочищу...

За два дня много может случиться: геологи не сидят на одном месте — могли поменять стоянку километров на тридцать-сорок в любую сторону — пока их разыщешь в степи...

Геологи долго не рассуждали: шофер, которого начальник отряда поименовал «Николаич», только сказал: «Сидеть на ж**е ровно, сейчас впиндюлим по самые гланды», — прилепнул к голове плоскую кепку, загнал в угол рта беломорину, и «Зил» рванул.

Старик сидел между водителем и начальником, и видел, как лихо перекрученные жилами, черно-красные от загара руки водителя управляют с баранкой; на тыльной ладони правой было вытатуировано синее солнце...

«Зил» мчался, окутанный клубами пыли, и то взрывывал, то надсадно урчал, то пробуксовывал в песках, но упрямо двигался вперед... брезент кузова хлопал, как крылья птицы на взлете. Это была проверенная степная машина — не боялась ни бездорожья, ни барханных заносов, ни пекла, такая же была, как и геологи: рисковая...

Потом погрузили в кузов беспмятную Жанат, завернув ее в одеяло, и Санжар перебрался в кузов...

В Агадырь приехали уже ночью: пронеслись, поливая желтым светом фар черный асфальт центральной улицы до железнодорожной больницы, под яростный многоголосый брех потревоженных псов.

Доктор мельком глянул в лицо Жанат, ткнул пальцами ее каменный живот — и тут же стал орать матом, выматерил всех: и начальника, и шофера Николаича, и Жанат, и старика.

— Что вы мне (....) полутруп привезли (...) волокни через всю степь труп (...)! Нате вам, Рахмет Тагирович, (...) лечите! Кого лечите? (...) Что лечите?! Сами бабу сгноили, а Рахмет Тагирович теперь ковыряйся..! Медицина еще трупы не научилась лечить!!! Умрет твоя апайка, старик, ммм, — аж замычал от злости, — что за дикость, аппендицит овечьим дерьмом лечить, вот и прорвался... кишки у твоей жены залиты гноем. Понял, старый дурак?! Двадцатый век называется, тьфу!..

И ушел оперировать Жанат. Шесть часов.

Шесть часов, пока не вернулся доктор, Санжар просидел на скамейке перед входом в приемный покой.

Санжар будто окаменел, стал такой же твердый, как живот Жанат.

Он не заметил, как перед отъездом начальник-геолог, его звали Алексей, наливал из-под колонки во дворе воду в пластиковую бутылку; смут-

но, только этот звук: металлическое клацанье рычажка при подъеме-спуске, и потом еще шумное взбулькивание воды, когда она набиралась в бутылку, а потом, когда Николаич управлял рычагом, все с тем же лязгом, а начальник обмыл себе лицо и шею и пофыркивал — вот эти звуки и отлежались в памяти. И много позже, когда он пытался вспомнить, как сидел на скамейке в ожидании результатов операции, только лязганье колонки да шумные всхлипы воды и остались в голове... И еще запах: приторно пахла перепревшая желтая акация, смешиваясь с жирным громким запахом железной дороги: угля, мазута...

А начальник геологов, Алексей, бутылку с водой поставил возле старика, и еще пакет с бутербродами положил молча рядом. Шофер Николаич добавил полпачки беломора — не знал, курит старик или нет, так оставил, на всякий случай... и как они отъехали, Санжар не запомнил...

Может ли человек шесть часов просидеть без одной мысли в голове — раньше Санжар не знал, но после той ночи узнал, что может: он, Санжар, смог.

«Ты уже вошел в краеведение нашего района, — так любил похвалить Тельжана Шашубай, — умрешь, а название так и останется — «переезд директора», и все будут рассказывать друг другу про Тельжана, который был «директором переезда». Понимаешь, никто больше не сможет стать «директором переезда»! Назначат смотрителя, или стрелочника, а ты свое название заслужил работой — это тебе вместо государственной премии — признание народа... Видишь, как история края делается, из судеб простых людей, таких, как ты»...

Санжару очень не доставало острот и озорства своего друга. Он пощупал челюсть Шашубая у себя за пазухой — может, она ему поможет в разговоре с Нурланбеком.

Сам он не был таким: слишком много думает, слишком много рассуждает, сомневается, когда надо принять решение...

Да уж, Шашубай нашелся бы что сказать при встрече, подсмешил бы встречу, а Санжар только крепко обнял Тельжана.

— Ну, как вы тут?

— Да что нам делается? Работаю, пока не выгнали. Как Жанат, совсем поправилась?

— Поправилась, — коротко ответил, без подробностей. — Одеяло есть? Дай.

— А что такое?

— Да вот, Каракал совсем мокрый, вспотел, нехороший пот — раньше пять раз по столько мог пройти, и даже жилой не дрогнуть, а тут — еле сорок километров дотащился. Зря я его мотаю... накрою одеялом,

еще заболит. Я тоже уже старый, как мой конь, только не замечаю, — хмыкнул.

— Да брось, ты бодрый совсем...

— Говори, говори... все равно приятно...

Когда пили чай, уже перешли на серьезное обсуждение.

— Ну, не знаю, как ты справишься с Нурланбеком, он весь район держит...

— Что ж, я Баглана ему подарить должен? Даже не отговаривай!

— Да я не отговариваю... ох-хо... бедному человеку справедливость не по карману, очень дорого стоит. Куда ни ткнешься — везде: «встань в очередь, подожди... ваш вопрос решается...» — никто тебя не услышит...

— Что же: терпеть, молчать? Я терпел, молчал...

— Про Нурланбека слух есть, что пантами через границу торгует, опасно, — даже понизил голос Тельжан.

— В том и дело! Зачем, думаешь, он денег дал Баглану на мотоцикл? Ишь — добрый какой! Будут кольцевую охоту устраивать на сайгу... Утянет на дно парня легкими деньгами. Вымажет всего в крови — не отмоется потом...

— Да, вот недавно заезжал Тулеген из их компании, жирный такой стал, с ряхи сало капает, так он в день по пятнадцать рагулей укладывает на землю... Сто рублей заработает, пропьет, и опять в степь... Аллах глаза прикрыл, людей не видит. Ох-хо... говорит, всегда на бутылку водки и казан плова ему сайга даст, а охотинспекция с ними в доле, а кто против, и пикнуть боится... на сарыарке нашли в мотоциклетке двух — с пулями в голове; кто, что? Говорят, сами себя постреляли. А я так думаю, нарвались на браконьеров с пантами, и не договорились... ну и что ты скажешь Нурланбеку? Государство совсем силу потеряло, всяк сам себе закон и порядок устанавливает... мафия называется.

— Н-да... раньше такого слова и не слышал. Дела у вас тут... Говорят — перестройка... ты хоть знаешь про такое, что это такое — перестройка? Целиком государство будут менять, что ли?

— Да кто их знает — не поймешь! У нас, я думаю, порядка никогда не будет: каждый себя министром считает. А министры думают, что они — боги, а бога выгнали... а бог решил: раз вы без меня справляетесь, то и справляйтесь дальше — я не вмешиваюсь. Поэтому все получается криво и вкось. Пора у бога прощения просить, и к себе обратно позвать, но гордыня мешает, не может человек себе признаться, что хуже бога... поменьше бы гордились да болтали... Говорят много, а про что, попробуй догадайся... наше дело маленькое, вот пойду семафор выставлю, скоро твой состав подойдет, — и, помолчав, добавил: — Я тебе вот еще что скажу... про справедливость... Тулеген мне десять килограммов мяса привез,

за просто так отдал — все равно, мол, или псы сожрут, или так сгниет, в степи. Я, думаешь, что сделал — Тулегена прогнал? В морду ему плюнул? Я мясо взял... в ледник положил, а часть отнес в геологоразведку за мостом, на «Китайскую стену» поменял. Геологи тоже знают, что мясо контрабандное, а поменяли, а если тебе Нурланбек мясо привезет, или Баглан, ты что его — закопаешь? Нет, тоже в казан бросишь. Похлебку варить. Так что все мы — пособники, чего там... на всех нас вина... живем с ней, обросли как кожей, и не замечаем...

Тяжелый получался разговор, безрадостный... не знал, что возразить Тельжану, и, чтобы немного развеять тему, спросил:

— Это за мостом чья геология?

— Ленинградская...

— Ты там такого не встречал начальника, Алексей зовут, и шофер у него — Николаич?

— Нет, а кто они тебе?

— Да вот, не поблагодарил за Жанат и Каракала. Нехорошо, на обратном пути заеду...

— Так то были прошлогодние, а этого года — наверное, другие... Да, да, пусть у тебя будет обратный путь... а то... не ехал бы ты к этим...

В жизни все получалось сложнее, чем в мечтах...

Тельжан совсем не одобрил этой его поездки к Нурланбеку, не поддержал его, хоть настойчиво и не отговаривал, но сильное сомнение высказал, и Санжар сухо сказал:

— Конь пусть у тебя побудет.

— Конечно, оставляй, присмотрю... — с излишней суетливостью обрадовался Тельжан: уже хотел, чтобы эта тема закрылась совсем. И даже сожалел, видимо, о своей необдуманной горячей откровенности.

Когда человек привыкает к своему укладу, то вовсе не стремится, чтобы посторонние, даже и близкие люди, чем-то его нарушили или сломали... зачем? Неприятностей и так хватает, куда еще?

Прощаясь, Санжар не удержался, «подшпынил» Тельжана:

— Видно, плохи ваши дела, если бывший комсомольский активист о боге беспокоился...

Челюсть Шашубая осталась довольна.

Место ему досталось в конце вагона, возле туалета. Оттуда густо несло мочой и табаком — все ходили курить в тамбур, без конца хлопая дверью...

Старый общий вагон дребезжал стеклами и подрагивал, в брюхе его что-то все время стучало и перекачивалось.

В его купе расположились буровики, человек восемь, бригада — ехали с Балхаша. Было видно, что с самого Балхаша и заседали.

— Ну что, отец, орнаментируем движение? Шоба, набубонь дяде!

Буровики — люди с «фасоном», рабочая элита. Санжар однажды видел, как буровики гуляют: один взял сто рублей, поджег и от них прикурил папиросу. Зачем это бессмысленное было делать? На сто рублей можно жить месяц, а то и два, мог бы отдать бедняге какому, но тогда форсу бы не получилось, а так — форс... Этот человек, что сжег сто рублей, как бы всем демонстрировал, что не ради денег корячился вахту: по двенадцать часов в сорок градусов жары и сорок градусов холода — а ради чего тогда? ради факта труда? ради остроты жизни? или ради того, чтобы сжечь сто рублей...

Поэтому, когда Шоба, огромный парень с младенчески ясным лицом и черными мазутными обводками глаз, метнул руку к бутылке, Санжар приглашение не принял, а попросился лечь на вторую полку...

«Ход коня в степи и ход поезда в степи — очень разные. Когда на Каракале поглощаешь копытами землю, то она вся через тебя проходит, каждый ее кусочек, каждая выемка, бархан, суслицья норка, все цепочки неведомых следов читаются в деталях: за ними — жизнь тех, кто только что, или сто лет назад, тут был. А поезд пожирает километры, не жуя, вместе со всем, что на них находится, не успевая осмыслить всех этих аулов, поселков, одиноких мазаров, горных кряжей», — так подумалось Санжару.

За окном вагона неслась ночь, вначале простроченная цепочками огней, пока не покинули предместьев Агадыря, а потом уже сплошная беззвучная тьма, за которой только угадывалась степь...

Где-то за этой стеной тьмы, через ее плотность в самой глубине расстояний, плавал теплый огонек его дома, там, внутри этого света жизни — была Жанат, а может, уже погасила лампу и спит, и только луна тихим шорохом падает на щеку или на ладонь спящей Жанат...

Девочка-женщина-старуха. Когда бок о бок прожил с человеком, лица старости не увидишь... видишь внутренним взглядом, изнутри души — это другой взгляд, он минует время.

Давно утихли страсти: и тоска тела сменилась тоской души...

Иногда она, эта тоска, утихала в повседневности забот, а сейчас, когда лежал на грязной голой полке, подтиснув под затылок свернутый и пропахший Каракалом и степью брезентовый плащ, под потолком, где колыхались сизые тени табачного дыма — «расходились» буровики, уже курили внутри: кто им скажет поперек, пьяным, — сейчас засосало сильно: тянуло, болело, маялось — застонал...

Лежал между полкой и потолком, в маленьком узком пространстве — как между досками гроба.

А вот когда и в самом деле окажется в гробу, не сможет помнить о Жанат, и тоска пройдет... тогда нет, лучше не умирать: без этой тоски для него нет ни жизни, ни смерти...

На сонный вокзал прибыли спозаранку. Утро еще держало в себе ночную прохладную зябкость.

Небо ровно, по всей своей высоте было сине-голубое, слегка, кое-где только, подмазано белым воздушным... будто прилипли к нему гагачьи перышки...

День обещал быть теплым, если не жарким — заморозок отступил, а может, тут, в Караганде, его и вовсе не было. На пустынном перроне толклись воробьи да шваркала метлой уборщица — звук царапающих асфальт прутьев разносился далеко...

Неприлично являться в дом недруга с рассветом.

Два часа просидел на привокзальной скамейке: подходил мент, проверил документы. Может, думал, за что зацепиться, внимательно оглядел — «прочитал» Санжара, повертел паспорт туда-сюда.

— Аккуратнее крути, а то печати вывалятся...

— Ты еще и шутник?

— Еще — что значит? А до этого кто был? Ты меня до этого «еще» — знал, что ли? Ты это «ты» из какого кармана достал? У меня морщин на лбу в пять раз больше, чем у тебя полосок на форменке!

— Не пойму, старик, чего задираешься? Припрется такой хабиб аульный, и уже начинается скандал... по пятнадцати суткам скучаешь?

— Что ты пугаешь? Уже сделай что-нибудь, хочешь — пятнадцать дней жизни заberi, хочешь — пятнадцать лет.

— Вот как вопрос поставил! — мент ухмыльнулся и вполне миролюбиво присел рядом.

— Вот на мне что одето, заметил? Фор-ма! И еще кобура, видишь... и свисток есть... Это все что означает? Означает, что я — человек власти, имею под собой закон.

— Под ж**ой у тебя закон, на нем сидишь?

— Трудный ты, дед. Почему нарываешься?

— Ты чего ко мне привязался? На мне власть оттачиваешь? Я что, украл-убил, драку затеял? Тычешь под нос пустой кобурой!

— Это пока — пустая, а когда надо, то и не пустая... — с некоторой угрозой в голосе произнес мент, и тут же добавил спокойно и даже участливо: — Да остыньте. Вижу: сидит человек, приехал, а не уходит — значит, податься некуда, а может — горе какое... а вы сразу на меня полезли! Если все будут власть задирать, куда мы зайдем, а?

Санжару стало неловко. Терялся он в городе. Все казалось враждебным... сам себя опустил перед человеком и его хорошими намерениями.

— Рано мне еще, хочу тут подождать...

— Сейчас кафе откроется, там чай, кофе можно купить, сосиски бывают... деньги-то есть?

— Спасибо вам, все есть...

Милиционер вернул паспорт:

— Ладно, пора мне, удачи в вашем деле, ата. По смене передам, чтобы не тревожили! — и, взяв под козырек, ушел, скрылся вглубь вокзала.

Вот так, возьмет человек и откроется тебе, и уже как будто не чужой... тут бы и самому открыться, поговорить, а нет — уже прошел мимо, идет дальше, по своей линии жизни... и даже имени не узнал этого человека.

«Вот, Шашубай, видишь, как твой друг вляпался по-дурачки... Если так со всеми вступать в разговоры, то до Нурланбека не доберешься в жизни. Помолчать лучше, мало ли, что у них в городе на такие случаи придумано... ладно, этот человек хороший, а что другие городские?»

Потом посетил кафе, зачем-то купил кофе вместо чая; кофе был очень сладким и пах то ли прогорклыми тряпками, то ли мышами, а скорее, и тем, и другим; а может, этот запах шел от кособокого плексиглазового стола на шатких алюминиевых ногах, или из захарканых углов вокзала; и булка-вензель, в которой увязли зубы, оказалась из сладкого волглого непропеченного теста. Невкусная у городских еда. Сахара, конечно, не жалеют: сахар есть, а вкуса — нет...

Потом ходил по городу, зашел в скорняжную мастерскую, на базар, в автолавку...

Странно было ходить долго пешком, иногда забывался и искал рукой недоуздок, а нога щупала подпругу... потом опоминался: нет ни недоузда, ни подпруги, а это всего лишь порожек лавки, пусто было между ног, сквозно — не сжимали лодыжки привычно бока Каракала.

Нужно было убить время. Пока Нурланбек не воротится домой после работы.

Целый день до вечера бродил по городу, иногда присаживался передохнуть на поребрике, иногда на скамейке.

Пеший, без Каракала, без Шашубая, без Жанат, — в городе больших сложных звуков и шумов и деятельных нападающих запахов — он казался себе меньше уховертки — та хоть при виде опасности юркнет в песок, втянет свое тело внутрь песка... или песок помогает ей, всасывает в себя уховертку, и только взгляд степного жителя, вглядывающийся и понимающий язык и почерк степи, может отметить легкую малозаметную лунку-вдавление, величиной с ноготь.

В городе он чувствовал себя, как Иов во чреве кита: город ему казался огромным мощным зверем, и в утробе этого зверя Санжар пробирается по его артериям и венам, по его кишкам и альвеолам... и запах большого могучего зверя вбирала в себя его ноздри...

Он ходил по городу и пытался его понять, пытался понять, почему для Баглана город оказался роднее степи. Хотел увидеть его глазами Баглана.

Вот, например, прошел по улице оркестр из мужчин — вначале три ряда с желтыми сверкающими трубами, следом еще несколько рядов: несли в руках аккордеоны. Хорошо, что просто шли — не играли, а то от такого еще шифер с крыш посрывает; а сразу за ними ехала женщина на управляемой электричеством тачке, где были доверху сложены радиаторы... Санжару это соединение женщины с радиаторами и оркестра показалось очень смешным — все-таки умеет город пошутить над человеком... Был бы Шашубай, непременно бы крикнул: «Чего не играете? Музыки не хватило? Пропили? Бедной женщине бы помогли своей игрой — быстрее бы свои радиаторы довезла...»

Или еще: возле какого-то сквера фанерные щиты, на которых наклеены газеты, чтобы люди новости читали. Санжар подошел ближе — названия все хорошие, рабочие, только газеты уже пожелтели и в «птичьих нашлапках» — птицы эти газеты чаще, видать, читают, чем жители. И чего висят, когда новости все эти уже обгажены.

Еще везде очереди: в одном месте сахар дают, в другом — масло, а в большом продмаге, куда поглядел сквозь красивую отливающую звонком витрину — полки совсем пустые... совсем...

День действительно выдался теплым: тем ленивым, уходящим уже, прощающимся теплом, которое обволакивает, не обжигая, от которого клонит в сон, а не в бег.

Он и задремал — сморило. На какой-то аллее, на скамейке, сверху на него нет-нет сыпались желтые листья. Вокруг сапог понизовый ветерок закруживал веретенами дорожную пыль, в навораченных ветром клубках пыли торчали сухие стручки акаций, фантики, окурки... все вплеталось...

Проснулся — и подскочил в ужасе, спросонок показалось, что — пожар: но это закат поджег улицу — дома и деревья, и пыль в воздухе...

Дом у Нурланбека был, как и сам Нурланбек — важный, широкозатый, стоял на толстом фундаменте уверенно. Из открытой двери, из-за отдуваемого ветром пузыря занавески — крики, хохот, трезвон...

— Какой гость, вот неожиданность! — уже навеселе, Нурланбек, раскорячась, двинулся к Санжару и даже попытается обнять.

Санжар не принял тона, сухо сказал:

— Разговор есть.

— Ну, какие разговоры на пороге, что вы, ага, пройдите в дом.

— Дело у меня.

— Э-э, что за дело? Дом сгорел, не дай бог? Никто не умер? Все живы? Остальное подождет. Не позорьте меня перед людьми, уважаемый. Что люди скажут: приехал человек, а Нурланбек даже за стол не позвал?

Трудно было противостоять напору Нурланбека, его грубой уверенности в себе; весь его вид, самодовольный, наглый, отрыгивающий сытостью жизни, вызывал одновременно отвращение и завораживал. Было что-то в этом человеке, какая-то изнутри шедшая сила, что подчиняла себе людей, он ими как бы и брезговал и в то же время приманивал к себе...

Так и Санжар, почувствовал, как ему трудно требовать разговора, когда его мягко, но настойчиво утягивало внутрь дома.

И он тут же с порога сказал главное, пока еще не растратил уверенности:

— Нурланбек, верни мне сына! — так мысленно всю дорогу называл Баглана, и тут, в волнении, именно так и сказал — сына!

Нурланбек усмехнулся, он понял, но ему хотелось покуражиться.

— О каком сыне толкуете? Я и не знал, что у вас, уважаемый, сын обьвился.

— Баглан мне как сын!

— Баглан? А я что, его забрал? Как я мог забрать? Он что — ишак или баран?

— Зачем денег дали?

— Деньги мои? Мои. Могу дать, могу не дать, могу съесть свои деньги, могу вот и вам одолжить, если надо... скажите, сколько надо? Когда к Нурланбеку с душой — он последнее отдаст, ради хорошего человека, а тут парень мотоцикл хотел, я помог, что плохого?

— Зачем к чужому приучать? Пусть сам заработает, тогда купит.

— Эээ... раз есть желание — пусть исполнится, а пока от жизни дождешься, и желание пропадет.

— Не хочу, чтобы сын в долгах перед чужими ходил! Или мотоцикл себе заберите, или деньги. Я верну долг!

— Второй раз меня обидели на пороге моего дома — чужим назвали! Но я терпение проявлю, понимаю вашу озабоченность, дорогой! Я Баглану помог с мотоциклом, он мне поможет в моих делах, что плохого?

— Мне дела ваши не нравятся, зачем Баглана к ним приучаете?

— Откуда вам про мои дела известно, чтобы их поносить?!

— Вся степь про них знает. От степи не скроешь! Поганые дела, вредные, можно загреметь! Я могу пойти куда надо — рассказать, как степь обираете, про сайгу, как бьете ее, как панты маньжурцам через границу возите!

Санжар думал припугнуть Нурланбека, но тот только расхохотался.

— Давай, расскажи прямо сейчас, пойдем, пойдем, расскажешь, заодно и кое-кого увидишь!

И толкнул Санжара внутрь дома.

В просторной белой мелом комнате, по стенам которой было развешено оружие и медные блюда, за длинным дастарханом, на курпаче (лег-

кие стеганные матрасы) сидели гости, человек десять; среди них Санжар сразу увидел Тулегена, про которого еще вчера рассказывал Тельжан, а рядом с ним — Баглана.

Старик оторопел: совсем не думал о встрече, более того, за весь день даже не приблизился к дому, где у дальней родственницы квартировал Баглан, не хотел этой встречи никак. И тем более — здесь, в этом месте...

Судя по развалам дымящегося в блюдах бараньего мяса, по кругам конской колбасы, кусок которой в этот момент драл зубами Тулеген, по живописным закускам, присыпанным зеленью, по пирамидам желтого светящегося наманганского риса, сдобренного индийским карри — хозяйство Нурланбека никак не затронули пустые полки в магазинах и очереди простых горожан у продовольственных лавок.

На лицо Баглана легла темная тень, как только он увидел старика. Скулы затвердели, рот затвердел. Глаза сузились в злом прищуре.

Нурланбек снисходительно похлопал Санжара по спине.

— Ну, вот начальник милиции, давай, ему скажи, он тебя выслушает.

Санжар увидел за столом, через два человека от Баглана, начальника в форме (и мимолетно удивился — даже форму не снял, совсем без стыда).

— Что такое? — поднял тот на Санжара вялые мутные глаза, в лице проступило недовольство: отдых и есть отдых, зачем нарушать?

Сильно «ударил» Нурланбек, неожиданно, почти свалил с ног. Все заодно! Какой он дурак, с кем вздумал тягаться?

Что-то черное, отчаянное стало подниматься со дна души, ничего уже перед собой не видел, кроме лица Баглана.

— Уйдем отсюда, сейчас! Поедем со мной! Уходим, давай! Быстро!

Баглан вскочил с матраса и закричал:

— Что ты ко мне привязался?! Сюда приперся, скандал затеваешь?! Ты — кто мне?! Отец?! Нет? Тогда не суйся в мою жизнь!..

Кажется, до глухой ночи прятался неподалеку от дома Нурланбека, как будто какая-то отчаянная безысходная сила завладела им; метался в клетке ребер смертельно раненый «зверь любви», выл-рыдал, истекал кровью, с каждой каплей теряя остатки жизни...

Его поезд из Караганды на Балхаш давно ушел, а он никак не мог решить своего дела.

Дальнейшее он уже потом вспоминал урывками. Как увидел, что вдоль дувала телепается, пошатываясь, Баглан, как крался за ним следом, как упал перед ним на колени, хватал за ноги, как Баглан пинал его в живот, отцеплял его пальцы от своих штанин и давил их каблуком, как кричал в бессильной злобе: «Отстань, отстань от меня, наконец! Жизнь мне съел! Ненавижу-у!» Как потом, потеряв себя, отупело, нескончаемо

брел по каким-то улицам, по спящему городу, сам не понимая своей дороги...

С ним опять случился приступ безмыслия... как тогда, на скамейке, возле больницы...

В свете высоких люминесцентных фонарей асфальты казались белыми, как солончаки, так же по ним бежали трещины, через асфальтовые «солончаки» пролегали угольные узоры кустарника и оград. Черноту неба распыляли белые костровища звезд, луна шла на убыль, бледная, ущербная, будто ночь отъела у нее половину щеки и не стремится выплунуть обратно...

Через какое-то время оказался возле каких-то хибар, в одной не спали, и из окошка тускло падал неверный красноватый клочок света, что-то там тоже происходило, из-за чего тревожился незнакомый человек внутри дома — не спалось ему. Потом чьи-то пальцы стали негромко ударять по струнам кобызы, хрипло-дробно, звук туда-сюда метался между двух струн, но чьи-то пальцы управляли им, не давая выбраться на свободу, набрать силу, звук тихонько взывал между струн, тосковал о ком-то, рвался к кому-то, маялся, постанывал: оу-у-м-м...

И старик тоже похватил этот звук: «оу-у-мм». Шел, и выстанывал сквозь губы, процеживал свой стон «оу-у-мм», — удаляясь от этого дома, от незнакомой кобызы, но цеплялся слухом за звук, который стал казаться видимым, будто ухватился за него рукой, чтобы не упасть... пока ночь не поглотила его остатки...

На вокзале очутился уже с рассветом, и опять по пустому перрону разлетался царапающий звук прутьев метлы...

Спал на скамейке, тот же вчерашний мент нашел: отвел в свою дежурку, отмыл руки от грязи, промазал ссадины йодом, поправил, отряхнул одежду.

За все время только спросил: «Кто вас обидел, ата, скажите?»

Но Санжар молчал, он будто разучился произносить слова. Даже не мог себе представить, что когда-нибудь откроет рот. Да и что говорить...

Мент вскипятил чайник, налил крепкой заварки в стакан с подстаканником, как в поездах, положил четыре куска сахара, тоже из дорожного поездного комплекта, и настоял, чтобы старик выпил.

И когда Санжар пил крепкий сладкий чай, вроде стал немногоправляться, чувствовать окружающее, и вдруг дрогнул, сунулся за пазуху, где лежала челюсть Шашубая, — но ее не было! Он вскочил, стал себя обхлопывать, протряс рубашку, вывернул, встряхнул плащ... уже понимая бесполезность своих поисков... наверное, челюсть Шашубая выпала из-за пазухи, когда валялся в ногах Баглана, теперь валяется в пыли неведомой

улицы — бесславный конец челюсти его друга; хотел было кинуться обратно в город, искать. Найти, но где, где ее найдешь? Утрата челюсти друга будто вконец что-то сломила в душе, и полились слезы, лицо было даже спокойным, не морщилось, но по нему, по щекам лились и лились слезы...

Удивительный человек оказался мент, он не кинулся утешать старика, вообще ничего не сказал. Отошел к окну, за которым виднелся кусок перрона, и только часто-часто курил сигареты. Одну за другой, приканчивал их в две затяжки. Наверное, недельный запас истратил. С табаком тоже были перебои.

А когда в дежурку сунулся напарник, резко махнул рукой — походи снаружи...

Потом усадил Санжара в поезд дальнего следования, который отходил днем и держал курс на Москву, в Агадыре останавливался на три минуты, и приказал проводнице высадить старика — проследить, чтобы тот не проехал станцию...

Часть вторая . Солончак

Старик, наконец, открыл глаза. Вот как. Его свалили вместе с некоторыми свадебными гостями в пристройку. Хорошо же вчера надрались!

Кряхтя, приподнялся, в голове пронесся гулкий звон, в затылок ударило так, что потемнело в глазах, на минуту пол помчался вверх, так что старику показалось, что все храпящие гости посыплются с матрасов, но пол довольно быстро вернулся на место.

Тогда старик осторожно поднялся, постоял в ожидании — не полез ли пол опять вверх, но тот оставался на прежнем месте. «Так-то!» — хмыкнул. Тело его затекло, особенно правая рука, видимо, отлежал ее — висела, как плеть, он ее стал разминать и испугался, вдруг так и останется, тряс ее, колотил по ней кулаком левой, кусал — пока наконец не забили острые иглы в кончиках пальцев, не побежали колющие ручейки по предплечью, а рука начала слушаться управления, повернул ладонь вверх — повернулась, сжал в кулак, с трудом — но пальцы сжались...

Огляделся — оказывается, это Тулеген дышал ему в спину, а сейчас лежал навзничь, раскрыв рот, по его загорелому потному лбу ползла крупная с зеленым отливом муха.

Вообще мух было множество: они бились с устойчивым глухим жужжанием в маленькие запыленные оконца, сновали под потолком вокруг лампочки, подвешенной на потолочный крюк; у выхода из пристройки растянулась старая клочкастая таза и дрыхла: бока ее тяжело вздымались... старик перешагнул через нее и вышел на двор. Резануло глаза от яркого, уже начинавшего набирать жар солнца.

Двор был безлюден, только один какой-то пил прямо из ведра Каракала: вода двумя потоками лилась мимо его рта и впитывалась в землю — но этот человек ничего не замечал. Кадык его ходил, как поршень, туда-сюда вдоль мощного горла. По синему костюму, хоть и мятому, было видно — городской. Из компании Нурланбека; кажется, вчера сидел за рулем одной из машин.

И тут старик вдруг замер, глядя на пьющего гостя, вспомнил, что вчера забыл отнести Каракалу ведро воды. Налил, да так и оставил среди двора. Теперь вот гость из него пьет.

Кинулся к загону, но коня там не было. Значит, сам отправился себе за водой... ну и правильно, раз хозяин такой дурак, забыл про своего коня, наверное, еще и обиделся... ладно, ладно — не сердись, когда я про тебя забывал? Все эта выпивка! И что вчера так разошелся? С чего?

Чувствуя вину за то, что не напоил Каракала в такую жару, и тот сам отправился к озерцу возле солончака, старик вышел за ворота: они с вечера так и остались распахнуты, жерди даже слегка присыпало песком.

Каракал не стал пить из ведра во дворе, а пошел на самостоятельный поиск воды, — как бы укорив старика, еще тот норы — хоть и состарился, и бельмо на глазу, а характер свой гордый не растерял с годами.

Что все же вчера случилось сильное? Чувствовал, что — случилось... но только потом об этом будет думать. Когда найдет коня; хоть и не слишком беспокоился — тот мог на самостоятельном выпасе и по два дня шастать. Потом возвращался, но если обижен — лучше уж найти...

До озерца, рукотворного водоема, который смастерили ученые-экологи, было километра полтора. Старик увидел метров через двести подсохший вензель и, учуяв запах мочи, который еще не развеял ветер, ухмыльнулся: «Умный, да? А следы оставляешь! Что я тебя в степи не вычислю по следам? Дурак-конь, я тебя знаю!»

Солнце уже встало в центре небесного купола и палило оттуда, ослепляло. Старик сам захотел пить. И чего поперся — о себе не позаботился. Но не возвращаться же, напиться с конем у источника. Кто у него остался, кроме Каракала... так что надо им держаться друг друга... уже до конца... Почему вдруг такая мысль, что значит «кто у него остался»? Нет, откуда взялась такая мысль? Какая-то неясная тревога заставила старика убыстричь шаг...

Тревога сочилась из вчерашнего дня, но начала ее он ухватить никак не мог.

Как быстро солнце забирает свое.

Еще недавно зелеными волнами ходили травы и серебрились дуги ковылей под ветром. Теперь трава сгорела под солнцем и залита песками. То там, то сям горбатятся острые ребра барханов, текут помаленьку под

рукой ветра, по каким-то своим направлениям и им одним известным миграционным путям-дорогам...

Небо распласталось, как задыхающийся в пекле зверь; лупит с него добела раскаленное солнце, припекло голову, плечи... жаркий душный воздух опалает легкие...

И чего Каракалу шастать по такой жаре, вернулся бы в дом, под навес, получил бы овса, и яблок, так и быть, — мелким белым наливом любил похрумкать его конь.

Но вот впереди остро, как лезвие, блеснуло — это рукотворный водоем, его специально устроили: где-то там внизу, в глубине, скапливалась вода, до этой, притаившейся в земле воды проткнули металлическую трубку, и через нее вода, потихоньку набираясь в подземном резервуаре, вытекала в обложенное камнями и вымазанное глиной ложе. Вокруг рос мелкий осот, песок был чуть влажен и весь испещрен следами, они хорошо читались: тонкие трехпалые — птички, сдвоенные — сайги и суетные скопом — овечьи и подковы его Каракала. Вот они, следы его подков, пролегли поверх других, уже подсохших.

Был здесь, значит, следы есть, а коня самого нет, только сочится из трубки потихоньку вода, да при приближении старика снялась с шумом крупная дрофа.

Старик забеспокоился сильнее, стал рассматривать след.

Куда мог двинуться дурной старый конь? Вдруг совсем ослеп, мало ли, и теперь заблудился где-то, не знает дорогу назад... не волки же его задрали... да что-то не слышно было волков давно, ушли за хребты, и возле трубки ни одного волчьего следа... Все следы мирные — птиц да копытных...

Старик вгляделся внимательно, потрогал рукой след, принял.

Следы указывали самое плохое направление — в солончак. Сдурел Каракал, чего его в солончак понесло... ой-бой...

Напившись из трубки чуть солоноватой, но прохладной воды, и ополоснув голову, старик поспешил в направлении следов своего коня...

Солончак этот образовался не сам по себе, раньше эти места были выпасными, пастбищными, вольно по ним ходили табуны и отары... потом стали их культивировать, засеивать клеверами, хлопковыми, орошали без меры и ума, мелиорация велась так-сяк: брали от земли все, что она могла дать, нарушили ее естественное дренирование, а когда земля истощилась, то помочь ей никто и не подумал, так бросили.

И на бывших пастбищах теперь гулял соленый ветер, носил разъедающую глаза соленую пыль, а земля пошла такыровой коркой, под которой скапливалась вязкая без дна грязь; стоит в такое место ступить — и начнешь вязнуть и погружаться: мертвое место — и люди и животные его стороной обходили... загубленная земля...

Вон куда понесло Каракала...

Весь следующий после бесславной поездки в Караганду год жизнь Санжара превратилась в сплошной солончак... иссушилась, растрескалась — мертвая жизнь...

Больше он не сидел с Багланом на скамейке под стеной дома, не вел споров, когда Баглан приезжал, отмалчивался. Не совсем молчал: про дорогу мог спросить, про здоровье, но без открытости, без интереса: «Как доехал, хорошо?» — «Хорошо». — «Ну, джакшы...»

Про ту ночную стычку они не говорили, как будто ее и не было, но она случилась и встала между ними...

Выпивать стал часто, тогда оживлялся, и «зверь любви» оживал, но теперь он был как ручной: кто погладит, к тому и приласкается, а потом, протрезвев, уезжал дня на три в степь — стыдно было, что так себя распускал...

И с мафией смирился. Гуляла мафия у него по двору как хотела... сваливала после охоты в сарае и на дворе целые туши сайги; визжала пила, отделяя рога от головы самца, безрогая горбоносая голова с мертвой печалью в больших остекленевших глазах — вечный укор живущим.

Командовал Баглан, за год он тоже заматерел и стал чем-то похож на Нурланбека — только пожиже.

Мяса было — завались...

Нагляделся за год на мертвые головы, на мертвые глаза сайги...

Когда был трезв — не ел ее мяса. А как напивался — ел.

А ведь предки называли сайгу божьей лошадкой. И грех было ее забивать массово, только опустившись никчемный человек такой сайгой питался. А тут вся округа жировала... все, что ли, никчемные стали?..

Особым шиком было — промчатся с гиком и клаксоня, на «Нивах» и «Уралах» по аулам, зимовкам, на ходу сбрасывая туши... благодетели, падлы...

И Баглан на своем мотоцикле также мчал с гиком по аулам и швырял туши к ногам казахов...

Охота — охоте рознь.

В прежние годы, в старину, тоже против сайги всякие хитрости устраивали, например, «загонный способ»: охотники делились надвое, первая группа — «резвачи» — на самых быстроногих скакунах гнала стадо, а вторая — из лучших «меткачей»-стрелков — сидела в засаде. Резвачи гнали стадо на меткачей, а те уже палили в летевшую на них сайгу.

Еще был способ — «с ружья». Когда в разгар безводного жара на стада нападали оводы, закусывали до изнеможения, уставшая одуревшая сайга зарывалась в песок, теряла соображение и нюх, такую сайгу брали, что называется, с шагового выстрела...

Но свежее сильное стадо «взять» в честном беговом соревновании невозможно, ни скакуны, ни быстроходные тазы не могли угнаться за этой степной стрелой, обгонявшей ветер...

Так, как вели охоту современные нурланбековы «нукеры» — было равно убийству младенцев. Так считал Санжар и тихо копил глухую ненависть и к мафии, и к Нурланбеку, и в иные дни — к Баглану.

Особую ненависть Санжара вызывали ночные охоты...

К «Нивам» прикручивали большие прожектора, по типу тех, что раньше использовали для освещения территории Карлагов. Один из нукеров загодя выезжал на машине в поисках стада, вставал неподалеку. Сайга к недвижимому предмету в степи быстро привыкала и не обращала внимания. А разведчик потом по радиосвязи передавал координаты. Основная часть «охоты» на колесах выезжала ночью. Сайга чувствует движение чужого за два километра и начинает волноваться, тогда разведчик врывается в центр стада, отделяя его часть, тут уже на подходе «колесные» врубают прожектора и ослепляют стадо, вгоняя его в ужас.

Затравленная белым смертельно неумолимым светом мечется сайга, пытается вырваться из светового потока, и тут ее настигают стрелки, некоторые даже и автоматами обзавелись. Начинается бойня, которая не щадит никого: ни самца, ни беременную самку, ни мать с теленком, — далеко по степи разносится беспорядочная пальба — степь затаивается в ужасе, слушая звуки бойни... Всполохи света, озаряющие горизонт, треск выстрелов, разрывающий ткань ночи — вначале пугали окрестные аулы: «война, что ли, началась?» — потом люди привыкли...

Привык ли и он, Санжар? Нет — не привык, затаился и омертвел душой, как земля, убитая солончаком.

Как-то Баглан, после того как отпилил рога у самца, во дворе, кинул его голову и еще подпнул в воздухе, как футбольный мяч, голова пролетела по дуге и шлепнулась прямо у ног Санжара, в этот момент вышедшего из дому. Санжар поднял голову самца и так взглянул на Баглана, что тот смутился и быстренько убрался под навес, и там засвистел... — мол, я крутой теперь, мне твое мнение — в одном месте...

Старик обтер рукавом голову самца, поцеловал в глаза, прошептал: «Прости...»

Потом взял лопату, вынес голову в степь и захоронил; с тех пор собирал головы сайги и хоронил их в степи. Каждую целовал и просил прощения... Больше ничего не мог сделать, разве что взять автомат и всех нукеров положить во главе с Нурланбеком, и своего сына — тоже.

Кровью пропах его сын, теперь его не обнимешь, не прижмешь к себе...

Вот потому, что закрадывалось такое желание — всех из автомата уложить, то когда напивался, особенно их жалел, и даже любил, как будто это уже дело решенное — и он их убьет рано или поздно...

Потому и целовался вчера на свадьбе с Нурланбеком, как бы уже снисходя, прощая ему его никчемную земную жизнь...

И к остальным стал присматриваться через мысль об их скорой смерти, и сына так же изучал — через его скорую гибель.

Да его ли это сын? Разве тот Баглан, который таскал на своих руках новорожденных ягнят, целовал их морды и плакал, если какой-то недокормыш не имел сил выжить, разве тот Баглан мог бы пнуть голову сайги?

Еще было одно обстоятельство, почему зарывал головы, — уж очень глаза сайги напоминали глаза Жанат. Нет в природе других таких прекрасных глаз, больших, наполненных мерцающей влагой, затаенных, с текущей изнутри вечностью. Только у сайги и Жанат.

Как же Баглан этого не видел и не понимал? А если бы видел и понимал — никогда бы у него рука на сайгу не поднялась...

А если все же видел, но пренебрег? Ведь стал груб с матерью, со всеми стал груб: думал, что именно так должен себя вести мужчина — покрикивать, да приказывать, а то люди не будут уважать.

Только сила человека не в крике, а в молчании...

Пыжился до Нурланбека дотянуться! Только Нурланбек свою власть брал изнутри, — характером, жестокой, но умной энергией; а Баглан расплескивал силы в крике, в мельтешении, в попытке доказать себя окружающим.

«Зверь любви» затаился и готовился к прыжку...

И вдруг будто ледяная рука сжала его сердце, подержала в кулаке и отпустила: он вспомнил... то есть, он помнил это с самого момента пробуждения, но отгонял от себя. Делал вид, что не помнил, но теперь, когда шел по следам коня, стыдно показалось от себя прятаться...

Именно после той фразы по приезде Нурланбека: «Отца встречаешь?», — когда лицо Жанат побелело, тогда все произошло...

Тогда Жанат его позвала в свою комнату и впервые прямо сказала:

— Оставь его в покое, не твой сын! Не было у нас с тобой ничего!

— А чей? Только сказочка про брата не пройдет!

— Не могу сказать, не твой, и все!

— Что ж раньше молчала?

— Молчала. Не мучь нас и себя, не мучь больше...

— Может, Нурланбека? Ха-ха! Он в пятьдесят седьмом году был десяти лет от роду, от пацаненка родила, что ли? От кого? От волка, от барана, от друга моего Шашубая? От кого?! Говори!!!

— Нет, нет, нет, — в лице Жанат не было ни кровинки, она закрылась ладонью, ожидая удара, но он не ударил. Ушел от ее ладони, которую она выставила — защищаясь. Как могла себе вообразить, что он мог ее ударить? Ушел, распиная по пути подушки и подносы для праздничного стола... и потом уже пил за общим застольем смертно, до полного забвения этого разговора...

Вот, тридцать лет носила обман под сердцем, и «родила» в день свадьбы своего сына, закрыв навсегда Санжару дорогу к сердцу ее сына, вот как! Загородила собой своего сына — от кого? От того, кто его любил, как зверь свое дитя, с того толчка пятки в свою ладонь... зачем тогда давала трогать свой живот, зачем? Да, никого у него теперь нет, кроме Каракала... до самых последних дней... а Каракал покинул его, поперся в солончак...

Степь делит с человеком его одиночество... его горе... его надежду... степь тоже одинока своими просторами, своей сухью, песком... люби степь, чувствуй ее, и будешь с ней заодно, дыши с ней одним дыханием, тогда ничего не страшно... люби эту землю... В степи небо и земля равны друг другу, отражают друг друга, а между ними — жизнь...

Степь дарит сайге свой простор, свою свободу: мчится, поглощая сотни километров, песчаная стрела, за ней вихрится пыль, тугой дробный гул разносится на высоте ковыля... мчит горбоносая сайга, перемалывает тонкими стремительными ногами песок, траву, воздух, вечность... добрый путь... оттолкнись от земли, лети, божественная лошадь, к жизни... пусть перед тобой отступит горизонт...

Вот и первые признаки солончака: земля стала гладкой, потвердела, просолена белыми искристыми прожилками из мелкой кристаллической пыли, которая ловит своими гранями солнце и отражает ослепительным блеском — но это только преддверие солончака.

Еще там-сям торчат сухие кустики травы, отдельные пряди побуревшего ковыля и жесткие иглы верблюжьей колючки, а уже дальше — такыр: будто кто треснул кулаком по земле с такой злобной силой, что вся она разломилась на черепки, и вся поверхность солончака — это треснувшая развалившаяся на черепки земная корка... вдоль этой корки текут потоки жаркого воздуха, они даже видимы — эти переливчатые волны жара...

Старик увидел, вначале не понял... что он видит: это было что-то похожее на полконя — будто какое-то диковинное животное, из одного туловища с подобием головы. Стояло туловище, вокруг которого расплеснулась коричневая жижа...

И только подойдя на расстояние близкого взгляда — обомлел: в облепленном грязью, которая высохла под солнцем и покрывала почти сплошной коркой голову, уши, гриву и жестким глиняным панцирем об-

хватило туловище, — жутком чудище он с ужасом узнал своего Каракала!

Забрел в ту самую гибельную часть солончака, где, прикрытые белыми сверкающими черепками, скрывались бездонные глиняные ямы, — они потихоньку делали свою работу, постепенно заглатывая жертву; глупый конь провалился, и солончак его всасывал потихоньку, не торопясь, внутрь земли — а куда ему, солончаку, торопиться — он свою жертву дождался!

Видимо, Каракал уже давно потерял надежду выбраться, потому что не подавал никаких признаков жизни — торчал глиняным идиолом посреди черепков. Глаза его были намертво заедены и покрыты слепнями.

— Ой-бой! Да что же это?!! — вскричал старик и кинулся было к коню, но тут же и замер на месте, — вот старый дурак! едва не погубил себя и Каракала! Если вот так, слету, прыгнуть к лошади — сам провалишься, и кто тогда спасет? Кому в голову придет искать их в солончаке? Да и хватятся не скоро. Свадьба, небось, уже проснулась и опять гуляет!

«Ах, степь, степь! Отомстила человеку за надругательство, отняла у него коня, только я, что ли, тебя поганил, я — разве?!! Не того наказала, чтоб тебя! Нет, прости, прости, не сердись, помоги мне, никого у меня, кроме этой старой клячи, нет: я, да он!» — не помня себя от горя, причитал старик... и беспомощно оглядывался вокруг... но ни палки, ни дерева, ни куста не было видно — сплошной гладкий блеск до самого горизонта...

— Эй! Каракал! Это я — Санжар, слышишь меня? Скажи, что слышишь — не мертвый же ты? Ну, скажи!

Что-то подобное стону, а не ржанию, издал конь — видно, совсем ослабел, и ребра сдавило глиняным панцирем так, что не вздохнуть.

— Ах, ты, ах, ты, жив, — обрадовался старик. — Каракалушка, — впервые так назвал своего коня, — я вернусь, не думай, терпи, терпи. Я вернусь за тобой! Знай!! — и припустил к дому.

Надо было торопиться: пока доберется, пока снарядится народ, да еще пьяный — часа два уйдет...

Старик бежал по степи, не чувствуя ни усталости ног, ни жары, ни жажды; несколько раз падал, земля прямо набегала на лицо, хотела его притянуть к себе, успокоить, но он поднимался и опять пускался в бег. Сердце так колотилось, будто совсем сорвалось со своих жил, в глазах пузырился кровавый закат...

Свадьба уже была на ходу...

Возле праздничных шатров, которые расставили в степи, за домом, толпилась молодежь: там рассыпалась дробью домра, слышался девичий смех и крики — наверное, развлекали молодую жену, Сауле. По двору

снова женщины — носили угощенья; старшие гости, видимо, сидели внутри дома.

Возле мангала управлялся с шашлыком Агулбек: из огромного медного таза он доставал маринованные куски мяса, нанизывал их на шампуры и укладывал над угольями, делал это так ловко, что можно было залюбоваться — он и сам собой любовался.

Острый, сдобренный уксусом дым разносило по двору, так что надышавшийся им круглый, на толстых лапах щенок волкодава зачихал, зафыркал, вертя головой, стал тереть морду лапами. Агулбек засмеялся и шлепнул перед носом щенка кусок мяса.

Увидев Санжара, крикнул:

— Куда пропал с утра?

— Беда случилась, бросай шашлык-машлык! Трактор нужен!

— Что за беда?

— Каракал провалился в солончак!

— Ох, ты ж... только... — и замялся.

— Что? Что? Говори давай! Чего замер?

— Ты же знаешь моего сына, — смутился Агулбек.

— Что я знаю?!!

— Сказал, топливопровод менять надо, подтекает!

— И что?

— Меняет. Пятый день...

— Это мозги у него подтекают! Их бы лучше поменял! — Санжар махнул рукой и быстрым шагом пошел к дому.

— Ты все же полегче! — в спину крикнул Агулбек; тут запахло горелым, и Агулбек заметался, не зная, то ли кинуться вслед за Санжаром, то ли шашлык переворачивать. Он подхватил горелое мясо. — Вот, б..., — и швырнул его на землю. И так и остался стоять, поглаживая затылок.

— Не вовремя твой конь провалился, эх, не ко времени, — понимая всю сложность ситуации и жалея Санжара, вздыхал Агулбек.

В это время из дома вышли Нурланбек с Багланом. Нурланбек обнимал парня за плечи и продолжал речь, которую начал еще внутри дома.

— Правильно, у женской юбки сидеть нельзя, жена с первого дня должна знать свое место. Твое место среди мужчин, ее — среди женщин и детей. Тряпки-мяпки, готовка...

Санжар прямо натолкнулся на них.

— О! Салям, дорогой! Куда спешите? На свадьбу племянника? Как раз вовремя, чтобы старший дал младшему наставление!

Впервые, как родному, обрадовался старик Нурланбеку.

— Хорошо, что я вас вместе застал! Надо людей поднять, на ваших машинах!

— Что-то случилось?
 — Каракал провалился! Конь мой! Каракал! Забрел в солончак!
 — Да... дела...
 — Торопиться надо, времени совсем нет, умрет конь, мой Каракал!
 — Вы успокойте нервы, тут ведь как... надо разумно подойти...

Баглан стоял, мялся, избегал взглянуть на старика.

Нурланбек между тем продолжал увещевание:

— Конь ваш свое пожил, — все мы смертны, и у каждого настает свой час... разве мы можем побороть время своего часа? Нет. А вы все хотите его побороть. Вспомните, что сегодня такой день у вашего племянника, свадьба, зачем портить такой день? Пойдемте в дом, успокойтесь, выпьем за вашего коня!

— Выпить?! Когда Каракал сдыхает от жажды? Мне потом как жить?! — И уже к Баглану: — Ты, ты тоже — против?

По-прежнему не глядя на старика, но в то же время чувствуя, что происходит нехорошее, Баглан процедил:

— Я давно говорил... давно бы решили дело... а так, что ж теперь...

Молча старик прошел мимо них в дом и вышел спустя минуту с ружьем — сухо клацнул затвор.

Женский крик пронзил воздух. И замер. Уже отошедшие к выходу со двора Нурланбек и Баглан повернулись.

Во дворе наступила тягостная тишина.

Старик стоял, как следует, опершись ногами о землю, лицо его было спокойно. Глаза были пусты, такая же пустота заполнила все внутри, и даже в голове появилась какая-то небывалая легкость.

Он направил дуло прямо в грудь Баглана. Он смотрел сквозь дуло, сквозь смерть, которая была — вот она, в пяти шагах, приплясывала на груди Баглана.

— Заводи машину, Нурланбек. Возьми в загоне веревки... давай, действуй...

Нурланбек осторожно, будто воздух был стеклянным и он боялся его разбить, двинулся в сторону загона.

Баглан, как замороженный, смотрел, не мигая, прямо в дуло — оно казалось огромным, и два черных зловещих зрачка, которые в него уперлись, тоже казались огромными, заслонившими от него все небо и всю землю и всю будущую жизнь; он ждал мгновения, когда вылетит смерть, она пока прячется там, внутри, но уже готова... вот сейчас, сейчас...

Старик скользнул взглядом по загорелому, а сейчас зажелтевшему лицу Баглана и уперся взглядом в его грудь в разьеме белой свадебной рубашки, в тот смуглый голый и незащищенный кусок его груди, за которым притаился ужас.

А ведь это Багланово ружье, вот смех, то самое, из которого он палил без разбора в сайгу, а теперь сам превратился в сайгачонка, — вон как трясутся ноги. И старик засмеялся коротко и страшно.

Но тут что-то мелькнуло из дома, пронеслось стремительно. Жанат.

Он совсем не думал о ней, не вспомнил.

Она встала между ружьем и Багланом.

Это мгновение казалось длинным, тихим, без конца.

Как они стояли, смотрели друг на друга. Он, Санжар, и Жанат. Он — тот мальчик, любивший девушку из ручья. А потом — женщину, родившую ему сына. И она — прожившая жизнь рядом с его «зверем любви», опаленная дыханием этого зверя, боявшаяся и любившая его...

— Неужели думаешь, я мог застрелить твоего сына? Что же ты обо мне знаешь? Я хотел спасти коня! — усмехнулся горько, безнадежно.

Санжар безвольно опустил дуло вниз, и ружье выпало из обессилевших пальцев. Не оборачиваясь, не глядя больше на Жанат, на Баглана, не глядя на молчавших, расступившихся перед ним людей, пошел со двора.

Кто поймет бесконечность степи... ее размеренно спокойное величие, ее задумчивость, ее терпение... если идешь, как дойти до конца степи? Где этот конец? Его нет... вот в чем дело — у степи нет конца... Для человека у степи нет конца: раньше жизнь кончится, чем — степь... Хотя сколько дней старайся приблизить к себе горизонт, — нет, он все время будет от тебя в трех днях пути...

Но старик вовсе не ищет конца степи, он и не думает приблизить к себе горизонт — он знает конец своего пути, этот путь закончится там, в солончаке, возле облепленного глиной Каракала... рядом с ним, и никак иначе...

Он уже не торопится, бредет себе, равняя свое дыхание с дыханием степного ветра.

День тихо клонится к закату. Заливая солончак огненной, но остывающей лавой...

Текут задумчиво барханы, глядят вслед маленькой тщедушной фигурке, что упрямо карабкается по залитым закатным солнцем черепкам... идет умереть рядом со своим конем, Каракалом.

Не знал Санжар о Жанат.

Она нашла своего сына Баглана в шатре молодых. Баглан лежал на коленях жены Сауле и смотрел в шелковый, нарядно присборенный потолок шатра, с которого свисала цветочная гирлянда.

Сауле нежно гладила его лицо.

— Все молчит, молчит, — с грустным вздохом сказала она Жанат, теперь своей свекрови.

Жанат подошла. Стала возле Баглана.

— Не время разлеживаться. Выслушай меня, сын. Когда муж мой, Бауржан, уходил на фронт, то сказал при прощанье: роди мне сына, дай слово, если не вернусь, мне сына родишь. И я слово сдержала: родила сына Бауржану. Но отец твой — тот, кто жизнь твою в мое чрево вдохнул, кто тебя вырастил — Санжар. Простишь меня, если сможешь, а Санжар не простит. Найди своего отца! Сердце слышит беду...

Мчатся по ночной степи «Нивы», взбивая черные пески, разрывая тьму прожекторами...

— Пойми этих женщин... пойми человека... из-за старой клячи такой шухер-махер разыграть, — бормотал Нурланбек, круто забирая рулем то вправо, то влево.

Сильно тряхануло.

— Вся закуска сейчас на ветровое стекло вылетит, а? — пытался он расшевелить Баглана, но тот отмалчивался и только смотрел вперед на высвечиваемую прожекторами и обрубленную темнотой ночи — степь; такая шла сильная схватка между мятущимся лучом прожектора и ночью — кто кого... шла схватка между жизнью и смертью — кто кого... там, в ночи, был его отец.

Упрямый, не сломленный, гордый отец ушел в свою последнюю схватку один, без сына... но он — сын — догонит отца, встанет рядом, если надо... Они, наконец, найдут друг друга, — разве сын с отцом не найдут друг друга на грани жизни и смерти, на грани степи и горизонта...

Степь дарит сайге свой простор, свою свободу: мчится, поглощая сотни километров, песчаная стрела, за ней вихрится пыль, тугой дробный гул разносится на высоте ковыля... мчит горбоносая сайга, перемалывает тонкими стремительными ногами песок, траву, воздух, вечность... добрый путь... оттолкнись от земли, лети — божественная лошадь, к жизни... пусть перед тобой отступит горизонт...

11 июля 2015 года



Эрик Шмитке

Марсианские Лазни

Эрик Шмитке. Прозаик, поэт. Родился в 1957 году в Сибири. В 1965 году переехал в Целиноград, а в 1980 году — в Ленинград. В 80-е появились публикации в журналах, альманахах и сборниках. Стихи были переведены на китайский и японский языки. Затем на длительный период отошел от творчества, занявшись интересным и опасным «мужским» делом — бизнесом. Вернувшись в литературу, издал две книги прозы (2011, 2016).

für Elena

1.

— Может быть, вас довезти? — спросил Николай. — Такая погода... Я скажу парням.

Его неистребимый белорусский выговор произвольно вызвал в памяти образ сержанта Абловацкого: «Бяры трапку и намыляй, курва!»

Погорелов посмотрел на хозяина автосервиса — маленького, лысого, в костюме при галстук — и подумал, что если бы сержантский вопль тогда вырвался из уст вот этого Николая, то было бы просто смешно. И салабон Погорелов, возможно, посмеялся про себя и намылил-таки тряпку... «Если бы не Артур», — Погорелов тяжело вздохнул. Замаскировав вздох улыбкой, ответил как бы с иронией:

— Пешком пойду. Хоть посмотрю на город не из машины. Да и ногам тоже полезно вспомнить, как по земле ходить...

— Тогда до завтра? После семи машина готова будет, — Николай проводил его до самой двери. Тоже пошутил: — Дорогу-то найдете, пешком?

— Вспомню!

Вот так вот, сам не зная того, руководитель Центра информации и связи с общественностью Белозерской атомной станции Константин Федорович Погорелов сделал первый шаг по дороге, которая неожиданно привела его в Марианские Лазни.

Он вышел из автомастерской и довольно бодро зашагал напрямик через микрорайон, который на машине обычно объезжал. Был серый — не

поймешь, утро еще или уже вечер — день, ветреный и дождливый. Чума-зые автомобили рассекали мутные лужи с противным шипящим звуком. Прохожие суетливо спешили мимо него, низко опустив головы и не замечая никого вокруг себя.

И вдруг — пестрая вывеска в окне полуподвала. Лимонно-желтая. С коричневым колченогим жирафом на переднем плане. Почему его рассеянный взгляд остановился на этой вывеске? «Вот бы поехать, как все они ездят!» И слова «путевка» и «санаторий» мягко согрели его душу. Погорелов, чтобы не упустить настроение, тут же спустился в полуподвал.

Не успел он поздороваться, как неопределенного возраста женщина в ярко блондинистом парике выскочила навстречу ему из крутящегося дерматинового кресла и, улыбаясь керамической белозубой улыбкой, затараторила:

— Добро пожаловать! Отдохнуть решили?

Она не ждала ответа. Не переставая говорить, суетливыми жестами усадила его на стул против своего стола. Ее неестественно гладкое лицо было в густом загаре. И дряблая кожа в декольте джинсового платья с вышивкой — Погорелов автоматически сунул туда свой взгляд, когда она наклонилась над столом — была тоже в этом неприятном загаре. «Солярий», — понял Погорелов. А она продолжала с прежним напором профессиональной радости:

— Куда желаете поехать отдохнуть? Сейчас от нашей слякоти хорошо на тропические острова. Позагорать. Я сама только что с Доминиканы. Это фантастично! Там сейчас истинный рай! Или... можно и бюджетнее... В Таиланд, например. Что выберете? Мы за несколько дней все оформим. Для вас без очереди.

«А где тут у тебя очереди?» — про себя буркнул Погорелов. Он уже злился, что поддался внезапному порыву. Но вслух сказал:

— А побыстрее что-нибудь можно? Я хоть завтра готов уехать.

— Есть горящие путевки. Только... в не сезон. Вот в Чехию есть. Если вас устроит, за один день вам оформлю, можете послезавтра уже ехать. У вас шенгенская виза есть?

— Есть, — ответил Погорелов. — Только мне достопримечательности не нужны. Хочу отдохнуть, чтобы процедуры разные были...

— Так как раз у меня то, что вам надо! — обрадовалась она, точно выиграла в лотерею. — Марианские Лазни. Санаторий. Там любые процедуры для полной релаксации. Целебные воды. Тишина. Природа!

— Это где же такое место? Впервые слышу.

— Ну, Карловы Вары вы же точно знаете! Раньше они Карлсбад назывались. А рядом Мариенбад. По-нынешнему: Марианские Лазни.

Погорелов заинтересовался. Ему как-то сразу понравились эти самые

«Лазни». Раздражение как рукой сняло. «Забавно... куда там лазать надо, интересно?» — весело подумал Погорелов. Ему сразу представилось, как он по деревянной лестнице лезет в огромную ванну, заполненную какой-то невероятно ароматной, теплой и чуть маслянистой жидкостью. И как потом он медленно погружается в эту жидкость. И беззаботно растворяется...

Он отдал вконец раскармелившейся сирене свой заграничный паспорт. «Надо же — удачно вышло, что как раз сегодня, наконец-то, вспомнил, что он уже полгода на работе валяется!» Спросил, принимают ли они оплату карточкой. Терпеливо несколько раз заверил ее, что точно зайдет за путевкой и билетами завтра в шесть. И под присказку про какие-то трансферты быстро попрощался и ушел.

Наверху взглянул на часы. Улыбнулся: «Всего-то полчаса». Погорелов был доволен собой. Он вслух повторил мысль, которая сразу понравилась ему:

— Густав Ашенбах... А что? Ровесник.

2.

На следующий день Погорелов сам себе подписал отпуск на десять дней. Позвонил в автосервис. Доделал дела по работе. Кое-что прикупил по мелочам. И в шесть часов снова сидел на стуле напротив крашеной блондинки и терпеливо слушал. Она выдала ему толстую пачку бумаг и разноцветных бланков, обстоятельно объяснила, что и как со всем этим делать. Наконец, Погорелов с облегчением поставил последнюю подпись и ушел.

Он заранее предвкушал удовольствие оставшегося времени. Чувствовал душевный подъем. Точно нажав кнопку на некоем пульте, поставил на паузу здешнее время со всеми его делами и обстоятельствами. Непрерывный поток ежедневных забот и занятий застыл и отлип, остался снаружи.

Погорелов шел домой быстрыми шагами, не глядя по сторонам. Так не хотелось встретить кого-то, кто пусть хоть на пару минут снова мог бы его вернуть обратно. Ему надо было быстрее оказаться в своей квартире, закрыть за собой дверь... Мобильник он отключил еще, как только ушел с работы. А дома первым делом заказал такси на завтра и выдернул шнур телефона из розетки.

Он успел поужинать, даже выпил коньяку. И принялся было укладывать дорожную сумку. Ведь с утра уже предвкушал удовольствие от этого неспешного занятия. И тут раздался звонок в дверь.

«Окна светятся. Видно со двора», — Погорелов понял, что затаиться не удастся. И решительно двинулся в прихожую: «Отошью, кто бы там ни

был!». Он даже не стал смотреть в глазок — зло провернул ключ в замке и распахнул дверь. Перед ним стояла Дина. А он и забыл, что она уже должна была вернуться! Погорелов сразу успокоился.

Дина смотрела на него своими еврейскими глазами и, не отнимая пальца, продолжала звонить.

— Ты что, милиционер что ли? — рассмеялся он. — Только они так нагло звонят.

— Полиционер, — сурово произнесла она. — Пришла снять признательные показания.

Дина перестала звонить. Властной рукой отодвинула Погорелова в сторону и вошла в квартиру. Он взял у нее большой пакет и потащил на кухню. Дина была настоящим другом, так что Погорелов даже не подумал помочь ей раздеться. Только сказал:

— Проходи, чучело! И выключи свои жидовские фары.

Лучше бы, конечно, она не приходила сейчас. Он бы почитал какую-нибудь книжку. Лег бы спать пораньше. Перед сном еще бы сладко помечтал о том, как уже завтра он расслаблено станет наслаждаться курортной жизнью...

С Диной они были знакомы больше тридцати лет. С начала восьмидесятых. Она тогда была девочкой на побегушках в горкоме комсомола, а Погорелов корреспондентом городской газеты. Они легко переспали друг с другом после какого-то комсомольского мероприятия. И потом, не напрягая друг друга, занимались сексом — когда чаще, когда вообще по несколько лет не пересекаясь — между своими делами.

Погорелов был знаком со всеми ее четырьмя мужьями. Она цинично рассказывала про своих любовников, не скрывая, что использует их в корыстных целях. К своей карьере Дина относилась с большим азартом, нежели он. Погорелов называл это «твой еврейский карьеризм». Теперь Дина возглавляла городское отделение Пенсионного фонда. Постоянно ездила на какие-то семинары и потом рассказывала ему, с кем там переспала. Обязательно упоминая о возрасте партнера, который всегда оказывался моложе ее, как минимум, лет на десять. И добавляла: «Цени, старикашка! Тебя не бросаю»...

Дина начала говорить еще в прихожей:

— Я тебе звоню, звоню... волноваться уже стала, — потом притащилась за ним в кухню: — Давай распаковывай!.. Я тебе, как только вернулась, позвонила, а ты, «скотская свинья», мобильник выключил.

— Сама ты «свинская скотина», — ответил Погорелов, вынимая из пакета продукты и вино.

Она немного помогла ему. Но быстро ушла в комнату, прихватив с собой пару тарелок. И не вернулась, только говорить стала громче:

— Пришлось тебе на работу звонить. Там сказали, что ты в отпуске. И даже едешь вроде как куда-то...

«Врет, — привычно восхитился ею Погорелов. — И на работе я весь день был безвылазно, и про поездку там никому не сказал, только девкам звонил. Но откуда-то же она узнала!»

— Куда едешь-то, путешественник?

— В санаторий, — заявил Погорелов.

— Это серьезно, — Дина поджала губы. — Наливай. Потом я тебе все расскажу и объясню. Я же чувствовала, что сегодня ты во мне нуждаешься.

...И утром не выспавшийся Погорелов чувствовал себя усталым. Что-то ныло под левой лопаткой. «Снова этот остеохондроз, — подумал он. — Ничего... В санаторий еду все-таки».

3.

В полдень Погорелов вышел из дому. Дул все тот же холодный пронзительный ветер, что и накануне. Только вместо мелкого дождя сыпала уже колючая снежная крупа. Низкое небо ничуть не просветлело. Серые деревья трясли голыми ветками возле подъезда на газоне с мертвой травой.

Но Дина посреди ночи заставила Погорелова включить компьютер и посмотреть погоду в Чехии на ближайшие дни. Все сайты дружно обещали чуть ли не двадцать градусов тепла. Поэтому Погорелов надел в дорогу легкое пальто. Он сразу озяб. Однако такси приехало вовремя.

...Но и пальто Погорелову пришлось снять. Перед посадкой в салоне самолета объявили, что на земле восемнадцать градусов по Цельсию. И это оказалось правдой! Хотя уже начинался вечер. Он сразу заметил в толпе встречающих табличку «VEDI», которую держал перед собой породный мужчина с шикарными седыми усами. Погорелов подошел к нему, вежливо улыбнулся. Он почувствовал себя будто в невидимых заботливых руках. Начиналась вожденная курортная жизнь. И она с первых шагов пришлась ему по душе.

Усач заулыбался в ответ:

— Господин Погорелов? Я вас встречаю. Добро пожаловать!

Он говорил с заметным акцентом, по-чешски мягко выговаривая русские слова, но чисто, не коверкая их. Погорелов протянул ему ладонь для рукопожатия, сказал:

— Как тут тепло у вас.

Ему хотелось сразу избавиться от обязательно-вежливого обращения к себе, с каким обслуга говорит с клиентом. С продавцами или официантами его можно вытерпеть. Но с этим человеком предстояло ехать вдвоем



Анатолий Слепков. Иллюстрация к книге Алексея Леонова «Медовые кладовые», повесть «Сани-самоходы»

в машине еще больше двух часов. И, чтобы окончательно закрепить полуприятельский тон общения, спросил:

— У нас есть еще немного времени? Я успею покурить? Уже три часа не курил. В аэропорту теперь нельзя. В самолете тем более...

— Да. Это так, — ответил усач. — Я это хорошо понимаю... Я тоже сейчас с вами покурю.

— Тогда давайте знакомиться, — и Погорелов назвал ему свое имя.

— Йозеф, — ответил тот. И засмеялся. — Как Сталин.

Они выехали из Праги. Аккуратная дорога вела меж пологих холмов. Чем дальше ехали, тем более высокими становились холмы, гуще рос темный лес по их склонам. Быстро темнело. Только долго держался над лесом — справа — багровый закат на полнеба.

Йозеф занимал его разговорами. И Погорелов живо поддерживал их. Он хорошо умел быть нескучным со случайными людьми. Да и работа его в том и состояла, чтобы интересно рассказывать ни о чем.

Когда уже на подъезде к месту проезжали какую-то деревню, Йозеф показал ему крестьянское подворье — большие каменные строения под черепичными крышами:

— Здесь очень знаменитая старинная пивоварня. И есть такой специальный бассейн. Там можно купаться в пиве. От вашего санатория рядом совсем поехать...

— Обязательно поеду! — Погорелов рассмеялся. — В пиве я еще не купался... Только в молоке.

И он, привычно приврав, рассказал историю, которую слышал от Артура. Как тот еще в Н*** по ночам ездил к каким-то бабам на молокозавод, и все они голыми купались в чане с молоком.

— Чего только не было в молодости! — воскликнул Йозеф с лукавым прищуром, молодецки подкрутив кончиками пальцев свой ус.

— Да мы и сейчас не старики! — в тон ему воскликнул Погорелов, и они дружно рассмеялись.

— Ну, вот и ваши Лазни, — сказал ему водитель.

— Раз это Лазни, будем залезать...

Когда подъехали к отелю, было совсем уже темно, на улице горели фонари. Погорелов, еще когда в дороге останавливались на заправке выпить кофе, разменял купюру в пятьдесят евро. Сдачу ему дали чешскими кронами. И он, заранее подсчитав курс, протянул Йозефу бумажку в сто крон.

К ужину Погорелов опоздал. Но невидимые заботливые руки продолжали заботиться о нем. Портье, старик с розовой лысиной, взял у него из рук сумку, показал рукой:

— Вас там уже ждут.

И, точно по мановению этой руки, загорелся свет в большом зале слева от входа. И, как только Погорелов шагнул туда, из-за ширмы величественно выплыл ему навстречу степенный юноша в строгом черном костюме и в белой рубашке, плавным жестом протянул руку:

— Добрый вечер. Меня зовут Милан. Я метрдотель. Рад приветствовать вас в нашем отеле.

Погорелову оставалось только улыбнуться в ответ, пожать бескостную ладонь и повторить:

— Добрый вечер.

Милан продолжал так же любезно:

— Ваш ужин я сейчас подам вам сам. Но сначала покажу ваш постоянный столик.

Он ловко развернулся и, не оглядываясь на Погорелова, повел его через помещение. Дальше, тремя ступеньками выше, был еще один темный зал — поменьше. Зато во все стены огромные окна, сейчас затянутые плотными шторами. Здесь Милан, щелкнув в тишине выключателем, включил одну люстру в дальнем конце. Туда он и провел Погорелова, остановился перед последним столиком, рассчитанным на две персоны. Усадив гостя, метрдотель не сразу пошел за ужином. Сначала прочитал устную инструкцию:

— На завтрак и на ужин у нас в отеле шведский стол. То означает: вы сами выбираете себе, что станете кушать. На обед меню. Вот на столе перед вами карточка, где повар предлагает три главных блюда на завтра. Вы обязаны на вот этой (показал пальцем) карточке, где уже стоит ваша фамилия, указать, что выбираете. Если вы этого не выполните, получите в обед дежурное блюдо. Сейчас я вам принесу дежурное блюдо. Повар оставил его специально для вас. Если у вас появятся какие-то вопросы, во время завтрака, а так же на обеде и на ужине я всегда здесь. Я смогу ответить на все ваши вопросы. Я говорю на пяти языках.

Наконец, он отвязался — пошел за ужином не торопясь, точно боясь расплескать переполнявшее его чувство собственной значимости. Погорелов чуть не засмеялся вслух. Он бросил взгляд на часы. До игры оставалось чуть больше часа. Дина убедила его, что, даже если в отеле не будет канала с трансляцией, то максимум за десять минут он спокойно найдет ближайший спортивный бар. «На курортах это обязательно! Даже на самых паршивых. Маркетинг...» Она это знала лучше его.

Но когда он спросил вернувшегося Милана, где у них можно посмотреть сегодня футбол, понял, что Дина знала про курорты не все — с футболом можно было пролететь. Погорелов заволновался. И разозлился. Он понимал эту, умело скрытую вежливой интонацией, суть тонкогубой улыбки Милана. Погорелов не был гомофобом... Но вот эта высокомерная

снисходительность, с какой тот ответил, что сам он, конечно, не знает, но «здесь работает один мужчина, который интересуется футболом, у него можно спросить», зацепила его так, как не тронула бы в устах мужчины или женщины.

— Да. Спросите, — барским жестом ладони Погорелов отправил метрдотеля куда-то в пространство. И он просто отвернулся от халдея, торопливо принялся за свой ужин, дав тому понять, что разговор закончен.

4.

Спортивный бар оказался вытянутым в длину, узким, как вагон, полутемным зальчиком. По левую сторону тянулась высокая стойка, справа — вдоль окон — несколько столиков. В глубине на стенке висела плазма. На каком-то музыкальном канале крутили попсовые клипы.

Народу было мало. За первым столиком сидела компания вечерних людей, которые, скучно переговариваясь, пили пиво. Два столика были вовсе пустые. А за угловым сидели две девчонки немного за тридцать и пили вино. И еще за стойкой сидел старик богемно-бомжеватого вида и о чем-то тихо переругивался с барменшей.

Та с видимым удовольствием отмахнулась от старика, когда Погорелов спросил ее на предмет футбольной трансляции. Крупная чешка, смуглая, с коротко, почти под ноль остриженной головой, все никак не могла понять его. Он спросил по-русски, попробовал, как мог, по-английски... Она только все шире раскрывала на него свои густо накрашенные глаза, да все о чем-то переспрашивала на этом удивительном мягком наречии, точно утешала.

На помощь пришла одна из девчонок. Она из-за столика крикнула барменше по-чешски что-то. Та заулыбалась Погорелову еще интенсивнее, закивала головой:

— То есть! То есть! — и что-то крикнула в сторону дальнего столика, Погорелов понял только одно слово, Верка... Хотя сами слова казались такими знакомыми.

Эта Верка крикнула теперь уже ему по-русски:

— Вы хотите футбол смотреть?

— Да, — заторопился он. — Мне сказали, что здесь спортивный бар.

— Да, то так! То так! — барменша снова усиленно закивала. Но Погорелов не обращал уже на нее внимания. От стойки (тоже крикнул) этой Верке:

— Так здесь можно футбол смотреть-то?

— Да, здесь нужно. Она сейчас для вас включит.

Барменша уже протянула Погорелову какие-то листы, скрепленные степлером:

— Тут! Тут! — указывала она ему пальцем.

Он всмотрелся. Это были программки, отпечатанные на принтере. Среди листов он нашел «Футбол». И, несколько раз внимательно, аккуратно проведя пальцем сверху вниз по листочку, понял, что на сегодня там стояли только две трансляции. И игры «Зенита» с «Байером» среди них не было. Была «Бавария» с «Ромой». Ну, не уходить же теперь...

Показал барменше:

— Вот мне это надо.

— Момент, момент! — выставила она ладонь. — Скоро...

И не спеша вышла из-за стойки, пошла к плазме.

Раздражение, нетерпение не помешали ему. Там было на что посмотреть! Ее туго обтянутая черными джинсами задница соответствовала огромной груди, которую Погорелов отметил, еще только войдя в бар. «Если бы ж**а была поменьше, то ходить бы не смогла. Эти сиськи ее бы вперед перетянули. А они бы поменьше были, так и шлепнулась бы — ж**а перевесила» — пришла ему в голову смешная, как показалось, мысль.

Погорелов уселся за средний столик лицом к экрану. Так что вместе с игрой он невольно следил теперь и за девчонками. Верка была худая длинноволосая брюнетка с острыми лопатками. Вторая, которая сидела к нему лицом, наоборот, пухлая, бесцветная, в толстых очках. Зато грудь ее, казалось, вот-вот разорвет тесный лиф белой кофточки.

Он заказал выпивку.

Футбол был скучный. Игра шла в одни ворота... А он все время думал, что в эти же самые минуты играет «Зенит». И понимал, что сегодня в этом заточенном совсем под другой интерес, специализированном городишке и счет не узнает. Оставалось только потихоньку пить. Прежде он никогда не пробовал настоящую чешскую сливовицу, и этот поначалу обжигающий, но оставляющий такое душистое послевкусие самогон ему понравился с первого глотка. К концу первого тайма он заказал еще сто грамм.

К этому времени компания позади него ушла из бара. В зальчике остались только Погорелов с девицами да барменша, которая, сосредоточенно шевеля губами, мирно вязала за стойкой. Старик тоже куда-то незаметно исчез. Девушки встали и ушли в коридорчик сбоку за стойкой.

Он проводил их взглядом. Отметил, что у брюнетки нижняя часть тела оказалась не такой костлявой: вполне ничего... Когда они вернулись, Погорелов учуял запах табачного дыма. Резко захотелось курить. И в перерыве Погорелов сразу направился в сторону коридорчика. По пути спросил девчонок:

— Можно ли там курить?

— Да, курить там, — быстро ответила пухлая и широко ему улыбнулась.

Погорелов заметил, что чернявая недовольно на нее посмотрела. Выпитый алкоголь пробудил петушиное настроение. Погорелов распрямил плечи... И когда они обе почти сразу пошли за ним, был к этому готов.

Он остановился в коридорчике, вытянул из пачки сигарету. Девушки протянули ему по зажигалке. Но Погорелов прикурил от своей, только улыбнулся им. Потом шагнул вперед — в небольшую комнатушку без окон. Там стоял диванчик, на котором понуро сидел давешний хиппи. Увидев Погорелова, он проворно вскочил и предложил тому присесть. И на чистом русском языке попросил:

— Брат, одолжи пару центов, если не жалко...

Погорелов выскреб из кармана какую-то мелочь. Тот, даже не поблагодарив, сразу стал лихорадочно пихать монету в щель стоявшего здесь игрового автомата.

Когда Погорелов покурил и вышел обратно, девчонок уже в коридорчике не было. И за столом их не было. И бокалов их на столике не было...

«Обломались и ушли», — с легким сожалением подумал Погорелов.

Но они вернулись.

Принесли с собой еще вина. Усаживались за столик с большой аккуратностью. Крепко зажимая в руке каждая свой бокал, старались не расплескать. «Трезвые догадались бы просто их сначала на стол поставить», — отметил он, забавляясь. Погорелов, как бы не обращая на девушек внимания, уставился на экран. Но, когда подруги снова пошли курить, потянулся за ними почти сразу.

Девчонки посторонились, чтобы он мог пройти. Погорелов остановился, достал сигарету. Но на этот раз взял зажигалку у пухлой. И, изо всех сил улыбнувшись, поблагодарил: «Сеньк'!». Чуть приглушив улыбку, повернулся к Верке, выпустил дым аккуратно в сторону и сказал:

— Вы отлично говорите по-русски.

— Спасибо, — ответила она. — Я люблю русскую литературу и музыку... Говорила она, аккуратно выговаривая слова.

Он тут же сделал ей умный комплимент:

— Удивительно! Вы слишком молодая, чтобы застать те времена, когда во всех социалистических странах обязательно учили русский язык...

Верка с заметным усилием собралась, внимательно посмотрела на него и... не стала возражать. Ее подруга прямо с дымящейся сигаретой ушла в зал. И когда они докурили и вернулись, ее за столиком не было.

Верка шла впереди Погорелова. Она подхватила свой недопитый бокал, прямиком прошла к его столику и уселась. Так что Погорелову потом пришлось расплачиваться по двум счетам. К тому времени они были уже на «ты». Погорелов воодушевленно говорил, а Верка просто ждала, когда он допьет.

5.

...Они пошли к ней.

В постели Погорелов понял то, что и прежде знал, — ему совсем не хочется секса, сказалась прошлая ночь с Диной. Он бы просто поспал. Корил себя за то, что в пьяном воодушевлении упустил момент, когда еще можно было уйти из бара одному. За то, что не остановился, когда, слово за слово, забрался туда, откуда вернуться уже было нельзя.

«Но она же не виновата, — думал он. — Она особо меня не тянула... Так только, не мешала говорить». И он, как мог, постарался сделать хоть что-то. Он устал. Хмель так быстро вышел почти весь. Болела голова и во рту была противная горечь. А Верка сразу после того, как он, собравшись с силами, все-таки кончил, сказала ему, чтобы он уходил. Причем это не было с ее стороны чем-то специально обидным для него. Она просто поделовому сообщила, что скоро с ночной смены вернется ее компаньонка, с которой они вместе снимают квартиру...

— Она работает на почте до пяти утра, — сообщила Верка Погорелову.

— Еще целых два часа, давай поспим немного, — заныл он. Но она решительно отправила его в душ. И, выпив кофе, уже через полчаса он вышел на улицу.

«Вот зачем она меня в душ отправила? — мысли сами кружились в голове. — Запрограммирована, как автомат». Сильно болела голова. Слева ныло... Остеохондроз вернулся. «Другого я ожидал... от санатория, — но Погорелов всегда легко умел найти для себя утешение. — Ладно, первый чисто санаторный день у меня начинается завтра».

Длинная улица сверху вниз шла через весь город. Идти под гору было, вроде, и нетрудно, еще и ветер дул в спину. Похоже, за те несколько часов, что он был у Верки, прошел дождь. Или это просто осенняя ночная сырость? Асфальт блестел в свете фонарей. В курортной части камни мостовой засыпали скользкие листья. Его шаги громко раздавались в пустой тишине. Так же громко где-то за парком проехала невидимая машина. Погорелов слушал звук своей походки, и что-то беспокоило его.

В двери отеля звонить не пришлось. Створки бесшумно распахнулись, как только он приблизился. Звонко, не зло залаяла собачонка. С диванчика поднялся ночной портье, шикнул на свою жучку.

— Вот, футбол ходил смотреть, — зачем-то сказал ему Погорелов.

Тот по-стариковски покряхтел, ничего не ответил, только улыбнулся, точно подмигнул. Потом что-то сказал собачонке. «Гулять повел, — понял Погорелов. — Правильно. Все равно я его поднял, так чтобы два раза не вставать».

То ли прогулка по свежему воздуху взбодрила его, то ли, наоборот,

нервная усталость, но, поднявшись в номер, Погорелов понял, что совсем не хочет спать. В отеле запрещено было курить. Но в его номере был балкон. И в это время с улицы никто не увидит...

Отель спал. Но вдруг где-то совсем рядом Погорелов услышал, как открылось окно. И мужчина спросил по-русски:

— Так не холодно? Может быть, все-таки...

— Нет. Оставь. Так хорошо, — ответил ему молодой женский голос. Тихий, но одновременно твердый, даже жесткий. Ответил без раздражения, без другой какой эмоции. И без тени сомнения, что его послушают.

«Удивительный голос, — отметил Погорелов, невольно оказавшийся в роли подслушивающего. — Красивый».

Потом было какое-то время тихо. Погорелов докурил и принялся соображать, куда деть окурки. Тащить в номер не хотелось: все равно горничная учует запах... Он подобрал с пола большой мокрый лист, их довольно много надуло ветром с высоких деревьев, и сейчас шумевших на той стороне узкой улочки. На всякий случай обильно сплюнул на лист, затушил сигарету и аккуратно прикрыл сверху другим листом. Положил все это в уголок на полу. «Утром вынесу», — решил он, довольный своей сообразительностью. — Теперь бы заснуть».

Однако не успел Погорелов открыть балконную дверь, как снова услышал ее голос:

— Я пошла.

— Утром увидимся же? — как-то робко спросил мужчина. — Еще целый день у нас есть.

— У нас — нет. Послезавтра я уезжаю... Даже вот завтра уже, получается.

— Я же и говорил про завтра, — словно бы оправдывался мужчина. Но она, похоже, не обратила на его слова никакого внимания:

— Сейчас пойду к себе в номер, выплещусь. Завтра погуляю по своим местам. Одна (как будто властным жестом не позволила ему возразить). Пока. Пошла.

«Да уж, — про себя засмеялся Погорелов. — Четко это все у нее. По полочкам. Получил старичок, за что уплатил. Какие тут еще тебе эмоции?»

Он там закрыл окно, и Погорелов смог, не боясь скрипнуть своей дверью, уйти к себе. Забравшись под одеяло, он почувствовал, как замерз. И как только чуть согрелся, провалился в глухой сон.

...Утром Погорелов снова услышал этот голос. И даже увидел его обладательницу.

За завтраком. Когда он с полными тарелками в обеих руках подошел к своему столику, там уже сидела иностранка и ножом чистила грушу. «Старая, — подумал Погорелов просто так по привычке. — Умеют вот у них

эти пожилые тетки выглядеть лет на десять–пятнадцать моложе. Особенно по сравнению с нашими».

Он поздоровался по-русски. Вежливо, чтобы поняла, пожелал ей приятного аппетита. Хорошо выспавшись, забыв про вчерашнюю головную боль и остеохондроз, Погорелов был полностью готов окунуться в покой курортной жизни и был рад, что она начинается с этой заграничной тетки. Что он будет три раза в день сидеть напротив нее и, кроме «приятного аппетита» и вежливых улыбок, между ними ничего не будет. «Попались бы дорогие россияне, привязались бы обязательно. Из-за стола не сбежишь. А в других местах они меня тут не достанут». Так, примерно, можно было описать словами его мысли, которые появились в то короткое мгновение, пока она не ответила ему.

Как громом пораженный, Погорелов, услышав голос (пусть она и ответила теперь по-немецки), сразу узнал его. Это была она! «Молодая и расчетливая» — так он вчера себе сказал.

Погорелов потупился и принялся резать ножом поджаренную колбаску. К их столику подошел вчерашний Милан, который в своем строгом костюме элегантно скользил между столиками, улыбаясь каждому одинаковой улыбкой, и время от времени спрашивал на разных языках: довольны ли они завтраком? нет ли замечаний? Так же он улыбнулся и им — одной улыбкой на двоих, но так, что удивительным образом выходило, будто предназначалась она каждому индивидуально. Он был большой профессионал.

Милан по-немецки спросил что-то у нее. Она как-то машинальноглянула на Погорелова, подняла взгляд на метрдотеля и короткой фразой ответила.

«Это не про завтрак, — понял Погорелов. — Про меня. Говорит, что ей безразлично, с кем последний день сидеть за одним столом». И ему вдруг стало обидно.

Он сосредоточенно принялся за свою колбаску. Фальшивая немка не спеша дочистила грушу, аккуратно съела ее. Потом принялась за мюсли с йогуртом. А он потел над омлетом, и со стыдом понимал, что набрал слишком много еды... К счастью, она справилась быстро и, сказав ему что-то немецкое вежливое, наконец, вышла из-за стола и пошла по проходу между столиками.

Погорелов проводил ее злым взглядом.

И тут он получил еще один чувствительный щелчок по носу.

Не успела она сделать и пару шагов, ее остановила какая-то толстая русская тетка. Принялась громко расспрашивать про какой-то специальный тутошний массаж, точнее про массажиста. К ним подошел (как понял Погорелов) муж этой тетки. Такой же толстый, и в таком же спортивном

костюме с фирменными полосками. Для вящего идиотизма у него костюм был голубой, а у нее — розовый. Мужик тут же громогласно заявил:

— А мне, Гера, тогда уж массажистку подскажи. Пока моя благоверная на своем массаже, я бы тоже, как говорится, не преминул бы здоровья для...

И эта холодная, за столом изображавшая рафинированную европейку селетка ответила им громко и по-русски. Погорелову показалось, что при этом она на него еще и посмотрела.

Позже, когда он после завтрака уже вставил ключ в замок, вдруг отрылась дверь соседнего номера. Из него вышел сосед, ночная жертва этой стервы. И Погорелов зачем-то спросил его:

— Ну, и как тут отдыхается?

Тот только буркнул «хорошо» и убежал.

И не так бы вдруг достало Погорелова ее паскудство, если бы сосед этот оказался каким-никаким старикашкой. Ну, или там уродом. Нет, это был красивый татарин лет максимум под сорок. Из тех тонкокостных, породистых татар, сероглазых, с гордым профилем и такой холодно-интеллигентной улыбкой тонких губ, гарантированно удерживающей на уважительном расстоянии любую фамильярность...

Развалившись в ботинках на свежезаправленной кровати, Погорелов предался злым мыслям. Ему легко удалось наvertеть вокруг этой женщины, которая так необычайно волновала его, всякого разного. Такого, что делало ее в его глазах типичной выразительницей чего-то пошлого, банального. Да она попросту была недостойной его вот этого волнения!

Продолжался эмоциональный всплеск недолго. Как обычно в голову пришли спокойные отвлеченные мысли. Сытый желудок стимулировал их неспешное течение.

Тут он закемарил. Проспал целый час. Но когда проснулся, сразу резко прыгнул с кровати:

— Хватит валяться! Я не дома в выходной. Пора уже, наконец-то, начинать курортную жизнь.

6.

Он пришел в хорошее состояние духа. Стерва куда-то незаметно делась из его головы. Погорелов раскрыл лежавший на столе буклет и раскрыл его в той части, где написано было по-русски. Дина, кроме прогноза погоды, нашла в интернете и прочитала ему целую кучу полезных сведений про Марианские Лазни. Так что про Гете и английского короля Георга Погорелов уже знал. И первым же делом в этом проспекте попался ему как раз некий «Маршрут Гете».

Он надел пальто прямо на футболку, потому что за окном вовсю светило яркое солнце, и выйдя из отеля, свернул налево, в сторону, где, как он понял, эта самая знаменитая тропа и начиналась.

...Вчера вечером, когда приехал, Погорелов был занят вопросом трансляции и толком ничего возле отеля не разглядел. Когда возвращался под утро тем более. А сейчас он даже на какое-то время просто оторопел! Солнце стояло довольно высоко. И в его лучах светилось золотое великолепие величественных деревьев, возвышавшихся прямо перед ним через узкую улочку перед отелем. Это их листья валялись на его балконе — он видел эти деревья ночью... Ноне увидел! Аллея начиналась метрах в двадцати слева от него и вела вправо, загибаясь вдоль улицы... Погорелов бросился внутрь ее!

И там было волшебю!

Сразу за первым рядом золотых великанов был довольно крутой спуск в ложину, буквально на несколько метров засыпанную коричневыми крупными листьями еще зеленой травы. А там, по дну, также повторяя линию улицы, уходила вправо узкая асфальтовая дорожка — и она в листве, но только сухой, шуршащей. А самое замечательное, что увидел восторженный Погорелов, было то, что за первым, верхним рядом деревьев, понизу, с обеих сторон дорожки шел такой же ряд необычно светлых стволов, и сквозь все еще довольно густую листву почти не было видно неба над тропинкой. Но это небо проникало чудесным, каким-то нереально душистым бледно-золотым светом под эту бесконечную арку.

Он шел так непривычно медленно для себя. Просто шел, как никогда не умел — не куда-то, не зачем-то... Все, что Погорелов придумывал для себя, когда с иронией представлял курортную жизнь, оказалось совсем не набором штампов, а приятным ощущением покоя. Того именно душевного покоя, который он всегда считал придуманным враньем.

Вчерашняя Верка, разговор, подслушанный на балконе, огорчение за завтраком, трусливая торопливость сразу придумать какие-то ярлыки для мимолетных событий, как метастазы привычной жизни протянулись сюда за ним. И... так вот просто, незаметно растворились в этом ясном свете, в звуке незнакомой походки собственных шагов по большим звонким листьям. Погорелов удивился, что ему так безразлично теперь, что привычная жизнь всего через десять дней всосет его без остатка обратно.

Куда больше занимало совсем другое. Вдруг так важно оказалось узнать, действительно ли эта необычного, светло-серого цвета кора незнакомых стройных деревьев такая атласно гладкая, каким воспринимает ее взгляд? Погорелов, несколько не смущаясь самого себя, протянул ладонь и коснулся. И тут же отдернул. Кора была гладкой, удивительно гладкой, точно не кора, а кожа... И холодной! Он снова осторожно приложил ла-

донь к стволу. Да. Это был холод, идущий изнутри дерева. И Погорелов мгновенно, без мысленного напряжения, без тени сомнения тут же узнал имя чудесных деревьев — «ясень».

«Ну, конечно!» — воскликнул он. А что же иное может выражать слово «ясность»? Только вот эту прозрачность всего, что попадает в ее свет и холод несомненности. Погорелов был взволнован своим открытием. Оно было таким бесполезным и таким... радостным. «Курортная жизнь, — прежними словами подумал он, но означали они уже совсем иное. — Ладно, в душе вот это все... Но как легко и приятно во всем теле!»

Но было и волнительно. Испугался своей восторженности, произнес вслух цитату из фильма:

— Народ к разврату готов!.. Ну, где там эта самая «тропа Гете»?

...Шагов через триста ясная колоннада поворачивала вправо, а с левой стороны все шире, всеми оттенками желтого светились деревья пониже, тоже незнакомые. Среди них возвышались сочные темно-зеленые ели. Туда в глубину вела тропинка, отделившаяся от аллеи. Почти в самом ее начале ажурно белел мостик, в прозрачном воздухе явственно слышалось журчание воды.

Очарованный Погорелов было уже свернул туда. Но увидел невдалеке столб с бело-голубыми стрелками-указателями. Стрелки указывали влево туда, куда он поначалу хотел пойти. И привела бы его та тропинка к таким достопримечательностям, как LUNA-PARK и TENIS-KAFE... «На все вкусы тут у них предусмотрено, — усмехнулся Погорелов. — Может быть, и я туда через пару дней схожу. Но сегодня у меня другой план». И он решительно повернул направо.

Перед ним открылась большая поляна с одной стороны закрытая густой изгородью лакированных бутылочно-зеленых кустов, а с остальных — поднимающимися по склонам вверх елями. В глубине поляны стояла летняя эстрада с колоннами, стилизованными под древнегреческие. Перед ней — ряд обыкновенных уличных скамеек. А еще ближе — на трех белых столбах чуть выше человеческого роста — как бы обломки якобы колонн, тоже с древнегреческими завитушками. Они были насажены на эти столбы и походили больше на поршни шприцов, до отказа вытянутых, и нужно только надавить на них посильнее, чтобы где-то там под коротко остриженной шкурой зеленой травы вглубь земли впрыснуть что-то... «Древнегреческое, — сыронизировал Погорелов. — Культурная прививка».

Может быть, именно для того и были взгромождены на верхушки колонн фигуры трех женщин в античных прическах и ярко-синих хитонах. Тетки извивались и взмахивали руками, но этих усилий было явно недостаточно, чтобы всадить, наконец, шприцы... Поляна была совсем пло-

ская, и Погорелов решил, что здесь ему не нравится. И он быстро пошел мимо эстрады вверх по тропинке.

Здесь он увидел информационный щит с картинками, фотографиями и схемами. Поясняющие надписи были политкорректно выполнены на нескольких языках. По-русски Погорелов прочитал:

«МАРШРУТ МЕТТЕРНИХА — к природным источникам в леса князя Меттерниха (канцлер Австрийской империи в 1821 — 1848 годах) Маршрут ведет в глубокие леса...» В глубокие леса ему идти не захотелось. Но он дочитал весь текст до конца: «...Прилегающий парк с музыкальным павильоном скульптор Олбрам Зоубек украсил скульптурной композицией трех муз».

— Лучше бы ты «украсил» тремя этими... жердьями, — он хотел сказать другое имя, но напрочь из головы вылетело, как звали того древнегреческого толстяка, который пьяным гонялся за вакханками. Но представил, и стало смешно, легко.

Неподалеку стоял еще один информационный щит. Где отдыхающий с облегчением прочитал искомые слова:

«МАРШРУТ ГЕТЕ — насладитесь видом природного пейзажа, который во время совместных прогулок с Ульрикой фон Леветцов посетил поэт и ученый И. В. Гете...» Прочтя текст до конца, Погорелов понял, что сейчас он находится совсем не в начале этого маршрута. Потому что скульптурная композиция «Гете и Муза», которой маршрут должен был заканчиваться, была видна совсем неподалеку. Он ее сразу заметил вдалеке, как только вышел на поляну. Но не впечатлился. Он же не знал, что это Гете и Муза, вот и пошел сразу в сторону более ярких и телесно куда более соблазнительных муз скульптора Зоубека.

Теперь, прочтя текст, так заботливо составленный для гостей курорта, он послушно повернул к памятнику. Постоял несколько минут, посмотрел. Творчества главного немецкого классика Погорелов особо не знал. Фауста в свое время не дочитал, стало скучно. А то, что поэзия на другие языки попросту непереводима, вычитал однажды где-то, и поверил.

Ему не по душе пришелся наивный символизм скульптурной композиции. Хотя на Музе взгляд задержался. Корпулентная, она, одной рукой обняв себя за талию, другую руку прижав к груди, почему-то смотрела куда-то в сторону и вниз. Была Муза в легком платье. И скульптор так натуралистически аппетитно вылепил сквозь него: соблазнительные пухлые ножки длиной чуть ли не в две трети фигуры, кругленькие ляжки и — особенно тщательно — выпуклый лобок и треугольную плавную впадинку под ним...

На информационном щите было написано, что маршрут Гете всего около километра, так что свою прогулку Погорелов решил продол-

жить по этой тропе, плавно подымающейся вверх и направо. Он шел по-прежнему неспешно. С обеих сторон светились стройные стволы его ясеней, а тропинка еще гуще, чем на придорожной аллее, была усыпана палой листвой. Между деревьями густо росли низкие мясистые горизонтальнолистные папоротники.

Для закоренелого урбаниста, который с детства пропускал в книжках все описания природы, которые, казалось, мешали развитию сюжета, все это растительное изобилие могло бы стать поводом для раздражения. Но Погорелову было здесь комфортно. Он шел и любовался этим сочетанием ярко-зеленых папоротников, бледно-желтых листьев каких-то тонких кустов, похожих на рябину, синим небом... Он шел и лениво примечал, например, что листья в кронах ясеней бледно-желтые, но их же палая листва под ногами ржаво-коричневая.

Тропинка вилась между холмистыми склонами, засыпанными все той же листвой, в зарослях папоротников живописно то здесь, то там лежали серые валуны и какие-то черные угловатые камни, возле которых из травы торчали металлические таблички. «Самый большой в Чехии геологический парк», — вспомнил Погорелов надпись на щите Меттерниха... И вдруг за очередным поворотом россыпь камней, такая же казалась бы беспорядочная, оказалась кладбищем.

Камни почти утонули в траве. Но медные таблички на каждом из них были заботливо почищены, и имена людей на этих, казалось бы, самой природой воздвигнутых, надгробиях можно было ясно прочитать... «Josef WAUKA (1896-1918) Italien». «Ferdinand STOPFER (1892-1916) Russland»...

«...Serbien», «...Frankreih»... Все даты гибели были с 1914 по 1918 годы. И места, где пали эти чешские солдаты, были далеко отсюда. Таких по-настоящему трогательных мемориалов, где память о солдатах, чьи кости лежат в чужих землях, была полностью доверена родной природе, где надгробия стали естественной частью геологии, Погорелов еще никогда не видел. Он осторожно ходил между камней, читал чужие имена и слезы стояли в его глазах.

Некоторые таблички были почти полностью засыпаны листвой. Погорелов бережно их расчистил. На самом верху, где кусты и деревья встали уже сплошной стеной, он нашел почти целиком скрытую мхом, только краешек, если присмотреться, и виден, еще одну. Присев на корточки, снял холодный мокрый пласт. Веточкой вычистил землю. Букву за буквой: «Franz Žischka (1895-1918) Italien».

Потом сидел на скамье, и пока не выкурил две сигареты, не мог идти дальше.

...Тропинка незаметно снова успокоила его. Он шуршал листьями. Рассеянно заметил, что слева склон стал круче, и идти стало немного тя-

желее. А справа, внизу за деревьями, стали видны залитые солнцем крыши города.

7.

Погорелов сделал еще несколько шагов, и вдруг справа открылся довольно глубокий овражек, буквально засыпанный палой листвой. Его крутой склон, густо поросший приземистыми кустами с широкими листьями, начинался сразу у тропинки. Высокие ясени окружали овражек, не спускаясь вниз, так, что их кроны не препятствовали прямым солнечным лучам. И эти листья на дне прямо пылали, заливая все пространство оврага тем же золотым светом, который легкими блесками пронизывал прозрачный воздух вокруг Погорелова все это время. Но здесь он был густой и плотный, до рези в глазах.

Погорелов невольно зажмурился. А когда открыл глаза, увидел: на самом дне овражка стояла на высоком постаменте каменная чаша.

И там, прижав ладони к камню, стояла его утренняя обидчица. Солнце окрашивало ее прямые, до плеч, светлые волосы тем же концентрированным золотом. Зеленая курточка. И синие, как это небо, джинсы... «Девочка — осень», — само по себе пришло ему в голову что-то FM-песенное. Отсюда, сверху, хрупкая фигурка этой «старой стервы» казалась точно девичьей.

Снова он был ошарашен ею! Молодой голос и стервозные слова ночью на балконе, холодное высокомерие за завтраком и вот это сейчас... Такое глубокое олицетворение осенней светлой печали, в какой он сам душевно пребывал минуту назад. И с ним случилось то, чего он уже никогда больше и не ожидал от себя. Почти тридцать лет тому назад написал он свое последнее стихотворение... И теперь, как тогда, из ниоткуда пришла к нему стихотворная строчка:

И по всему городу тебе вослед чуть слышно желтели деревья...

«Девочка» стояла спиной к нему, чуть склонив голову, и, конечно, не видела его. Погорелов вынул телефон. Ему так сильно захотелось оставить себе эту картинку. Но почему-то вдруг застеснялся и окликнул ее:

— Извините! — она резко отдернула ладони, подняла голову. — Извините, можно... вас сфотографировать?

Она молчала и смотрела на него. А он обрадовался, что она не послала его сразу. Быстрым голосом пытался объяснить:

— Такая вот... композиция тут. Фотография... Красиво... Осень как бы сама. Ясени вот эти еще тоже!

Она повернула голову вправо. Потом влево. Потом посмотрела на него и своим чудесным голосом спросила:

— Какие ясени?

— Вот эти, — Погорелов обрадовано сделал полукруг рукой... Это ведь уже был разговор! И он, скользя по листьям, рискуя упасть, заспешил вниз.

— Вот же — ясени! — запыхавшимся голосом сказал он ей, тыкая пальцем в деревья наверху.

И тут она засмеялась. Тихо и звонко. И лицо у нее было такое... Как это он утром назвал ее теткой? У нее такие молодые серо-голубые глаза! И они даже в этом искреннем смехе — грустны. И такое же противоречие: веселая улыбка, но уголки характерно вырезанных губ изогнуты книзу...

— Извините, — она отсмеялась. — Но эти деревья там — не ясени. Это — буки.

— Откуда вы знаете? — Погорелов почувствовал, что краснеет.

А она, точно не слыша его, добавила:

— Вообще-то, правильно даже — белый бук.

— А какие... еще бывают? — он готов был зацепиться за что угодно, чтобы продолжить разговор.

Она спокойно, как экскурсовод:

— Есть красные. Их так называют, потому что у них осенью листва красноватая, не такая, как у этих, — она показала рукой наверх. — И древесина тоже красноватая. А у этих белых буков — светлая. Другое отличие в том, что у красных буков стволы совсем ровные, как выточенная колонна, а у белых — вот, видите? — такие утолщения.

Погорелову хотелось, чтобы она своим чудесным голосом говорила дальше:

— А еще какие буки бывают?

— Вообще их только два вида. Но есть еще буки-мутанты. Их в Германии называют «Blut Buche». Кровавые буки.

— «Бухе»?

— По-немецки так звучит...

— И Бухенвальд это... не «книжный лес»?

— Нет. Как раз буковый. Но это — «бук» и «книга» слова однокоренные.

— Но как?!

— Древние германцы свои первые письменные знаки составляли как раз из тонких буковых веточек. Так появилось слово «Buchstabe», то есть «буква». А потом и «Buch».

— Ничего себе! — притворился восхищенным Погорелов. Ему даже показалось, что ей доставляло удовольствие рассказывать ему. — Красиво...

— Буки, вообще, у древних германцев — дерево особое. Обычно говорят о дубах. Но бук имел не меньшее значение в верованиях, обрядах. Это лунное, женское дерево...

— А как они, ну, размножаются? Если только женское...

Она снова рассмеялась:

— Нет. Это не так... У женских, или лунных деревьев всегда, даже в жару, холодный ствол. А у мужских он теплый.

— А долго они живут? — ему не хотелось, чтобы сейчас рассказ этого необыкновенного экскурсовода закончился. — Как дуб? Так же долго?

— Нет, поменьше. Не говоря уже про липы. Дубы лет пятьсот или шестьсот живут. Редко когда больше тысячи. А для липы тысяча лет — дело обычное.

А он все хотел протянуть:

— А эти «кровавые»... они какие?

— Листья у них такая фиолетово-красная... И крона такая огромная. И она гуще, чем у обычных буков, мне кажется...

Последнюю фразу она произнесла сухо, тактично давая Погорелову понять, что экскурсия закончена.

Он почувствовал, что спросить больше нечего. И что уйти он просто не может.

— Вот оно, — тут Погорелов тяжело, даже горько, вздохнул.

— Что?

Она позволила ему остаться!

— Да вот это вот самое!

— Ну что — это самое? — в ее голосе ему послышалось обнадеживающее раздражение.

Он старательно принялся формулировать в свои слова мысль, которую когда-то от кого-то слышал:

— Я, когда книжки читал... В детстве еще. И потом...

— Ну? — она подбодрила его, снова удивительно улыбнувшись загнутыми вниз уголками губ.

— Особенно книжки иностранных писателей. Вообще, раньше почему-то читал английских больше писателей. И вот до сих пор французам недолюбиваю, потому что там англичане всегда хорошие, а они — плохие...

Зачем он это говорит?

Но она опять улыбнулась и даже покачала головой.

— ...Впрочем, это неважно. Так вот, меня всегда поражало, как писатели свободно, легко называют такие экзотические для меня имена. Птиц там разных, деревьев. Какие-то коноплянки, щеглы. Эти... как их там — даже не вспомню сразу! — вальдшнепы. Но особенно: деревья! Вязы, каштаны, платаны разные. Или эти вот самые ясени мои, которые вообще буки, оказывается. А еще траву всякую... А я этого ничего не вижу, не понимаю. Береза, тополь, редко — клены. А все больше — елки да сосны. И птицы — воробьи да голуби помятые. Вороны еще. Сороку один раз в

жизни видел. Понимаю, что там, в Европе, климат мягче... Вот они и росли вместе с этими вязами, ясениями... С детства с ними. А я только теперь эти деревья узнаю.

— А вы где-то на севере росли? — спросила она.

— Можно сказать, что на севере, — ответил Погорелов. — В Северном Казахстане. И сейчас живу в таком месте, где больше елки да болота. Да еще и городской, деревню совсем не знаю...

— Ну, да... А хотите, — она мгновение помолчала, слегка поджав губы, отчего кончик ее чуть горбатого тонкого носа, дрогнул, — хотите, я вам прямо сейчас покажу настоящие ясени. И вязы там есть. А по пути каштаны.

— А каштаны я уже сам видел. Лопухастые такие листья у них... — и тут он просто до холода в груди испугался, что она эти слова примет как отказ. — Очень хочу!

И они пошли по правому пологому склону вверх. Погорелов шел первым. Когда нужно было спуститься по нескольким ступенькам вниз, уже на городской асфальт, он протянул ей руку, и она оперлась на нее.

...Среди деревьев было прохладно. Но здесь вовсю пекло, и Погорелов снял пальто. «Вот ведь октябрь...», — подумал он. Его спутница расстегнула курточку. Она повела его вдоль крайней улицы, сам курорт оставался справа, чуть внизу. Потом через узкий проход между домами вывела его на улицу нарядных, похожих на небольшие дворцы зданий — с башенками, колоннами, фигурными крышами. От парадных светло-желтых фасадов вниз террасами спускался ухоженный газон, с клумбами, гранитной лестницей, белыми под старину фонарями. Там и здесь были по газону разбросаны аккуратные группки стриженных кустов и невысоких деревьев еще в полном параде зеленой листвы. И возле них вымощенные камнем площадки с такими же белыми ажурными скамейками.

— Посидим минуточку — предложила она. — Что-то немного устала.

— Можно, я закурю? — спросил Погорелов.

— И мне дайте сигарету.

Они сидели рядом, и он старательно не смотрел на нее. Здесь это было легко сделать: вид улицы, зеленого склона... белые облака в синем небе. Его взгляд остановился на памятнике чуть левее скамейки. Под широколистым деревом на невысоком трапециевидном подножии в профиль к Погорелову сидел, заложив ногу на ногу, бронзовый мужик.

— Чей это памятник?

— Гете, — даже не повернув головы, ответила она. — Он в этом доме останавливался, когда сюда приезжал. Там сейчас музей. Можете сходить потом.

— Нет! — Погорелов и сам удивился, как это резко у него вышло. Пытаясь сгладить, он засмеялся: — Это сюда к нему Муза приходила? Она мне понравилась...

— Вы о памятнике... там?

— Ага. Такая она... эротичная.

— Она была очень молодая. Ульрика фон Леветцов... Последняя любовь поэта.

Ведь тоже был штамп. Но как она это произнесла! Погорелову стало немного не по себе.

— Так он же на сто лет ее старше! — воскликнул он.

И она улыбнулась. Ему показалось, что, может быть, даже и благодарно. Сказала:

— Вот она ему и отказала.

— Молодец! А старик что, еще и предложение делал? Ну, руки и сердца...

— Представляете! Великий поэт. Гений нации. Мировая величина и авторитет. Друг ее отца, в конце концов. И она, совсем юная... отказывает.

— Ну, теперь я беру слова свои обратно.

— Какие слова? — она не поняла.

— Да там, — Погорелов махнул рукой в сторону леса на холме. — Памятник этот. Очень мне не понравился. Я увидел один только пафосный символизм. Великий Гете смотрит в вечность. Протягивает рукопись человечеству. И все такое... Ну, и Муза. А она ведь не на него смотрит, а на землю, вниз. Она земная девушка и хочет земного. Потому и вся эта подчеркнутая эротика, — Погорелов гордился собой. Так ловко сформулировал! — Вот перед вами жертва своего же невежества.

Он даже привстал и поклонился. А она просто рассмеялась:

— Пойдем? Или вы...

— Хочу! Хочу! — смелым смехом перебил он ее. — Ясень... хочу очень увидеть. Такое романтическое дерево.

— Ага... — она снова улыбнулась своей необыкновенной улыбкой. И впервые за все время в глазах ее, ему показалось, промелькнула живая искорка.

8.

Она повела его краем города. Погорелов молча шел чуть позади. Смотрел вниз: притворяющиеся дворцами гостиницы, скверы с фонтанами (они работали!), дальше — большой парк. Еще длинное, похожее на вокзал позапрошлого века, с башенками и завитушками здание. Он вспомнил по созвучию очень приятное слово «курзал». «Тут воду пьют, — понял он. — Лермонтов».

Бетонная лестница вела наверх, где круто уходил к небу темный лес. И когда они тяжелым шагом поднимались, Погорелов с неожиданным удовольствием понял, что это другой лес. Здесь тоже вся дорожка была

усыпана листвой, и кустов было много, и росли они довольно густо. Но господствовали на этих холмах хвойные деревья. Особенно — высокие остроугольные ели. И осенняя краска листьев тускнела, они уже не шуршали сухо под ногами, не светились радостным светом. Здесь было сумрачно и сыро. Погорелов надел пальто.

Спутница его шла впереди, не оборачиваясь. И он не оборачивался. Смотрел на нее. Хрупкая фигурка здесь отчего-то вызвала у него желание как-то ее утешить. «Глупости! Она вон как уверенно шагает. Знает здесь все»... Но просто почти физически ощущал он, что эта странная женщина точно несет внутри себя какую-то давнюю, пусть привычную, и все же боль. И здесь, где не было обстановки отеля, курортных людей, продуманного стиля туристской гетевой тропы, — эта боль проступила наружу. Это было глупо, но он даже начал сомневаться, что она — та самая балконная стерва.

Когда тропа у высокой ели разделилась надвое, левая еще круче поднималась вверх по склону, другая полого уходила вправо, женщина обернулась к нему. И Погорелов даже вздрогнул от неожиданности: ее лицо было счастливым.

— Смотрите, — она показала рукой куда-то назад, ему за спину.

Он, чтобы оторваться от ее лица, быстро повернулся.

Внизу удивительно далеко, точно в горсти, съезжился город. Солнечное пятно, пестро прикрытое разноцветными крышами.

— Ага... — тихо сказал Погорелов. — Так красиво.

Его спутница кивнула:

— Да. Именно красиво.

Они пошли дальше. Подошли к большой обшарпанной белой вилле с монументальной башней и мансардами под когда-то красной крышей. Ажурная кованая ограда с пиками на проржавевых столбах. Высокие окна с резными карнизами. Дом был заброшен. Но прямо у ограды лежал огромный алабай. Когда они приблизились, он лишь медленно поднял голову. Но посмотрел внимательно.

Она не остановилась, только шаг замедлила. Не оборачиваясь, тихо сказала:

— Я несколько лет тут прохожу. Он всегда так... лежит. Большой. Если бы у меня была собака... Если бы я решила завести собаку, то только вот такую, — и с каким-то мечтательным придыханием: — Среднеазиатская овчарка.

А Погорелов остановился напротив пса. И сам почувствовал, каким горьким взглядом смотрел на эту рыжую собаку. Алабай поднялся во весь свой рост, сохраняя приличие, не сразу повернулся задом, а сначала боком — ушел за дом.

— Разбираетесь в породах? — стряхнув воспоминание, спросил ее Погорелов.

Она тоже остановилась шагах в десяти от него. Чуть сверху. Так, что глаза их оказались на одном уровне:

— Нет.

— ?..

— Просто, когда увидела его... здесь впервые, как будто почувствовала что-то. Неожиданно. И так захотелось, чтобы у меня был такой пес. Огромный. Надежный... Не знаю, может, я придумала. Только такое это. Настоящее, что ли... Я читала про них. Удивительные собаки. Две тысячи лет не меняются. От них столько других пород произошло! А они не меняются. И еще прямо восторг меня взял, когда прочитала, что они не поддаются дрессировке! Сами решают...

Она улыбалась, глаза ее горели, как у ребенка, который узнал что-то такое страшно важное и доверительно делится открытием.

А Погорелов все еще был с Артуром и его двумя алабаями. Иногда Артур брал его на свои прогулки по лесу или по берегу озера.

— А у меня... у друга... у хорошего знакомого были две среднеазиатские овчарки. Мы с ними гуляли, — сказал он ей.

— Завидую, — тихо отозвалась она. И она пошла дальше.

...Дальше дорожка поднималась совсем полого.

Здесь тоже было заметно вмешательство муниципалитета. Стояли все те же зеленые щиты с надписями на нескольких языках (и на русском обязательно). Но Погорелову понравилось читать по-чешски: «Naučná stezka Lázenské lesy», «Slavní návštěvníci» «Sutově lesy»... Были устроены и скамейки, кое-где даже и под навесом, туалет в глубине за деревьями. Стоял каменный столб «Göhte Sitz».

— «Место, где сидел Гете» (Погорелов рассмеялся — она заулыбалась), — перевела она. Внизу столба мраморная табличка с золотыми буквами. Тоже по-немецки.

Он, все еще смеясь, спросил у нее:

— «Горные вершины спят спокойным сном»?

— А то! — и ее улыбка тоже стала смехом.

И все же все эти регулярности как-то терялись здесь, их легко можно было не замечать. Поэтому Погорелов спокойно остановился перед одной из скамеек, спросил:

— Не будете против, если я перекурю?

— Я с вами...

Они сели. Она долго не могла прикурить от его зажигалки, хотя особого ветра тут не было. И Погорелов, не спрашивая, сам прикурил ей сигарету, протянул. Она спокойно затянулась после его губ, выпустила дым и сказала:

— Года три не курила. Да и прежде так, от случая к случаю. А теперь вот уже вторую подряд курю.

Он был польщен. Промолчал.

...Дальше им попалась на пути «Rozhledna Hamelika».

Высокая, грубой каменной кладки с узкими глубокими бойницами башня и остатки полуразрушенной каменной стены с аркой ворот. Эти развалины были здесь так уместны...

Погорелов прочитал вслух заглавие на информационном щите, стараясь выговаривать слова «по-чешски», и, по-мальчишески гордясь собой, быстро перевел ей:

— Наблюдательная башня?

Скромно спросил:

— Так?

Она не ответила. Прошла под аркой, остановилась у низкого входа в башню. Погорелов прошел вслед. Он понимал, что она слышала его вопрос, видел, что не ответила специально. Но не сообразил остановиться. И он снова начал:

— «Rozhledna» — это понятно: чтобы разглядывать. А «Hamelika» значит по-чешски: башня...

Его провожатая как-то раздраженно дернула шеей и сухо сказала ему:

— Вы не правы.

Погорелов даже обиделся:

— А вы знаете чешский язык?

— Нет, — было видно, что она справилась с раздражением, говорила ровно, но совсем без интонаций. — Там, на Schield'e, на щите, по-немецки написано «Aussichtsturm Hamelika». Наблюдательная башня по-немецки одно слово: «Aussichtsturm». А «Hamelika» значит, как я понимаю, здесь какое-то название, имя собственное...

Она поставила его на место! И, что самое обидное, не специально... автоматически (как Верка, ночью).

Погорелов молча развернулся и решительно зашагал обратно под арку. Она со своей улыбкой, теперь еще сильнее обидевшей его, посмотрела ему вслед. Он вернулся тихим... Виногато, не глядя на нее, сказал:

— Вы правы. Похоже, эта «Rozhledna» по-чешски в одно слово — «наблюдательная башня». Это не прилагательное... Пойдемте дальше.

— А подниматься не будете?

— Нет.

Погорелов, хоть и не владел чешским языком, все же разобрал на щите, что эта башня «была построена в 1876 году в стиле романтических руин». Эти романтические руины жестоко убили в нем остатки прежнего настроения.

— Нет, — повторил Погорелов. — Новодел.

И тут она бросила на него быстрый взгляд. И в это мгновение вся его злость, обида исчезли, как не было. Ему снова стало хорошо. Он даже смутился, засмеялся, махнул виновато рукой:

— Впрочем... — и, наклонившись, пролез в дверной проем. Он тяжело поднимался по крутым ступеням каменной винтовой лестницы («более ста» было написано на щите), а она за ним. «Она здесь наверняка была уже не раз, — думал Погорелов. — Если снова поднимается, значит, там есть что увидеть».

Но ничего особенного он наверху не увидел. Снова город, светлое пятнышко. Дальше. Меньше. И много шире — холмы, холмы. Мохнато поросшие темно-зеленым лесом волны. «На холмах Грузии...», — сразу пришло ему в голову.

А она — Погорелов все время старался незаметно смотреть на нее краем глаза — не смотрела вдаль. Перегнулась и пристально глядела куда-то вниз. Он тоже глянул. Ничего особо интересного: густая, беспросветная масса деревьев. Только и можно различить, что освещенные солнцем верхушки елок торчат острыми копьями. Ну, еще на одной совсем рядом, под ногами, гроздь жирно-коричневых шишек, как бананы... И на всякий случай Погорелов уставился на эти огромные шишки.

Когда спустились, она повела его дальше по дорожке. Но теперь шла рядом и заговорила первая. Пристально посмотрела прямо ему в глаза, точно испытывая, спросила:

— Красиво?

Он почувствовал подвох в этом, таком естественном на экскурсии, вопросе. Как можно многозначительнее сказал:

— Красиво-то красиво...

— Но совсем не та красота, что там, — быстро произнесла она. Подсказала: — Где крыши.

Погорелову показалось, что он ее понял.

— Вообще, я бы это, — он показал пальцем вниз, под ноги, как бы возвращаясь на смотровую площадку башни, — не назвал красотой. Там люди придумали. Придумали и сделали. Вписали специально этот город в то, что здесь было всегда. В природу, что ли... Искусственное разместили в естественном так, чтобы было красиво. Вообще красота, по-моему, чисто человеческое, искусственное понятие. А природа, ну то, что естественное... оно не красиво и не безобразно.

Пошлая поговорка «Что естественно, то не безобразно» чуть не вырвалась у него сама собой. Но он вовремя поймал на себе женский быстрый взгляд. Погорелов понял, что ей не нравится, что он объясняет. Он спохватился и рассмеялся:

— Извините. Сам называю такое «умничаньем». И страшно не люблю, когда другие умничают. А тут разошелся.

Однако ему очень хотелось продолжить умничать. Он понимал, что говорит мысли не оригинальные, уже до него высказанные. Но он так давно не разговаривал о высоких материях. Он снова вспомнил свои прогулки с Артуром и его собаками.

Она снисходительно слушала, пока Погорелов говорил. Но Погорелов чувствовал, что не сдал какой-то экзамен. И ощущал это обидное снисхождение. Ему было жалко себя.

За разговором они вышли на опушку. Здесь холм резко уходил вниз, а тропа по его краю заворачивала влево и снова уходила в лес. Склон холма был голый, только редкие кусты и хилые уже совсем без листьев деревья. А там, внизу, у подножия холма белел маленький каменный домик.

Кусты и деревья дурнолесья, точно с разгона сбежавшие по склону холма, густо обступили его полуразрушенные стены, почти скрыли их под собой. Крыши на домике уже не было. Но кирпичная труба еще жалко тянулась вверх. Погорелов вспомнил, как однажды они гуляли с Артуром в зоне отчуждения станции на берегу озера. И им попался такой же, почти исчезнувший в зарослях ольхи домик. Правда, деревянный, и серые бревна его стен уже почти сгнили. Так же труба торчала. Артур тогда сказал: «Очаг сопротивляется еще». Погорелов тогда хотел блеснуть остроумием: «Очаг сопротивления». Ему и сейчас снова стало стыдно, зато теперь он мог повторить все, что тогда говорил Артур:

— А ведь был когда-то человек, который строил этот дом. Представляете его? Кладет стены. Гвозди какие-то заколачивает... Печку с трубой поставил. А теперь вот, развалины одни. Сколько лет люди в этом доме жили? Как жили? Почему жизнь здесь закончилась? Мне все это неважно. Просто всегда вспоминаю простого человека, который гвозди тогда заколачивал. Пока стоит еще труба — он как бы есть. Пусть и без имени, без какой-то конкретной судьбы. Просто человек. Вот кусты эти заросли... совсем уже одолели, но очаг еще сопротивляется. И я того человека еще могу вспоминать.

Погорелов взглянул на женщину. Она тихо его слушала. Потом повторила:

— Очаг сопротивляется еще. Да... Очаг. Тепло. Даже и не надежда уже.

Она не для него говорила. Погорелову вдруг стало неловко. Он хотел сказать ей что-нибудь пустое, легкое, чтобы увести ее. Но надо же, что именно в этот момент чертов остеохондроз, про который он уже забыл, снова больно прострелил под левой лопаткой. Он сбился с мысли. Но женщина сама сказала:

— Ну, пойдемте уже от этих романтических руин. Тут совсем близко ваши ясени.

Эти ясени давно уже были Погорелову не интересны.

— Тогда ведите меня туда скорее! — подчеркнуто театрально воскликнул он.

Стараясь, чтобы она ничего не заметила, Погорелов отстал на пару шагов, на ходу растирая под пальто левую сторону груди. Действительно, довольно скоро они подошли к каким-то высоким деревьям, стоявшим на большой поляне отдельной группой.

9.

— Ну, вот они. Любуйтесь!

— Да ну... Какие это ясени? — Погорелов сказал это с нарочито подчеркнутым разочарованием, сделал соответствующую физиономию. И тут же рассмеялся вслед за своей спутницей. — Это не ясени. Это рябины какие-то переросшие.

Хоть он и придурился, но, действительно, был разочарован. Серые ребристые стволы этих деревьев напоминали корку засохшей грязи. Листья были, на самом деле, как у рябины... Она, наверное, почувствовала. Тактично утешила его:

— Может быть, такое название из-за древесины?

— А я думал, что вы все про деревья знаете.

— Ну, я же не дендролог. Так — читала немного для себя.

— А я вот, если бы столько знал про деревья, соврал бы, что дендролог. Загадочная профессия... — Погорелов понимал, что с ясениями закончилось. Ему очень нужно было срочно придумать что-то новое. Он остро чувствовал, что, отведя его обратно в город, эта женщина может просто уйти.

И, точно подтверждая его мысли, она сказала:

— Отсюда, чтобы вернуться, есть короткая дорога. Минут десять всего займет.

Но ему все же везло в этот день! Невольно взглянув на часы, Погорелов от радости чуть было все не испортил. Но справился. И довольно правдоподобно изобразил искреннейшее огорчение:

— Ну вот! — воскликнул он. — Это я виноват. Такой идиот!

— Что такое? Случилось что-то? — она, похоже, купилась.

— Я лишил вас обеда. Вот, — он постучал ногтем указательного пальца по стеклу своих часов. — Я лишил вас своим глупым любопытством обеда.

— Ну, насчет обеда можете не расстраиваться, — она даже махнула рукой. — Я на обед не хожу. У меня даже и не оплачено в путевке. Только завтрак и ужин. Или, — она улыбнулась, — вы голодны?

— Голоден, конечно! Но это не важно. Меня совесть загрызет, если я вас не накормлю. Уж пожалуйста! Говорите, где здесь сейчас можно пообедать. Любой хороший ресторан называйте. И идем туда немедленно!

Погорелов видел, что она раздумывает. И ободрился:

— Лучше соглашайтесь. У вас просто нет выхода. Тут классический случай — легче со мной согласиться, чем объяснить, что не хотите.

— Ну, уж, объяснить-то я всегда смогу, — она посмотрела ему в глаза, и он понял, что так объяснит, что ему и сказать будет нечего. Но он понял еще в этом взгляде и то, что она решает сейчас. Решила — узнал он, точно камень с души свалился. Сказала:

— Хорошо. Пойдемте обедать. Только вот...

— Что? — быстро переспросил Погорелов. Он, действительно, испугался, что она передумает. Но вышло еще и лучше, чем он представлял.

Она сказала, что в это время что-нибудь съесть можно только в кафе, что-нибудь легкое. Рестораны откроются позже. («Хорошо живут», — подумал Погорелов). Но если он не устал от ходьбы, есть в Мариенбаде одно место. Но это далеко, с другой стороны.

— Я все равно туда сегодня собиралась.

— Ну, так пойдем! — бодро воскликнул Погорелов.

Она улыбнулась (ох, уж эти уголки губ!). Сказала:

— Если в ресторан, то еще рано. Я же говорила вам, что вечером в рестораны идти надо.

— Но вечером-то вы меня возьмете с собой? — засмеялся и Погорелов, как будто забыл, что это он предлагал ресторан.

— Я вам туда дорогу покажу, — она легко подхватила его тон.

Потом сообщила серьезно:

— Мне надо сначала сходить к источнику за водой. А в половине шестого ждите меня на ресепшен. Хорошо?

— А можно я с вами пойду? Сейчас.

— Идите. Если... не устали

Они спустились в город. Снова все вокруг было залито золотым светом. Но к этому часу стало свежее, Погорелов остался в пальто. Когда подошли к курзалу, она сказала:

— Мне сюда надо зайти, воды выпить. Вам, наверное, тоже прописали?

— Нет, — соврал он. — Я брал путевку без лечения.

— Тогда я быстро. Только бутылочку свою наполню.

Погорелов отошел чуть в сторону, смотрел ей вслед. Странно, но здесь она снова будто стала старше лет на двадцать. Куда-то напрочь исчезло что-то, что так волновало его в ней все это время. Живое женское. Возбуждающее. Но когда она вернулась к нему и просто сказала своим удивительным тихим голосом:



Анатолий Слепков. «Подкидыш», Лев Толстой

— Все! Я готова, — а потом еще и улыбнулась, внутри его разлилась волна возбуждающего тепла.

Выйдя из павильона, Погорелов быстро осмотрелся. Потом молча обогнал свою спутницу и решительно зашагал впереди нее. Она тоже прибавила шаг. Впервые за все время, что они были вместе, она шла за ним. Они ушли с площади напрямик в парк. Прошли мимо каких-то слегка отесанных валунов, оказавшихся, когда подошли поближе, работами современных скульпторов. Мимо вереницы прогулочных карет, где понурые кучера молча курили возле понурых лошадей. Остановился он только, когда она окликнула его:

— А вот он — кровавый бук.

Он обернулся. Она стояла у дерева с зеленой кроной, только кое-где были багрово-фиолетовые листья. Но она сразу объяснила его недоумение:

— Осенью эти кровавые листья опадают у них, только зеленые остаются. А летом их больше...

Но Погорелову не терпелось. Сказал только двусмысленное:

— Понятно, — и снова решительно зашагал вперед.

Наконец, он вырулил к месту, которое высмотрел, пока она была в курзале.

Здесь живой изгородью стояли деревья и густые кусты. И белая скамейка. Здесь не было ни души. Он остановился. Но она просто сказала, поравнявшись с ним:

— Надо дальше пройти... Там проход, — и повела его.

С дорожки узкая песчаная тропинка нырнула в заросли. И через пару шагов деревья и кусты широко расступались. Перед ними был небольшой пруд с работающим фонтаном посередине. Вокруг качались на воде черно-белые утки. На противоположной стороне пруда была устроена терраса над самой водой. Наверное, летом здесь бывало много народу. Сейчас же только какой-то старичок одновременно с ними вышел на террасу, достал из пакета хлеб и стал бросать его в воду. Утки, как по команде, рванули в его сторону. И на том берегу, где были Погорелов и его спутница, не осталось ни единой живой души.

Они сели на скамейку. Солнце еще держалось над самыми верхушками деревьев, заливало скамейку последним теплом. Погорелов посмотрел на солнце. Оно не слепило. Он достал сигареты, не спрашивая, прикурил одну и протянул ей. Она молча взяла и глубоко затянулась, выпустила дым прямо в этот мягкий свет. Дым был голубым. Погорелов прикурил себе. Но его медленная струйка была обычной, белой.

И вдруг (только сейчас!) он понял, что они даже не познакомились. Он помнил, как ее назвала тетка утром за завтраком — Гера. И сейчас никак

не мог сообразить: от какого же имени могло происходить это сокращение? Перебирал варианты и не мог остановиться на чем-то. Русские имена он сразу отбрасывал. А немецкие, которые знал, — ни одно не подходило. Он повторял их про себя уже по которому кругу и постоянно застревал на Гертруде. Это было — дико. И он уже отчаялся, когда вдруг само по себе появилось имя Герта. Погорелов сразу понял: оно! И он, довольный собой, откинулся на спинку скамейки. И в тот же миг догоревшая сигарета обожгла ему пальцы. Он даже не заметил, что довольно долго сидит и молчит!

Погорелов в смущении медленно, не поворачиваясь, скосил глаза на свою спутницу. А она и не смотрела на него. И сигарета в ее пальцах не докурена и до половины. Он засмеялся. Она обернулась к нему. Спросила:

— Что?

— Да вот подумал, что мы с вами такое путешествие вместе совершили, а даже не познакомились.

— Ну, тогда давайте знакомиться, — снова засмеялась. — Надо к ресторану подготовиться. Все же это светское мероприятие... Знакомимся и побежали.

Она встала и протянула ему руку:

— Герта.

«Точно!» — торжествовал Погорелов. Он пожал ее сухую ладошку, ток пробежал по руке.

— Константин, — сказал он. — Костя.

Она не сказала: «Гера». А он не стал спешить. До гостиницы они дошли за десять минут.

10.

Он тщательно выбрился, сбрызнул лицо туалетной водой, надел светлую рубашку, мягкий пиджак и классические джинсы. За пять минут до назначенного времени вышел из номера. Гера уже сидела в кресле внизу и ждала его. Она была в темном синем платье, в плаще и в сапогах. На шее синий же, чуть светлее, шарфик.

Она встала ему навстречу и просто спросила:

— Идем?

Они перешли дорогу, спустились в буковую аллею. Уже меж стройных стволов зажглись фонари. У того же указателя, где утром Погорелов выбрал «Маршрут Гете», Гера повернула влево — под стрелку «Luna-Park».

Погорелов встревожено спросил:

— Туда? Там же эти... боулинги, — он был разочарован.

Гера звонко рассмеялась:

— Нет там никаких боулингов. Это просто ресторан так называется «Луна-Парк». А чем тебе боулинги не нравятся?

Она сама перешла на «ты»! Погорелов торжествовал. Но виду не подал:

— Мода такая сейчас в России... в боулинги на корпоративы ездить.

— Ну, не знаю. Я из России двадцать пять лет назад уехала.

Дорожка вывела их на асфальтовое шоссе, домов здесь уже не было.

— Это длинная дорога, — сказала Гера.

— А у тебя, конечно, как обычно, и короткая есть? — теперь Погорелов засмеялся.

Ему вообще хотелось смеяться по любому поводу.

— Есть короткая. Там кусты высокие и болото, сыро.

— Ну, значит, по длинной пойдем. Не опаздываем же?

Они пошли по обочине шоссе, под фонарями. Дорога поднималась вверх, идти было тяжеловато. Зато разговор у них получался легкий. Погорелов вообще был в приподнятом настроении, ему было весело. Он рассказывал какие-то, неведь откуда припомнившиеся, истории. Гера смеялась искренне, звонко, хоть и негромко.

Без капли алкоголя, что давно уже с ним не бывало, в нем опять пробудилось петушиное настроение. И он знал, что в этом настроении он как-то само собой, естественным образом вдруг становится по-настоящему интересным, остроумным и уверенным в себе. И знал, что женщины это чувствуют.

Она называла его Костей. Он говорил ей: «Гера», и был рад, что днем сдержался, когда «знакомились». И она ни слова не сказала, что он называл ее именем, которого она ему не говорила.

Между делом он узнал, что она из депортированных немцев. Что переехала на ПМЖ в Германию в самом начале девяностых. Что замужем уже сорок лет. Просто — как про обстоятельство — сказала:

— Официально, для налоговой службы, живу на содержании мужа. В Союзе он был художником. А теперь работает на каком-то заводе, какая-то у него рабочая профессия, не знаю толком...

Но такого, чего-то более или менее серьезного, в их разговорах было мало. Больше смеялись. Да и говорил в основном Погорелов. Гера смеялась.

Вдруг все закончилось. Без какой-либо понятной ему причины она резко прибавила шаг и замолчала. Погорелов еще что-то по инерции весело говорил. Но Гера больше не произнесла ни слова.

Только когда подошли к ресторану, попросила Погорелова:

— Ты заходи внутрь, займи столик.

— А ты? — он попытался все вернуть. — Бросаешь меня?

— Да у меня тут свой ритуал, — она объясняла ему неохотно, он чувствовал. — Каждый раз перед отъездом прихожу сюда. Обычно днем, когда светло. Там за домом такая рощица. А в ней ручеек и мостик. Когда впервые в Мариенбаде была, случайно нашла это место. Стояла на мостике и задумала, чтобы снова приехать...

— А теперь вот, опять же из-за меня, тебе придется в темноте, — ему очень хотелось, чтобы все снова стало по-прежнему. — Считаю своим долгом сопроводить!

Она просто шагнула в темноту.

За деревьями слышно было медленное журчание воды. Они поднялись на выгнутый аркой мостик. И тут Гера ухватила его за рукав:

— Тише!

Ничего не понимая, Погорелов встал, как вкопанный.

— Гляди... там, — прошептала Гера.

Там — метрах в десяти — под деревьями на скамейке сидели мужчина и женщина. Свет неяркого фонаря не доставал до мостика, где замерли Гера и Погорелов. Но его было вполне достаточно, чтобы хорошо рассмотреть пару на скамейке. Мужчина и женщина, пожилые.

Мужчина, вынув одну руку из рукава, широко откинул полу своего пальто, чтобы женщине не сидеть на сырой скамейке. Она прильнула к нему спиной, запрокинув голову на его плечо, и двумя руками крепко держала у себя на груди руку, которой он обнимал ее. В другой руке у него была незажженная сигарета. И как-то сразу было понятно, что сидят они так уже долго. Они не смотрели друг на друга...

— Пойдем обратно, — дрогнувшим голосом прошептала Гера.

Когда немного отошли, Погорелов тоже прошептал:

— Красивая пара.

Но на его счастье Гера, похоже, его не слушала. Целое, такое длинное мгновение она просто молчала.

А Погорелов пытался представить себя на месте того мужчины на скамейке. И представил... Только, как ни старался увидеть на месте той женщины хоть одну из тех, кого знал в своей жизни, сидел он там в одиночестве. И ему стало обидно за себя.

Через мгновение она сказала:

— Это не красота. Это правда...

Он не понял, но, уже однажды ощутив сегодня ее снисхождение, благоразумно промолчал. Распечатав новую пачку, Погорелов вытащил две сигареты. Он хотел прикурить, но Гера остановила его:

— Внутри покурим, здесь уже совсем холодно.

11.

Они вошли. Зальчик был небольшой — несколько крохотных столиков наверху огорожены деревянной балюстрадой; внизу (всего несколько ступенек) в три ряда еще около десятка столиков побольше. Все подчеркнуто простое, в грубоватом европейском деревенском стиле. Но, несмотря на тесноту, прямо под балюстрадой оставлен свободным пятчочек для танцев. Слева выгорожена совсем уж крохотная площадка, на которой разместился человек-оркестр.

Седой, несколько одутловатый мужчина в клетчатом пиджаке и с платком на шее, аккомпанируя себе на электрических клавишах, пел довольно приятным голосом в микрофон какую-то грустную немецкую песню. На полу лежали рядом саксофон и что-то вроде флейты. Народу было немного. И, возможно, Погорелов и Гера были здесь самыми молодыми.

Они сели наверху, где все столики были свободны. Оба их пальто Погорелов, не найдя рядом вешалки, положил на какую-то скамейку у стены. К ним подошла дородная официантка в белой крестьянской кофте, цветастой длинной юбке и фартуке, протянула увесистые папки меню, что-то спросила по-немецки. Гера ей ответила, и официантка ушла.

От давешнего веселого настроения теперь у Погорелова не осталось и следа. Он искренне не понимал — что изменилось? Остро чувствовал, что Гера теперь жалеет, что взяла его с собой. Его давешняя легкая обида, найдя виновницу, перерастала в злость. «Да она сама не знает, чего ей надо, — думал Погорелов. — Может, я тоже жалею, что с ней связался... Но я же этого не показываю».

Он сделал заказ. Официантка о чем-то удивленно переспросила, Гера ей ответила. «Решила за меня», — зло подумал Погорелов. Как обычно, сначала принесли напитки. Гере большой бокал белого сухого вина, ему сто пятьдесят водки в таком же точно бокале.

— Что за дурость? — буркнул Погорелов.

Гера сразу отпила довольно большой глоток. Погорелов почти ополовинил свой бокал. Он выкурил сигарету, а заказ все не несли. Гера ковыряла салат, время от времени отпивая из бокала. Когда, наконец, принесли и его мясо, она попросила у официантки еще вина.

Погорелов заметил, что Гера опьянела. И ему водка — на голодный желудок — ударила поначалу в голову, но быстро стекла и разлилась медленным успокаивающим теплом в животе.

Он быстро поглощал свинину с квашеной капустой, и, время от времени поднимая над тарелками бокал, кивком приглашал Геру выпить. Она пила. Погорелов делал маленькие глотки, она — крупные. За это время музыкант сыграл и спел еще несколько вещей. То просто аккомпа-

нируя себе на своем тонконогом инструменте, то, потыкав в компьютер и выдав лихое соло на саксофоне, пел под фонограмму. Наконец он заиграл какой-то вальс. Возможно, это был его коронный номер. Он даже прикрыл глаза, и руки его с большим воодушевлением порхали над клавишами. Голос наполнился нежнейшим романтизмом.

Из-за дальнего столика вышел стройный седой мужчина. Он галантно предложил руку женщине, с которой сидел. Благородно отступил назад. Женщина пошла впереди него пружинистой походкой. Такая же прямая, осанистая. И, следуя ее легкой походке, соблазнительно скользили по бедрам складки лилового бархатного платья. Ее седина была красиво уложена в высокую прическу середины прошлого века. Пара закружилась в вальсе. На крохотной площадке, прямо под Погореловым, они танцевали так мастерски, что он видел только нежность и страсть, не замечая мастерства.

Погорелов снова попытался все вернуть.

— Посмотри, — воскликнул он, — как они танцуют! Они ведь постарше нас... А сколько в них любви и нежности осталось друг к другу. Тоже красивая пара. Как те...

Но она только громко рассмеялась ему в ответ.

— Они... они же... — она не могла выговорить дальше из-за нового приступа смеха. Потом справилась с собой. — Они наемные танцоры. Понимаешь? Они публику провоцируют.

Погорелов почувствовал обиду и злость. Он быстро рассчитался, помог Гере всунуть руки в рукава ее пальто, и вывел ее из ресторана.

То ли, как вчера, прошел дождь, то ли ветер стал таким сырым — Погорелов сразу озяб. А Гера даже не застегнула пальто. Она шаталась! Но когда Погорелов в свете фонаря увидел ее глаза, понял: ничто никуда не делось, он по-прежнему ведомый. А Гера «послушна» ему только потому, что он делает как раз то, что она сейчас и хочет.

Точно в подтверждение его мыслей, она сказала:

— Короткой дорогой пойдем. Я покажу.

И все же опьянение сказывалось. Она решительно пошла впереди него в крошечной темноте по хлюпающей под ногами тропинке через какие-то то ли кусты, то ли такие хлесткие деревья... Наконец, они очутились в непроходимой луже. Но Гера не растерялась и не менее решительно велела ему:

— Слышишь, там — справа — машины? Там дорога. Веди меня в ту сторону.

Погорелов повел. Гера, вцепившись сзади в его пальто, шла молча. А когда они выбрались на шоссе, она заговорила совершенно трезвым голосом:

— Замерзла. Промокла. Пошли быстрее...

«Да этого просто быть не может!» Трезвая она его решительно не устраивала. И как только они вышли в город, он заявил:

— Чтобы не простыть, надо выпить. Где сейчас можно купить?

Гера внимательно посмотрела на него. Мгновение помолчав, ответила:

— Только где-нибудь в баре.

— Ты знаешь, где ближе?

— Вон в том отеле.

— Пошли.

— Дорого там. Очень дорого, — она это сказала без всякого выражения, просто как факт. Но он бросил на нее такой взгляд, что Гера сразу правильно поняла. — Ах, да... Ты же из России. Тоже...

Она осталась у крыльца, а он быстро вбежал по ступеням и вошел в шикарный холл пятизвездочного отеля. Бар располагался слева от входа. Среди пустых столиков посередине зала сидела шумная русская компания. Больше никого не было. Погорелов стремительно подошел к стойке. Худосочный юноша — бармен благодарно смотрел на него. Однако когда Погорелов заговорил по-русски, тот нахмурился и принялся притворяться, что не понимает языка. Но Погорелов был злой:

— Мне. Надо. Бутылка. Вино. Ай. Вонт. А. Баттл. Вайн.

Бармен уставился ошумело. Но, поняв, что ему сейчас повторят фразу, а если надо будут повторять долго, зло пробурчал:

— Надо садиться за столиком. Я понесу вам.

— Не надо «понести». Мне надо с собой взять. Понимаешь? Туда, — Погорелов резко махнул рукой в темное окно и в отражении понравился себе.

— Не можно! — злорадно выдал ему бармен. — Только в баре. Так правильно.

— Сколько (Погорелов вспомнил) доз в бутылке?

— Три раз по десять, — все больше нагнул юноша.

— Сколько одна доза стоит?

— Чего доза?

— Вон того белого вина.

Бармен обернулся, посмотрел на бутылку, в которую Погорелов показывал пальцем, сказал после раздумья решительно:

— Один евро.

Погорелов выложил на стойку пятьдесят евро. Юноша сглотнул, спрятал коричневую бумажку в карман. Потом достал бутылку. И вдруг быстро и ловко вытащил штопор и откупорил ее. С довольной физиономией, глядя прямо в глаза Погорелову, протянул бутылку. Тот молча схватил ее и метнулся к выходу.

Гера съежилась и постукивала зубами. Увидев Погорелова, она, не дожидаясь, развернулась и почти побежала. Он, заткнув пальцем горлышко бутылки, шел за ней быстрыми шагами, стараясь не отстать.

12.

В номере она скинула пальто прямо на пол. Следом — сапоги. Пока Погорелов раздевался и разулся сам, потом убирал ее вещи, Гера скрылась в ванной. Оттуда крикнула ему:

— Ты пока вино разлей. Яблоко еще было...

Правда, Погорелов нашел только один стакан. Огромное зеленое яблоко лежало на подушке. На тумбочке, рядом с кроватью, лежали два ржавых огрызка. Наполнив стакан почти до краев, он сел в кресло и осмотрел номер. Такой же точно, как его. Две сдвинутые вместе кровати занимали почти все пространство. На одной смятая постель. На другой — аккуратно заправленной — раскрыт огромный чемодан.

Шум душа в ванной прекратился очень быстро, через несколько минут всего. «Только подмылась, — понял Погорелов. — А потом, когда меня выводит, займется собой». Но сейчас, в тепле, злость его снова привычно растворилась. Он чувствовал только усталость. Подумал: «И чего суетился целый день?». Снова покалывало в левом боку. Да начало проходить действие алкоголя — заболела голова.

Гера вышла из ванной с сухими волосами и с косметикой на ресницах и веках. Но белый гостиничный махровый халат был надет на голое тело. Она подошла к столу, взяла в руку стакан и снова сделала большой глоток. Потом спросила:

— А себе почему не налил?

— Стакана не нашел, — буркнул Погорелов.

— В ванной же! Забыла... Возьми там.

— Да я сейчас из горлышка, — Погорелов встал, подошел к столу и взял бутылку.

Они чокнулись и сделали по глотку. Он стоял рядом с Герой так близко, что ясно почувствовал тот легкий аромат, который невозможно спутать ни с каким другим, аромат влажного женского возбуждения. Он сделал еще один решительный глоток из горлышка, Гера допила остатки вина в стакане. Погорелов обнял ее, притянул к себе, хотел поцеловать. Но Гера резко наклонила голову так, что он уткнулся губами куда-то в ее затылок.

— В душ иди, — велела она. — Быстрее!

Когда голый Погорелов, на ходу вытираясь большим полотенцем, вернулся обратно, Гера сидела на кровати со стаканом в руке, бутылка стояла рядом на тумбочке. Он было сделал шаг к ней, но пришлось несколько

мгновений подождать, пока она выпьет и поставит стакан. Гера подняла руку, как бы останавливая его. Потом опустила, похлопала ладошкой по постели, указывая ему место рядом с собой:

— Садись.

И с пьяной серьезностью выговаривая слова, спросила:

— Ты мне говорил сегодня? Что, — сосредоточенно помолчала какое-то время, — что служил в армии в Белозерске.

Погорелов, действительно, по пути в ресторан что-то рассказывал и про себя. Вспомнил теперь, что она тогда еще сказала: «Знаю, где это». Он спросил: «Потому что там атомная станция?». А она ответила: «Нет. Так знаю». И все... А потом замолчала.

Он не понимал, чего ради она сейчас расспрашивает его. Эрекция не ослабевала, кровь все сильнее билась в виски. Он снова попытался притянуть ее к себе. Но она, дернув плечом, скинула его руку. Он понял, что проще ответить:

— Да. Служил там. И что?

— И еще говорил. Раньше. Что из Н*** призывался.

— Говорил.

— А в каком году?

«Как тебя обратно-то переключить? — вновь разозлившись, думал Погорелов. — Заклинило что ли...». Ответил, стараясь быть спокойным:

— В восьмидесятом.

И тут она спросила то, чего он никак не ждал:

— А ты... ну, случайно... не знал, — голос ее дрогнул. — Артура? Обермайера?

Погорелов забыл, что он — голый — сейчас в постели с женщиной. Эрекции как не бывало. Только в висках стучит еще сильнее. Выговорил:

— Знал. Хорошо знал. Мы в одной роте служили. И потом...

— Ты остался, а он уехал в Ленинград? — она опять протрезвела в один момент.

— Почему в Ленинград? Он тоже остался в Белозерске.

— Он должен был уехать в Ленинград, — заявила Гера упрямо и зло.

И Погорелов уже не прятал свою злость:

— Он остался. В Белозерске.

Она уперлась ему прямо в глаза холодным, обжигающим взглядом. Долго смотрела. Спросила:

— Так, ... твою мать!!! Где он?

Грязное ругательство в устах этой женщины было невозможно искренним. Оно выплеснулось из таких глубин, разом разметав вековые условности цивилизации и культуры.

Погорелов до боли в животе перепугался, стал объяснять:

— Ты же помнишь? Ну, в конце девяностых в России дома взрывали? Чеченские террористы...

Гера нетерпеливо его оборвала:

— Я тогда уже в Германии жила. Может, и слышала что-то по телевизору. Не помню. Я политикой не интересовалась никогда.

— В девяносто девятом году в Белозерске они взорвали двенадцатитажный дом. Погибло больше ста человек. И Артур там погиб. Пятнадцать лет назад...

Он не смотрел на нее. Даже не сразу услышал, как она упала на пол. А когда посмотрел, увидел этот нечеловеческий вопль.

И страх его стал ужасом.

Гера лежала на полу, скрюченная судорогой. Шея ее неестественно вывернулась. И пустые глаза уставились прямо в душу Погорелова. Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме этого леденящего взгляда. Ничего, кроме боли. Чистой, без малейшей примеси чего бы то ни было — боли!

Гера не издала ни одного звука. И этот безмолвный вопль был страшнее всего.

Сколько все это длилось, Погорелов не понимал. Но вот Гера застонала, пошевелилась... Она, тяжело опираясь на руки, поднялась на четвереньки, низко опустила голову. Спутанные волосы закрыли ей лицо. Этого взгляда больше не было! И ужас сменился паникой. Погорелову ударило в голову, что Гера сейчас умрет. «А я тут — голый! А я тут — голый!» Сердце его колотилось, разбивая виски, глаза готовы были лопнуть. Он бочком проскользнул мимо женщины.

Наспех, не попадая трясущимся телом в одежду, он кое-как оделся. Перед дверью Погорелова настиг незнакомый старушечий голос:

— Не бойся. Я не могу умереть. Со мной его сын.

У себя в номере Погорелов тяжело опустился на кровать.

Сердце его, наконец, упало на место. В левую сторону груди плеснуло пятком. Потом боль разом пропала.

Погорелов завалился набок. Он умер.



Светлана Волкова

Побришь Добролюбова

Светлана Волкова. Прозаик, переводчик, сценарист. Живет в Санкт-Петербурге. Закончила филологический факультет СПбГУ, специалист по романо-германской филологии. Печаталась в изданиях: «Октябрь», «Нева», «Аврора» и других, альманахах и групповых сборниках: «Молодой Петербург», «Невская Перспектива», «Красота на кончиках мыслей». Лауреат международного конкурса им. Сергея Михалкова (2016), премии «Рукопись года» (2015), финалист конкурса Книгуру (2015), золотой призер конкурса Русский Stil (Германия, 2014 и 2015), серебряный призер конкурса прозы «За далью даль» им. А. Т. Твардовского (2015), дипломант Гоголевской премии (2016). Автор изданного романа.

Предчувствие любви жило в Люське Митрофановой всегда и таилось где-то внутри — там, где у птиц бывает зоб, а у человека щемит иногда так сильно, что хочется заесть чем-нибудь, желательно неким.

Во вторник, 27 апреля 1976 года, на уроке русского языка Люська поняла, что предчувствие это вот-вот переполнит ее, сбежит из тела через кожу, как мамина дрожжевая опара для блинов. Вот уже целых три дня, как ей исполнилось тринадцать, и что-то непременно должно произойти, что-то хорошее. Но пока не происходило. Вася Кошкин, чей затылок через парту впереди Люська поедала влюбленными глазами с начала последнего четверти, как будто не замечал ее вообще. И даже не оборачивался. Тот раз, когда она, дотянувшись, намеренно ткнула его под лопатку линейкой, не считается.

А ведь Джульетте было тоже тринадцать, когда она закрутила с Ромео!

Люська вздохнула и посмотрела в окно. Деревья окурились зеленой дымкой, через пару недель зацветет черемуха, а еще через месяц закончится шестой класс! Подумать только, в следующем году ей будет четырнадцать! А мама никак не хочет понять, что дочка уже выросла, заставляет донашивать за старшей сестрой платья с воланчиками и перелицованное пальто, а после программы «Время» загоняет спать. А сама-то, сама, окон-

чив семилетку, пошла работать на фабрику, жила в общежитии и наверняка с мальчишками вовсю крутила. То есть, фактически тогда она была на год старше, чем дочь сейчас.

Люська снова вздохнула, пошевелила носом в сторону форточки и втянула ноздрями чуть ощутимый огуречный запах свежей балтийской корюшки, которым Ленинград неизменно наполнялся в конце апреля. Откуда веет сегодня: из столовой или с лотка за углом?

— Митрофанова! Опять ворон считаешь? — прогремел голос Галины Борисовны.

Люська вздрогнула, уткнулась в тетрадь и со старательным видом принялась перечитывать два абзаца написанного текста. На парте лежал учебник, открытый на картине Татьяны Яблонской «Утро». Весь класс пытался усердно пытаться за двадцать минут, оставшиеся до конца урока, вместить в сочинение свои ощущения от залитой солнцем комнаты и девочки в трусах и майке, вдохновенно делающей зарядку.

Люська тарасилась на девочку, на ее тонкие руки, на пионерскую форму, аккуратно сложенную на стуле, и никак не могла понять, что же написать еще. Она сосредоточенно морщила лоб и вгрызалась зубами в пластмассовый колпачок шариковой ручки — синий, с белесыми обглоданными боками, со свистом высасывая из него последние соки, будто он был соленым хвостиком вяленого леща. Соседка по парте отличница Зюкина исписала уже страницы четыре. «Скатать» было нереально: Зюкина ревниво отгораживалась от мира рукавом, а пелерина ее школьного фартука занавешивала от взгляда самое нужное.

Люська шмыгнула носом и вывела в тетради:

«Утренняя пионерка вытянулась на встречу новому дню будто приветствуя светлое завтра и счастье всего советского народа».

Подумала — и разбросала запятые наобум.

Дальше с фантазией было напряженно. Картина ей нравилась: глядя на залитую солнцем нарисованную комнату, Люська представляла летние каникулы, дачную тягучую истому в деревне, ленивый полдень с книжкой в гамаке и соседских мальчишек (а среди них Женьку и, пожалуй, Пашку). Но мысли эти никак в сочинение было не вместить.

Люська снова вздохнула и опять посмотрела в окно. Воробьи летели, казалось, прямо на нее, но она знала: птицы любят посидеть на круглых медальонах, выступающих на кирпичном фасаде школы. В медальонах этих — там, где гнездились бетонные профили писателей, — собиралось иногда несколько стай мелких пичуг; они галдели, отвлекая школьников от занятий, и Люське в такие моменты невероятно хотелось стать птицей. Только не коричнево-серой, заурядной, как воробей, а какой-нибудь такой... этакой...

...Мысли о птицах прервала группа коротко стриженных новобранцев, в одинаковых штанах и белых майках, бежавшая кросс (или что там у них — марш-бросок?) мимо школы прямо по проезжей части. Шаркая тяжелыми сапожищами, солдатики огибали припаркованный грузовичок и бетономешалку, а замыкающий с красным флажком покрутил головой и посмотрел на школьные окна. Сердце замерло. Люська хотела было помахать ему рукой, даже привстала, навалилась на подоконник, провожая взглядом отряд, исчезающий за поворотом. Крышка парты предательски хлопнула, задетая коленкой, и рядом возникла зачехленная в строгий темно-зеленый костюм фигура Галины Борисовны.

— Митрофанова! Что ты все высматриваешь?

— Воробушки... — промямлила Люська. В классе загоготали.

У Галины Борисовны были глаза, как у мороженого хека по тридцать копеек кило, и явное косоглазие, так что Люська никогда не могла понять, смотрит ли учительница на нее или куда-то в другое место. Васька Кошкин однажды сказал: «Вот бы мне так. Все думают, что ты смотришь на доску, а ты — хоп и списываешь!»

— Митрофанова! Что задумалась?

— Галин-Бориссна, я все написала.

— Как все? — она посмотрела в узел Люскиного пионерского галстука, и Люська поняла, что в этот момент та смотрит ей в тетрадь. — Всего полстраницы! А ошибок-то! «Навстречу» вместе пишется, мы же учили это! Стыдобище!

Люська соединила жирной черточкой «на» и «встречу».

— Не поможет. А «утренняя» — сколько «эн» ставишь? Сколько, я спрашиваю?

— Галина Борисовна, а чего вы ей подсказываете? — Кошкин наконец-то повернулся и посмотрел на Митрофанову. — Так не честно! Мы тоже хотим. А Митрофанову одно предложение все равно не спасет. Она неграмотная, как африканский абориген.

Класс снова взорвался смехом.

...Все-таки он не принц, этот Кошкин! Люська зыркнула на него исподлобья и решила разлюбить.

— Митрофанова, полстраницы не приму, — гудела Галина Борисовна.

— Так что писать-то?

— Подумай сама. Посмотри на девочку. Она почти твоя ровесница. Что ее ждет? Кем будет, когда она вырастет?

— Откуда я знаю, кем она будет! — возмутилась Люська.

— Комсомолкой, комсомолкой она будет! — зашептала отличница Зюкина.

Галина Борисовна заулыбалась, поправила крыло на фартуке Зюкиной и, кивнув, прошествовала к следующей парте.

Люська снова уставилась на девочку с картины. Нет, та явно младше. И груди совсем нет, одни прыщики. Люська осторожно потрогала себя под фартуком. Да, по сравнению с этой нарисованной пионеркой у нее самая настоящая грудь! Пусть и размером с мелкую картошку, как у бабы Нюры в деревне.

И зачем писать, что пионерка станет комсомолкой? Это же всем понятно. Люська вцепилась зубами в многострадальный пластмассовый колпачок, от чего стержень ручки ткнулся через прогрызенную дырку ей в язык, и, помедлив, написала:

«Когда девочка вырастет, она станет...»

Рука не повернулась написать «ткачихой». Повариха или швея-мотористка тоже не ложились на перо. Может, парикмахером, как мечтает сама Люська?..

— Учительницей, — высокомерно шепнула Зюкина, заглядывая ей в тетрадку.

— Без твоих подсказок обойдусь! — огрызнулась Люська и закрыла лист промокашкой.

Задумалась, зависла взглядом на своем курносом отражении в немом оконном стекле, и начертала:

«...она станет женщиной, матерью пятерых детишек, как моя мама».

Ну вот и все. О чем еще можно писать на четырех листах, даже размашистым почерком? Люська вытянула шею и заглянула через спину Зинки Малышевой, писавшей из-за близорукости всегда крупными буквами. Прочитав в тетрадке про то, как дружным строем за окном шагают пионерские отряды, распевая «Взвейтесь кострами», Люська вновь уставилась на картину.

«Вот врушка! И ничего подобного тут не нарисовано!»

До конца урока оставалось десять минут. Что еще вместить в сочинение, было вообще не понятно. Голова сама собой повернулась к окну. Там, на улице, возле «Бакалеи», двое дюжих мужчин втаскивали на тротуар пузатую бочку с квасом, ухватив ее за большую черную оглоблю. Бочка напоминала деревенского теленка, которого тащат за веревку в хлев, а тот вытягивает шею, упирается. Люське до смерти захотелось выпить кружечку. Она сглотнула слюну и почувствовала во рту хлебный вкус желтоватой квасной пены, пузырьки, бьющие в нос, и сладкий осадок на языке. А до конца уроков еще так долго ждать!

В классе было тихо, слышно лишь, как Галина Борисовна легонько постукивает носком туфли о ножку стола да одноклассники напряженно сопят от творческого поиска. Птицы все также галдели, одурманенные ве-

сенным теплым днем, а очередь к бочке с квасом выстраивалась прямо на глазах, ежесекундно прирастая новыми пестрыми звеньями. Люська зевнула и захлопнула тетрадь. На зеленой ее обложке, в левом верхнем углу, красовался портрет Добролюбова — косой пробор, маленькие продолговатые очки, толстая нижняя губа. Люська отметила, что каре у него на голове выстрижено неровно, даже со скидкой на примитивную типографскую печать. И не модно это как-то. Вот если бы у него полубокс был или, на худой конец, бобрик... Она мечтательно погладила портрет пальцем. А борода-то борода! Растет прямо из шеи, по контуру подбородка и щек. Как будто отдельно от лица. Люська попыталась представить, как бы подстригла его она сама, и мысли эти приободрили ее и помогли напрочь выбросить из головы и сочинение, и недостойного Ваську Кошкина.

Поразмыслив, она пришла к выводу, что Добролюбов наверняка много трудился, раз его напечатали на тетрадке. Поэтому немножко красоты он заслужил.

Вдохновленная внезапной идеей, Люська открыла пластмассовый пенал, выудила оттуда половинку лезвия с вороненой надписью «Нева» и осторожно начала скрести бритвой по портретной добролюбовской бороде. На тетрадке появились маленькие катышки. Она дунула на них, полюбовалась первыми результатами. Выходило очень даже ничего. Чуть-чуть терпения — и все будет, как в лучших парикмахерских!

Люська пыхтела, сосредоточенно выбривая по кругу бороду на несчастном портрете — аккуратно, как профессиональный брадобрей, боясь порезать клиента. Точно так же по воскресеньям она брила отца, у которого тряслись руки после субботней попойки. И так же еще год назад она брила деда, ныне покойного, потому что тот по старости ронял из рук все предметы.

Увлеченная этим занятием, Люська даже не сразу среагировала на горластый звонок. Школьники засуетились, наскоро дописывая сочинение, и муравьиной тропкой поспешили к учительскому столу сдавать тетради.

Добролюбов на портрете изрядно посвежел. Люська с нежностью оглядела плоды своего труда и послала помолодевшему критику воздушный поцелуй.

— Митрофанова! Особое приглашение? — подала сердитый голос Галина Борисовна. — Сдавай работу и марш из класса.

Люська нехотя подошла к столу, сунула тетрадку в середину стопки и, подхватив портфель, счастливая, выбежала в коридор.

Улица сияла от весеннего бесшабашного солнца, и квас за три копейки оказался не менее вкусным, чем она себе его представляла во время урока. Допив кружку и громко фыркнув, как делали все взрослые в очере-

ди, не торопясь стирать желтовато-белые пенные усы над верхней губой, Люська подумала, что тринадцать лет — это самый лучший возраст. Пусть все думают, что ты ребенок, а ты уже большая. И через два года, после восьмого класса, можно пойти учиться на парикмахера и в летние каникулы стричь бабулечек-пенсионерок за пятнадцать копеек в ученической парикмахерской.

Люська увидела вдали старшеклассниц в школьных платьях выше колен и засемила следом. Их крепкие ноги в белых гольфах были предметом Люськиной зависти. Короткие юбки отец носить не разрешал, и плевать ему было, что мода такая, и все вокруг, независимо от возраста, ходят, оголив ляжки. Старшую Люськину сестру, семнадцатилетнюю Маринку, отец от души выпорол за то, что та самовольно укоротила школьное платье, и обозвал так нехорошо, что она поклялась «выпорхнуть замуж» и «улететь из родного гнезда» сразу, как исполнится восемнадцать.

Люська приподняла край платьишка и посмотрела на свои тонкие ноги и выпирающие, как у Буратино, коленки. Отец все равно найдет, за что ей всыпать, даже если она наденет бабкину юбку до щиколоток. Мимо на дребезжащих мопедах промчались парни с длинными волосами и, поравнявшись со старшеклассницами, присвистнули и начали что-то им говорить. Те смеялись, кокетливо отмахивались от ухажеров, пока, наконец, всей компанией не скрылись за углом. Люська развязала узел на пионерском галстуке, спешно сунула его в портфель и, подражая покачивающейся походке старших девчонок, засемила следом. Благо и детский сад, откуда она должна была забрать брата Кирюху, находился в той же стороне, в узеньком дворе Измайловского проспекта.

Она шла и прислушивалась: не затарахтит ли очередной мопед, тайно надеясь, что отсутствие галстука выдаст ее за комсомолку. А комсомолкам, если рассуждать логически, уже можно свистеть с мопедов.

— Митрофанова, ты домой? — раздался рядом знакомый мальчишеский голос.

Витька Курочкин! Черти принесли, как говорит бабушка.

— Отвали, моя черешня! — пропела Люська, даже не подумав повернуть голову.

— Мне в ту же сторону. Я с тобой пойду, ладно?

Витька — она знала это наверняка — был влюблен в нее с первого класса. Мучить его было приятно. Люська упорно игнорировала ухажера, но просыпающаяся в ней женщина нашептывала ей, что кавалерами, даже такими лопухими и невнятными, как Курочкин, разбрасываться не стоит. Пусть будут.

— Мне-то что! Иди на здоровье. Я за Кирюхой в садик, — буркнула Люська, покосившись на Витьку и в который раз подмечая, что росточком

он не вышел. Да и физиономией тоже. Не то, что Васька Кошкин, пропади он пропадом!

— А ты чего галстук сняла?

«Вот пристал!»

— Жарко.

— У тебя квас на губе не высох.

— У тебя самого молоко на губах... — Люська начала сердиться.

До Измайловского шли молча. Люська с досадой подумала, что Курочкин распугает ей всех возможных кавалеров.

— Вить, ну что ты таскаешься за мной?

— Тебе че, жалко?

Такой диалог происходил между ними время от времени, и результат был один и тот же: Люська легонько гнала Курочкина прочь, тот неизменно спрашивал про «жалко», она отвечала, что «жалко у пчелки», и на этом беседа выкручивалась на какую-нибудь другую тему.

— Курочкин, ты про Ромео и Джульетту знаешь?

— Ну.

— Что «ну»? Ты знаешь, что Ромео ради Джульетты сделал?

— На балкон залез.

— И все?! — Люська вытаращила от возмущения глаза.

— Еще подвиги разные совершал.

Люська прибавила шаг. Навязался же этот Курочкин на ее голову!

— Чуда хочется, понимаешь, капустная твоя голова! Чуда!

Витька быстро догнал ее.

— Митрофанова, а хочешь, я ради тебя тоже на балкон залезу?

— Отстань!

— Ну Митрофанова! Не хочешь балкон, тогда подвиг совершу?

— Какой еще подвиг? Я помню, как ты ради меня качели зимой лизнул!

Хватит уже подвигов.

— Да нет, настоящий, — не унимался Витька. — Хочешь?

— Не хочу.

Витька шмыгнул носом и схватил за ручку Люськин портфель. Она рванула его в сторону, с силой пихнув Курочкина локтем. Ручка осталась у нее в руке, портфель — у Витьки.

— Ты дурак, что ли?

— Я понести хотел!

— Это твой подвиг? — оскорбленно двинув плечиком, она гордо зашагала прочь.

Курочкин припустил за Люськой, прижимая ее портфель к животу.

— Я как лучше хотел... Если бы ты не дернула... Ну хочешь, я, правда, че-нить нормальное совершу? Как этот твой Ромео?

Люська молчала.

— Хочешь, я с сарая прыгну?

— Не хочу.

— Хочешь... — Витька сморщил лоб, напряженно думая. — На троллейбусе сзади прокачусь? Целую остановку!

— Нет!

Они уже подходили к садику. Курочкин почесал переносицу, призывая фантазию.

— А хочешь, перед носом у постового милиционера, который на Лермонтовском...

— Вот дите! — перебила его Люська, фыркнув.

— Ну Митрофанова! — взмолился Витька. — Придумай сама! Что ты мучаешь меня, как дура!

Люська посмотрела на скверик у Троицкого собора, куда вывели гулять младшую детсадовскую группу, тяжело вздохнула, картинно закатила глаза и сжалилась:

— Ну хорошо, Курочкин. Давай! Стукнись головой о стену.

Витька, не веря своему счастью, заулыбался во весь рот и со всего маху влетел башкой в выступ ближайшего дома. Оба портфеля — его и «прекрасной дамы» — отлетели в сторону.

— Вот бисый! — выпалила Люська и бросилась к нему.

На лбу Курочкина выступил красный бугорок. Так бывает в мультфильмах — Волк, например, шмякнется обо что-нибудь, и на глазах, как гриб, сразу вырастает шишка. Но чтобы у людей такое...

Люська вытерла носовым платком ссадину на Витькином лбу и отчитала его всеми словами, которыми ругала отца мама, а деда бабушка. Глаза Курочкина светились. Он успокоился и, подняв портфель, торжественно вручил его Люське.

— Ну, я пошел?

— Иди... — растерянно ответила Люська.

Витька помахал ей, и она с грустью подумала, что сама теперь не особо и нужна ему.

Дайте мужчине совершить подвиг во имя прекрасной дамы! И будет он абсолютно счастлив. А большего и не надо. И дамы не надо.

— Курочкин! — крикнула она вслед.

— Че?

— Вообще-то Ромео ради Джульетты помер.

— Да иди ты!

— Чесс-пионерское!

— Митрофанова, я потом помру, ладно? Сегодня «Неуловимые» по телеку!

Воспитательница была похожа на Раневскую в роли мачехи Золушки — такой же величественный нос, фигура и слышимый, наверное, квартала за два низкий педагогический голос.

— Чего так рано его забираешь?

— Мама в баню поведет.

— Не хочу в баню! — орал Кирюха, стуча лопаткой по ограде сквера.

— Тебя никто не спрашивает, — резонно пробасила воспитательница и, властно кивнув головой в сторону калитки, добавила: — Оброс он у вас. Подстричь надобно.

— Подстригем! — радостно выпалила Люська. — Я сама его! Я сама!

— Не хочу! — бычился Кирюха.

Красные первомайские перетяжки и знамена загораживали половину проспекта Москвиной. Предпраздничный нарядный город, казалось, шептал в оба Люськиных уха: весна, весна, надо срочно и по-серьезному влюбиться! Высоко в небе парил самолетик, подтверждая белым росчерком на голубом полотне нехитрую правду — а влюбляться-то не в кого. Люська тащила упирающегося брата за руку и, задирая голову, пыталась прочесть в столбике самолетного следа хоть какой-то намек на первую букву имени суженого. Сегодня на перемене подружка Машка намотала на мизинец снятую с Люськиного платья нитку и авторитетно заявила: «Блондин будет. На букву «Вэ». Потому что три раза обернула».

На «Вэ»... Блондин... У Люськи из белокрысы знакомых на «Вэ» был только Вася Кошкин да Витька Курочкин, но эти не в счет. И еще дворник Влас, но он глухонемой. А больше никого. Неужели все-таки зараза Кошкин?

— Я буду стричься только в шапке! — упорствовал Кирюха, надвигая на лоб вязаный бесформенный чехол с наполовину оторванным помпоном.

— Сними, вспотеешь!

— Не сниму.

— В кого ты такой уродился? — по-взрослому вздохнула Люська, в мыслях уже представляя, что выстрижет ему аккуратный чубчик, как у артиста Збруева.

— А ты с нами в баню пойдешь?

— Я у Машки помоюсь. У нее ванна.

— Я тоже хочу у Машки в ванной! — захныкал Кирюха.

— Обойдешься. Горе ты мое луковое!

Ее луковое горе натянуло шапку по самый нос и начало плеваться. Это означало крайнюю степень Кирюхиного бунта, и Люська уже хотела наподдать ему как следует, но тут они завернули во двор их дома, и шестое чувство подсказало ей: что-то не так.



Анатолий Слепков. Иллюстрация к книге Алексея Леонова «Медовые кладовые», повесть «Сани-самоходы»

У замызганной двери в парадную стояла плоскогрудая, вечно простуженная пионервожатая Саша и беседовала с сестрой Маринкой. Люська машинально прислонилась к холодной стене подворотни, прижимая одной рукой к себе брата и нащупывая пальцами на его лице рот — чтобы не подал ненароком голос. До уха доносились слова Саши и короткие возмущенные Маринкины реплики.

— Как побрила? Портрет?

— Это скандал, — тихо говорила вожатая. — Политика.

— Э-ээ! Ты политику сестренке не шей! — защищала Люську Маринка. — Она же не Маркса с Энгельсом побрила!

— Тсс! — с ужасом прошипела Саша, озираясь по сторонам. — Типун тебе на язык, Митрофанова! Мать с отцом в школу вызывают. Поди, передай. Меня вот послали, а мне еще стенд к Первому мая доделывать.

Люська попятилась, осторожно скользя вбок по холодной кирпичной стене и ухватив Кирюху за воротник. Но тут над самым ее ухом раздалось:

— Доча, вы чего здесь притаились? Давай-ка, помоги матери с сумками! Отступать было некуда.

Мать сидела в классе русского языка красная и машинально кивала головой чуть ли не на каждое слово. Напротив стреляли возмущенными взглядами Галина Борисовна и завуч Римма Альбертовна. Люська стояла рядом, хмуро потупив взор и разглядывая рисунок пыли на желтых сандалиях.

— Вы же понимаете, Маргарита Петровна! Это же вопиющее безобразие! Распустилась девочка!

— Я понимаю, — покорно кивала та.

Люська взглянула на маму. Усталое лицо, газовая малиновая косынка в волосах, полные руки с припухшими пальцами от ежедневной стирки, пестрая кофта, заколотая бабкиной пластмассовой брошкой. И глаза... А в глазах — вечная дума, и совсем не о том, о чем густым голосом вещала завуч. Люська нутром чувствовала, какие мысли вертятся в материнской голове: чем накормить большую семью на ужин, где достать денег на спортивную форму для нее, Люськи, и ботинки для Кирюхи; где сейчас носит десятилетних дочерей-близняшек Верку и Лерку и, наконец, как помирить бабу и Маринку, а то ведь будет не отправить детей летом в деревню. И еще думала она о том, что сегодня отец в рейсе, и это очень хорошо, иначе выдрал бы дочь так, что живого места бы не осталось.

— Теперь вы понимаете, Маргарита Петровна?

— Да-да, я понимаю...

У Риммы Альбертовны были тонкие дугообразные губы, густо накрашенные морковной помадой, выпуклый блестящий лоб и маленький ско-

шенный подбородок — как будто тот, кто лепил ее, изрядно пожадничал материала на нижнюю челюсть. Когда она говорила, то после обращения к человеку по имени приподнимала брови, отчего глаза становились выпуклыми, как у неваляшки, и загипнотизированный собеседник застывал и не сразу реагировал. Люське было жаль маму. Но хоть убейте, не понимала она, что такого страшного в том, что она побрила Добролюбова. Кошкин в прошлой четверти кому-то из великих математиков усы в учебнике пририсовал, и ничего. Что они так взбесились-то?

Галина Борисовна сурово смотрела на мамину брошку, а мама пыталась уследить за ее взглядом, впрочем, безуспешно, потому что та, по всей видимости, в это время читала классный журнал. Оценки у Люськи всегда были неровными. Когда ей было интересно, материал давался легко, и учителя справедливо ставили ей пятерки. Но по большей части ей было скучно, поэтому в четверти почти всегда выходили тройки.

— Скажи, Людмила... — слова заставили Люську вздрогнуть и мысленно вернуться в класс. — ...Кстати, а где твой галстук?

Люська вспомнила про портфель, наспех врученный Кирюхе, и машинально прикрыла грудь руками, как еще совсем недавно, пару лет назад, делала в деревне, когда заходила в озеро искупаться.

— Вот видите, Маргарита Петровна!

Мама кивнула. Бедная мама! А ей сегодня еще в баню младших вести и отца из рейса встречать... У Люськи сжалось сердце.

— Людмила, — повернулась к ней завуч, — вот ты на секунду подумай, что бы сказал...

«Отец? Только не он!» — подкатил заусенчатый комок страха к горлу Люськи.

— ...Что бы сказал Николай Александрович на твою выходку! А? Как бы ему это понравилось!

— У папки отчество — Никитич, — промямлила Люська.

— Николай Александрович Добролюбов! — Римма Альбертовна с возмущением посмотрела на Галину Борисовну, но, так и не поймав ее взгляд, снова повернулась к Люське.

— Что бы он сказал, узнав, что юное поколение, за которое он боролся, ради которого творил...

Речь завуча была длинной и, к удивлению, интересной. Из нее Люська узнала, что Добролюбов был не только критиком и публицистом (слово, которое она не понимала), но еще самоотверженно боролся с царским режимом и умер, когда ему было всего двадцать пять лет. Совсем молодым. Постарше, конечно, чем Ромео, но все-таки. Люська пыталась припомнить его портрет на тетрадке, образы возникали сумбурные, но в конце монолога Риммы Альбертовны обрели, наконец, романтические черты. Перед

глазами всплыло молодое (особенно после цирюльных манипуляций) лицо, умные глаза за очками, и Люська даже прикусила губу — так ей стало обидно за собственноручно побритого ею великого человека.

Мама соглашалась со всем, что говорила завуч, краешком глаза осторожно косясь на висящие на стене квадратные часы. Время близилось к четырем, и если еще чуть-чуть помедлить — не успеет она сегодня помыть Кирюху и Верку с Леркой. Надо было выручать.

— Римм-Альбертна, я все осознала. И мама тоже. Можно мы пойдем, у нас дети малые.

Мать для вида цикнула на нее, но посмотрела не строго, а скорей с благодарностью.

Завуч выдержала гигантскую паузу и, потрогав начесанную халу на голове, наконец изрекла:

— Всего хорошего. Я надеюсь, Маргарита Петровна, вы примите должные меры (мама усиленно закивала, поспешно вставая), а тебя, Людмила, нам все-таки придется обсудить на совете дружины.

У выхода из школы мама поправила косынку, тяжело вздохнула и покачала головой:

— Ты у меня совсем вышла из доверия, дочь. Никогда не знаю, что еще отчебучишь!

— Я не отчебучиваю, мам, я, правда, из добрых побуждений!

Но мама махнула рукой и, выдав ей мелочь и авоську, наказала бежать в булочную за городским батоном.

Размахивая яркой оранжевой сеткой и пытаясь уложить в голове информацию о Добролюбове, Люська помчалась в магазин. Ноги шаркали по асфальту, давили желтую шелуху, сброшенную тополями, словно ненужная обертка, — она и шелестела, точно вощеная бумага, и свертывалась так же. И, если задрать голову, было удивительно и непонятно, как уже довольно большие листочки еще вчера вечером умещались в такие маленькие почки.

— Люсинда! — послышался голос Машки. Она со всех ног бежала навстречу, растопылив руки, и вдруг прыгнула на Люську, навалилась, и обе закружились на месте, хохоча. — Бежим до поворота!

Люська на миг забыла все печали, и они понеслись во весь опор до перекрестка, горланя «Мы красные кавалеристы, и про нас..», не попадая в ноты, но выкрикивая слова с такой неумейной радостью, что прохожие невольно оборачивались вслед девочкам и не могли сдержать улыбку.

— Люсь! Поедешь с нами бояться? — отдышавшись, выпалила Машка.

— На Кировский?

— Ага. Прямо сейчас. Встречаемся на нашей остановке через двадцать минут. Катя Шерстнева с Ленкой Алексеевой, и вторая Ленка, которая Зуева. И еще Галка из соседней школы. И еще...

— Прямо сейчас не могу. Не-а, — Люська поджала губу, с завистью глядя на Машку.

Ехать «бояться» на Кировский стадион было самым обожаемым Люськиным развлечением. Круче, чем даже цирк. Совсем недавно, в марте, на стадионе установили новые осветительные приборы — на высоченных ногах-столбах, с чуть наклоненными к арене квадратными головами в сотню, наверное, ламп, они напоминали большеглазых чудовищ. И невероятное чувство охватывало, когда задираешь голову вверх, а там в небе бегут облака, и кажется, что лампы падают прямо на тебя. И испытываешь восторг вперемешку с головокружением и неосознанным страхом, и смотришь в небо долго-долго, пока кто-нибудь из девчонок не сдастся и с визгом не бросится бежать прочь с поля. Или пока дядька-охранник не гаркнет из своей будки-скворечника.

— Не могу, Ма-ааш! — протянула Люська, морща нос. — Меня за булкой послали. Некогда мне бояться. И я сегодня набедокурила. Мамка будет ругать, если сбегу.

Машка кивнула, даже не поинтересовавшись, что натворила подруга, и, помахав ей, счастливая, помчалась к метро.

Люська тяжело вздохнула и вошла в булочную.

Тыкая двузубой вилкой в горбатые желтые спинки булок, Люська еще раз попыталась осознать, что такого страшного она натворила. Слово «кошунство», которое употребила несколько раз Римма Альбертовна, да и Галина Борисовна тоже, никак не укладывалось в один ряд с ее утренним цирюльничеством. Не та мозаика, не те кубики.

— Митрофанова, ты чего губами двигаешь, будто говоришь сама с собой?

Люська обернулась. Знакомые оттопыренные уши, вихор на макушке, здоровенная шишка на лбу, улыбка во все тридцать два зуба. Ах, нет, тридцать один. Резец же ему удалили. И еще минус четыре — зубы мудрости еще не выросли. Где уж там мудрость-то? Не дождется! Итого: тридцать два минус один минус четыре...

— Люсь, ты чего считаешь — сдачу?

— Курочкин, ну нигде покоя от тебя нет!

До дома было рукой подать. Считай: стенка в стенку с булочной. Сквозь дырки в авоське Люська отщипывала от горбушки мягкие, еще теплые

сдобные кусочки и с наслаждением клала в рот, каждый раз обещая себе, что это последний. Витька же просто кусал от своей буханки, и совесть, похоже, его ничуть не мучила. История о Добролюбове как-то сама собой рассказалась — Люська вдруг поймала себя на том, что копирует косоглазие Галины Борисовны и выражение лица Риммы Альбертовны: «Вы понимаете, Маргарита Петровна?»

Курочкин слушал внимательно, не перебивая, что для него было подвигом, а потом спросил:

— А Добролюбов — он кто? Мы еще не проходили.

Люська с воодушевлением пересказала все, что узнала от завуча и Галины Борисовны. Особенно торжественно, с выражением, она выдала историю про Катерину, которая «луч света в темном царстве». Витька сосредоточенно кивал.

Они сидели под деревянным грибком, разрыхляя сандалиями песок в песочнице, и хлеб с батоном уменьшались с каждой минутой.

— Я не понял, — вдруг сказал Витька. — Если он великий критик, зачем ты его побрила?

Люська пожала плечами:

— Ему, правда, очень идет! Я как лучше хотела. Сначала со скуки — уж больно урок занудный — а потом втянулась. И хорошо так вышло, без подмазок и катышков! Я ж будущий парикмахер.

— И чего, тебя теперь папка драть будет? — с состраданием в глазах спросил Курочкин.

Люська поежилась.

— Надеюсь, он не узнает. Иначе, правда, убьет.

— Что ты тогда переживаешь?

— Ну... Во-первых, меня песочить будут завтра на совете дружины. Позорить. А во-вторых... А во-вторых, не поверишь, мне и впрямь стыдно.

Витька чуть не подавился.

— Стыдно? Тебе?

— А что, Курочкин, я, по-твоему, не человек? У меня совести нет?

Витька пожал плечами, взглянул на половинку, оставшуюся от буханки и, погладив Люську по плечу, изрек:

— До завтра еще много времени. Твой Добролюбов успеет обрасти.

Ночью Люську тревожил бестолковый сон. Снилось ей, будто по Измайловскому проспекту идет против ветра гладко выбритый Николай Александрович Добролюбов, а мимо проезжают на дребезжащих мопедах волосатые парни, но не подмигивают ему, а свистят от возмущения. А потом Добролюбов достает из одного кармана стаканчик подтаявшего пломбира, а из жилета — оловянную ложку в дырочку, какой мама по-

мешивает щи, и пытается есть мороженное. А ложка-то дырявая, помбир вытекает, и Добролюбов всхлипывает от обиды. А она, Люська, стоит в сторонке и плачет навзрыд, промокая слезы кончиком алого галстука, как баба Нюра цветастой старой косынкой.

Она проснулась в пять утра мокрая от испарины и больше уже не заснула. Близился день Страшного суда — суда пионерского.

Актовый зал был заполнен на треть. На сцене за столом, покрытым мягкой красной тряпкой, сидели Римма Альбертовна, Галина Борисовна, вожатая Саша с вечным пасмурным выражением лица, председатель совета дружины рыжая Нина Демина и еще пара старшеклассниц с комсомольскими значками. За окном шел тонкий дождь, протягивая нити-паутинки наискосок через огромное трехстворчатое окно. Люська сидела сбоку, у прохода, как будто намеревалась при случае быстро рвануть к выходу.

Сначала долго обсуждали нудные вопросы по повестке дня: летнюю практику по уборке окрестных скверов, предстоящие Первомайские мероприятия, школьное радио. Люська разглядывала зазубрины на спинке кресла впереди и считала минуты до момента, когда ее позор обнародуют. Неожиданно маленькая бумажная горошина ударила ей в ухо. Она дернулась, завертела головой. Через три ряда от нее сидел Курочкин и усиленно делал ей глазами какие-то знаки. В одной руке у него была плевалка, сделанная из пластмассового корпуса шариковой ручки, а другая была сжата в кулак — видимо, с бумажными жеваными пульками.

«Не понимаю», — губами произнесла Люська и пожалала плечами. Витка полез в портфель, вырвал из тетрадки листок бумаги и, слюнявя карандаш, принялся что-то быстро писать.

Записка прошла по рядам и настигла Люську в тот момент, когда степень напряжения от ожидания публичной казни у нее достигла высшей точки. Развернув скомканный клочок бумаги, она прочла:

«Митрофанова ничего не бойся я с тобой». И пририсован схематичный человечек в берете с пером и шпагой на боку, больше напоминающей третью ногу.

«Со мной он, Ромео несчастный», — подумала Люська, но все-таки чуть-чуть успокоилась. Самую малость.

Обсуждение недостойного поведения пионерки Митрофановой значилось последним пунктом затянувшегося заседания. Римма Альбертовна, замедляя движения длинных худых рук, словно это был самый торжественный момент дня, в полной тишине взяла в руки белую бумажную папку с надписью «Дело №...», обвела пионеров тяжелым взглядом и развязала тряпичные тесемки. Люська вжалась в дерматиновую спинку

стула. Уши из чувства самосохранения активно фильтровали произнесенную заученную вступительную речь, милостиво донося до хозяйки лишь отдельные слова: «вопиюще», «кошунство», «борец с режимом», «неподобающее юному ленинцу хулиганство». Люська даже зажмурилась и про себя пропела куплет про красных кавалеристов, чтобы не слушать дальше, но тут неожиданно Римма Альбертовна замолчала и поднялась над столом, вытаращив глаза. Ее примеру последовала и Галина Борисовна — встала, громыхнув стулом, и, наклонив голову низко к «той самой» зеленой тетради, посмотрела одним глазом в окно.

— Это что, Митрофанова?! — просвистел на головой, как снаряд, голос зауча. — Что, я спрашиваю?

Люська осторожно встала.

— А ну, подойди к трибуне!

Она одернула платье и прошла к восседавшему на сцене президиуму. Все поголовно таращились на тетрадь, а один комсомолец даже прыснул от смеха, но вожатая Саша посмотрела на него таким замогильным взглядом, что он сразу умолк. Галина Борисовна взяла из рук зауча тетрадь и сунула Люське под нос. На обложке было все, как обычно, — фамилия Мирофанова, б «Б», тетрадь по русскому языку. Люська не сразу сообразила взглянуть на портрет в левом верхнем углу, а когда все-таки взглянула, рот у нее открылся сам собой: щеки Добролюбова были в мелкую точку, аккуратно проставленную черной ручкой. Напоминало отцовскую трехдневную щетину.

— Как это понимать, Митрофанова? — громыхала Римма Альбертовна.

— Так... Это... Оброс он... Сами ж видите, — пискнула Люська.

Шумели они еще долго и единогласно решили поставить вопрос на... на чем-то там поставить, Люська даже не вникала. С каким-то озорным ликованием смотрела она на родного уже Добролюбова, даже подмигнула ему втихаря, пока обрывок фразы Галины Борисовны «вызвать отца... непременно отца... на родительское собрание» не окатил ее ледяным душем.

Они снова сидели под грибком в песочнице, прячась от мелкой дождевой пыли, и Люська все никак не могла решить для себя, простить Витку или задушить.

— Курочкин, ну как тебе в голову такое пришло?!

— Я как лучше хотел!

Люська вспомнила выражение лица Риммы Альбертовны и растерянные (во всех смыслах) глаза Галины Борисовны и все-таки не смогла сдержать улыбку.

— Я бы, конечно, посмеялась, но теперь папка меня точно прибьет. Завтра родительское собрание. И эта вобла Сашка снова прибежала к нам, нашла папку, передала, чтобы непременно пришел. У него, как назло, завтра рейса нет, выходной. Спасибо, не догадалась сказать, в чем дело. Хотя до завтра поживу, воздухом подышу.

— Да ладно, Люсь. Может, пронесет...

— Щас как дам больно! Энтузиаст!

— Слушай, а как ты поняла, что это я?

— А кто еще? Давай, колись, как ты это сделал!

Витька надул щеки, стукнул по ним кулаками, со звуком выпуская воздух, и виноватым голосом промямлил:

— Я это... В учительской открыто было. Там стопка тетрадок по русскому... Наш класс и «ашки». Я глянул — твоей нет. Ну и смекнул, что русичка уже отложила ее для собрания, значит в папке лежит... И точно! Я взял тогда ручку, подобрал, чтобы не синие чернила, а черные...

— Вот я все смотрю на тебя, Курочкин, и понять не могу: ты идиот? Ты что, не понял, что мне от твоих художеств только хуже будет? И нет того, чтобы встать с места и признаться: я, мол, небритость Добролюбову пририсовал! Так ты орал, мол, почему не верите Митрофаной, сам он оброс!

— Да я...

— Я! Я! Если тетрадку стырил, чего ж ты ручкой бороду не пририсовал, а только точки на щеках и подбородке?

— Так правдоподобнее... Сутки всего прошли, не могла еще борода отрасти...

Люська с трудом подавила смех.

На Курочкина было жалко смотреть. Он сидел, как мокрый воробышек на жердочке, поджимая ноги под скамейку грибка, и его волосы, взъерошенные ветром, напомнили Люське «общественных» кукол у Кириухи в детском саду, залапанных и растрепанных несколькими поколениями детей. Она подумала и решила пока не душить Витьку.

— Курочкин, а давай я тебя подстригу?

Витька шмыгнул носом и пригладил непокорный вихор.

— А без этого никак нельзя?

— Никак, Курочкин.

Посадив Витьку на дедов табурет посреди огромной кухни, Люська с вдохновением взялась за дело. Экзекуция ножницами и непременно тройным одеколоном родила в душе Витьки тоску, но вместе с тем и ни с чем не сравнимое ощущение великой жертвы ради «прекрасной дамы». Он с честью вытерпел стрижку, хотя и пытался вначале сопротивляться, поскуливая, как щенок, и строя кислую мину. Люську же парикмахерское

упражнение немного отвлекло от мыслей о неминуемом родительском собрании. Коммунальная кухня была на удивление тиха, и даже соседский кот Проша не попадался под горячую руку — видно чуял ножницы в неумелой руке.

— Ну, я пойду, пожалуй... — пискнул Витька, стекая со стула.

— Сидеть!

Люська отошла на два шага, посмотрела на свою работу и, оставшись довольной, кивнула.

— Ладно, ступай.

Счастливый Курочкин, подхватив портфель, с радостным воплем выбежал из Люськиной квартиры и помчался домой.

Опустившись на табуретку, Люська потерла ладонями колени, как делала иногда мама, и с какой-то заглубинной горечью вдруг подумала, что такой любви, как пишут в книгах и показывают в кино, не существует. Враки все это.

До родительского собрания оставалось меньше суток. И за это время она точно не успеет встретить принца. А после собрания... вообще не факт, что этот принц ей будет нужен...

День выдался солнечный, умытая после дождя школа стояла нарядная, украшенная красными флагами, будто бы и не знала о такой придуманной человеком беде, как родительское собрание. Свет играл бликами на оконном стекле, манил во двор. Люська сидела на подоконнике третьего этажа — там, где кончались классы и коридор делал загогулину, прятавшую ее от ненужных взглядов, и листала взятую в библиотеке тоненькую книжку с биографией Добролюбова.

Собрание уже началось, и сердце гулко отстукивало долгие минуты. Она прикинула, что около часа будут говорить о чем-то общем — об успеваемости класса, летней практике, сборе макулатуры, потом минут двадцать о будущей Первомайской демонстрации и школьном концерте, еще немного о поздравлении ветеранов на День Победы, а ее, Люську, вместе с Добролюбовым оставят на закуску. Отец с утра был хмурый, что не предвещало хорошего и «бескровного» исхода событий, хотя о том, что на собрании будут говорить про его бедовую дочь, даже не догадывался.

— Люсинда! — откуда ни возьмись, появилась Машка с нетающей большеротой улыбкой и искорками бенгальских огней в глазах. — Поэдем бояться на стадион!

— Что ты! — вздохнула Люська. — Меня сегодня будут разбирать на запчасти. Папка там, в классе, его специально вызвали.

История с Добролюбовым, особенно вчерашняя его легкая небритость успела стать в классе легендой, и Машка, как ни старалась, не смогла удержаться от хохота.

— Смеешься! — укоризненно взглянула на подругу Люська. — А мне вот не до смеха.

— Да наплюй на все! Поехали! Вчера так зыкинско было!

Люська вздохнула:

— Нет, Мах, «бояться» у меня сегодня и без того хватает.

Она хотела еще сказать, что иллюзия падающих на голову огромных ламп и заливающий мозг белый электрический свет — как раз то, что происходит с ней сейчас, в данную минуту, и что лампы эти неминуемо упадут ей на голову через час, когда отец выйдет из класса. Но выразить мысль так и не смогла, просто махнула рукой и уткнулась лбом в холодное стекло.

— А вон твой Курочкин тащится, — дернула ее за рукав Машка, указывая подбородком на Витьку, появившегося из-за коридорного поворота.

— Почему это «мой»? — подняла голову Люська.

— Ну, а чей же еще! Курочкин, дуй к нам!

Витька подошел, встал рядом, у подоконника. Румяную щеку его оттопыривала барбариска.

— С утра спросить хочу, кто это тебя так обкорнал? — прищурилась Машка.

Витька перекатил леденец под другую щеку и гордо выпалил:

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— Ладно уж, Ромео, будто я не догадалась! Все, Люсинда, побежала я, — Машка махнула Люське, — и не кисни ты по поводу собрания: не на-смерть же папка тебя убьет!

Люська пожала плечами и с грустью посмотрела на Витькину прическу — свое вчерашнее вдохновение. Надо бы вот тут еще чуток подровнять, и тут...

— Митрофанова, да не дрейфь ты! Образумится все еще, может быть.

— Отстань хоть ты от меня, утешитель!

Витька глянул на нее лукаво и как будто подмигнул.

— Что это у тебя за нервный тик? — вздохнула Люська.

— Пошли позырим, о чем они там треплются! — заговорщицки прошептал Курочкин.

Идея была заманчивой.

— Каким образом?

— Да в щелочку. Завуч же громкая, из коридора слышно. Неужели тебе не интересно?

Люське было ужас как интересно. Но и страшно одновременно.

— А вдруг директриса по коридору пойдет?

— Убежим! Ноги-то есть!

Это было логично. Люська сунула книжку в портфель и прыгнула с подоконника.

Приоткрыть дверь так, чтобы она не скрипнула и не привлекла внимание, было не очень-то и просто. Витька дождался громкого кашля кого-то из родителей и осторожно потянул ручку на себя. В узкую щель стала видна часть класса, люди и написанные на доске какие-то цифры — наверняка сбор денег на очередной экскурсионный автобус. Галина Борисовна в белой нарядной блузе и Римма Альбертовна в узком голубом бадлоне под коричневым костюмным жилетом отвечали на вопросы родителей о предстоящей первомайской демонстрации. Отец сидел за третьей партой, где обычно было место разжалованного фаворита Васьки Кошкина, и Люська даже могла видеть часть отцовского лица в профиль.

— Мощная спина у твоего папки, Митрофанова! — сказал зачем-то Витька. — А моя мама где-то, наверное, в конце класса, отсюда не видать.

— Курочкин, ты мне на нервы действуешь! — выдохнула Люська.

Витька хотел было ответить, но тут она вцепилась в его рукав. В щель было видно, как Римма Альбертовна потянулась к заветной белой папке с надписью «Дело №...». В классе смолкли.

— ...И вот пример абсолютного морального падения пионера, — четко выстреливая каждое слово из моркового рта, произнесла Римма Альбертовна и потянула за мятую тряпичную тесемочку.

Люська до крови закусил губу. Ей показалось, как будто кто-то изнутри выедаст ее душу оловянной ложкой в дырочку — такой, какая была у Добролюбова во сне, — но не до конца выедаст, и через дырочки эти, точно растаявшее мороженое, что-то протекает, остается в теле. И вот это «что-то» ноет и болит.

Она увидела, как напряглась спина отца, когда произнесли ее фамилию, как сжал он кулаком карандаш, и закрыла от ужаса глаза. Но внешне повисшая в классе тишина заставила ее вновь взглянуть в дверную щелку.

— Че там? — высовывался из-за ее плеча Витька.

Отец выпрямился и оглядел присутствующих.

— Так я не понял, что моя сделала-то?

Римма Альбертовна вынула из папки тетрадь и, отвернувшись к портрету Ленина в оконном простенке, протянула ее в сторону старшего Митрофанова, будто ей даже противно смотреть. И держала-то тетрадь двумя пальцами, точно боялась запачкаться. Галина Борисовна кивала, поджав губы.

— Лучше вы сами взгляните, Николай Никитич. И покажите остальным, чтобы все осознали глубину содеянного!

Отец встал из-за парты, тяжелым шагом подошел к столу, взял тетрадь в руки. Люська сощурилась, как могла, пальцами растянула себе «китайские очи», чтобы лучше видеть, но было слишком далеко и мелко.

— Не дрейфы! — прошептал Курочкин, толкнув ее под локоть.

Родители за партами вытянули шеи. Отец повертел тетрадь, пролистал, вылавливая глазами оценки, но ничего необычного не нашел.

— Три тройки, три четверки. Двоек нет. Что-то я в толк не возьму, к чему весь этот цирк?

— На обложку, на обложку взгляните, уважаемый!

Митрофанов-старший уставился на зеленую обложку, нахмурившись. Люська чуть слышно ойкнула.

— Мне ваши интеллигентские намеки не понять, — услышала она папашин голос. — Я человек простой. Вы мне прямо укажите, что где не так. И при чем тут пионерская совесть моей дочери?

Римма Альбертовна приняла суровый инквизиторский вид и выхватила у него злополучную тетрадь. И тут лицо ее сделалось маковым, как у младших Митрофановых после бани. Галина Борисовна ткнулась носом в обложку, глаза ее, наверное, впервые в жизни сфокусировались оба на одной и той же точке — и точкой этой был верхний левый угол. Так смотрели они обе, не веря зрению, и лишь отцовский голос вывел их из ступора:

— Может, все-таки объясните?

— Он же выбритый был... — только и смогла проговорить Галина Борисовна. Родители за партами зашумели.

Отец потрогал собственный колючий подбородок и вновь взглянул на портрет Добролюбова.

— Ну, все мы бреемся. Иногда.

В классе засмеялись.

— Так я возьму тетрадку-то? — спросил отец.

Римма Альбертовна молча кивнула.

Собрание было окончено. Говорливая волна родителей хлынула в дверь, и Люська с Витькой едва успели отскочить.

— Поди сюда, коза! — прогремел отцовский голос.

Люська осторожно сделала шаг и на всякий случай уставилась в пол, как учила баба Нюра: «На случай мужского гневу девка должна глаза долу держать». Вот она и держала глаза долу, пока отец не сунул ей в руки тетрадь.

— За тройки тебя сейчас ругали. Думаешь, отцу приятно?

Люська завертела головой.

— Думаешь, папка горбатится, чтобы перед классом краснеть за тебя? — продолжал отец.

Люська отметила, что «бестолочью» он ее не назвал. Значит, не все так плохо.

— Я исправлюсь! — выкрикнула она и, подхватив портфель, не веря своему счастью, помчалась из школы прочь.

Под грибком было уютно, и даже холодный ленинградский ветер как будто забыл о Люськином дворике. Вот уже пятнадцать минут солнце намеревалось сесть за черный хребет крыши соседнего дома, но, видимо, зацепилось за кривенькую телевизионную антенну, да так и повисло на ней, точно прокипяченная наволочка.

— Курочкин, ну как? Как???

Люська таращилась на тетрадку, не веря своим глазам. Из верхнего левого угла на нее смотрел Николай Александрович Добролюбов: косой пробор, маленькие продолговатые очки, толстая нижняя губа. И борода, борода — та самая, по контуру лица, не тронутая бритвой! Люська осторожно провела пальцем по портрету. Ни катышков от бритвы, ни следов от ручки.

— Ох, какая ты непонятливая, Митрофанова! — вздохнул Витька. — Выросла борода у него. Вчера еще щетина была, сама ж помнишь. А сегодня — новая появилась. Ты же все канючила, что чуда хочешь. Вот тебе и пожалуйста!

Люська посмотрела обложку на просвет. Целый лист, ничего не наклеено. Борода-то у Добролюбова не нарисованная, а «родная», печатная! И, правда, чудеса!

Она повернулась к Витьке.

— Курочкин, если ты сейчас мне не расскажешь все, то я... то я...

Что она с ним делает, на ум не приходило.

— Ладно, не мучайся ты так, — сжалился Витька. — А то еще лопнешь от любопытства, а мне тебя потом по асфальту собирать. Я, в общем, думал-думал про тебя. Про собрание. Даже спать не мог. Если бы папка тебя отметил, что в этом хорошего? Правильно киваешь — ничего. Так я открепил обложку от новой тетрадки — просто скрепку снял ножиком и все дела. А обложка-то такая же, с Добролюбовым, как у половины класса. Ну и написал твоё имя, класс, все как полагается, — Витька шмыгнул носом и покосился на затаившую дыхание Люську. — А сегодня утром дождался, когда никого в учительской не будет, вытащил тетрадь из той самой папки, отодрал обложку, где Добролюбов выбрит, ну и пришпандорил новую. Нелегко пришлось, чесслово. Пару раз чуть не спалился, за шкафом отсиживался. Но ты же подвига хотела. Чуда. Хотела ведь?

Люська кивнула.

— Ну вот. Просто башкой об стену биться ради тебя больно, — Витька потер желтовато-синюшную шишку на лбу. — И все довольны. Папка твой не озверел, и Добролюбову хорошо. Только ты это... не брей его больше.

Люська смотрела на него и молчала. Ну, а что тут скажешь?
 — Ладно, пошел я, — сказал Витька. — Мне еще неправильные глаголы по английшу зубрить, чтоб их икота взяла!
 Он встал и, махнув ей рукой, вразвалочку направился к подворотне. Люська смотрела ему вслед и вдруг встrepенулась, заорала на весь двор:
 — Курочкин! Ви-ить!
 — Чего тебе? — крикнул он в ответ.
 — Иди сюда!
 — Зачем это?
 — Надо. Очень.
 — Опять стричь будешь? — Витька посмотрел на нее недоверчиво и провел пятерней по ежику на голове.
 — Не буду. Честно!
 Курочкин подошел.
 — Сядь, — Люська похлопала ладонью по скамейке.
 Он сел.
 — Закрой глаза.
 — Зачем это?
 — Поцелую тебя, дурня.
 Витька заулыбался, еще больше вытаращив глаза.
 — Закрой говорю. Или передумаю!
 Курочкин послушно закрыл глаза. Люська наклонилась и осторожно, словно боясь спугнуть невидимую бабочку, чмокнула его в губы. Сразу в губы, никаких щек. Тринадцать лет — уже самый правильный для этого возраст. И тут ей вспомнилось позавчерашнее предчувствие. То самое ожидание, не дававшее ей покоя... Ощущение, что что-то хорошее должно с ней произойти, что-то такое, необъяснимое, чего раньше никогда не происходило.
 Переполняемая целой охапкой чувств, Люська вскочила и побежала к своей парадной.
 — Курочкин?
 — Чего?
 — Уже можно открыть глаза.
 Она засмеялась и потянула на себя дверь. Старая ржавая пружина жалобно маякнула, натянувшись, как тетива.
 — И еще знаешь что? — Люська лукаво посмотрела на Витьку.
 — Что?
 — У тебя губа пушистая. Приходи завтра, ладно? Будешь у меня вместо Добролюбова?
 Курочкин растянул рот в улыбке и осторожно потрогал пальцем ямочку над верхней губой.
 — Буду, Митрофанова, буду!



Евгений Орлов

Евгений Орлов. Родился в Риге в семье актеров. Окончил филологический факультет ЛГУ имени П. Стучки. Работал журналистом, заместителем главного редактора в газете «Советская молодежь» (Рига), был автором и ведущим телевизионных программ. Член Союза журналистов Латвии. Победитель литературного конкурса Союза писателей Латвии и Посольства России в Латвии. Лауреат конкурса им. Н. Гумилева (2004). Автор книги стихов и многих публикаций в различных журналах и альманахах. С 2011 года является куратором конкурсного литературного портала STINI.LV, который проводит открытые кубки Мира и чемпионаты Балтии по русской поэзии.

* * *

белым наливом снега свежайшего хруст —
 вот и поди докажи что зима лишь в начале!
 ты не заметила? воздух разросся как куст
 и снегири по нему как цветы разметались

 тянет жасмином из проруби и садовод
 тонкую нить отпускает в подлунную чашу —
 чай не сорвется (того и гляди!) в небосвод
 легким серебряным змеем подлещик блестящий?

 вот и поди докажи что не к месту январь
 это сухое прощание: цифры... итоги...
 что-то такое хотел я сказать по дороге
 теплое-теплое... ты не заметила? жаль...

сквозная тема

1.

дворовый снег в каштановых листьях
 серебряная зелень на кустах
 и воробей приклеился к карнизу

и это все чем я теперь богат
и рад тому что этому я рад

и чту за дар октябрьские капризы

2.

настурция! настурция! какое слово терпкое!
в нем приглашение в турцию и унция сурепки в нем
как будто принял порцию и шляюсь по всем улицам:
настурцию! настурцию! кричу — а бог волнуется
за мой рассудок смешанный с осенней желтой пеною
того гляди — насупится и даст под зад вселенной мне
и выгонит и выкинет туда где все пакуется...
«Ну вот — твоя настурция... Цветок невзрачный... Куцый...»

3.

я только пару слов!
о том что зол
на золото украденное все
наверно ветром под шумок покуда
я десять дней болел — он крал и крал
по листику детальке самородку
он не гнушался поднимать с земли
и обдирать срывать...

еще одна сворованная осень

как после пьесы — номерок в руке
но сыро и пустынно в гардеробе

4.

на мне тельняшка — в рыжую полоску!
и в левом ухе — новая серьга!
любимая! я твой хмельной матросик
забытый на чужбине впопыхах
оставленный в пустыне каракумьей
лежать под саксаулом на песке
три капельки любви в горящем трюме
и парусник двугорбый — вдалеке

5.

нет чтобы блюз на клавишине
иль артишок на мостовой —
мне выпал вечер темно-синий
над опустевшей головой
без мысли крохотной и века
серебренного рифмы без
как череп но без человека
как без сосны сосновый лес
как без любви постель и пушка
без непрямого ядра...
один — как волос на макушке
и вечер темный — как дыра

6.

с утра на улице сквозит
прощанием — трамвай плащами
демисезонными набит
как шкаф с прозрачными дверями...
вон и твое пальто висит

не возвращайся! гераклит
уже пролил на рельсы воду
но знай что будешь несвободна —
за тему взял тебя пиит...
все остальное — с кем угодно!

с утра на улице сквозит
как будто ты закрыть забыла
дверь за собой и тянет стылой
весной — от самых антарктид...

* * *

я не вижу причин по которым не должен любить
это время и место где выпало выжить и жить
этим дням без остатка и этим бездонным ночам
я не вижу причин по которым не должен
себя

я не помню — смеялся? возможно но это не в счет
оправдания сказано... было прекрасно и свет
от тебя исходил но за это подписан расчет
я не помню — за счастье? но думаю все-таки
нет

я не знаю за что зацепиться но силы коплю
и терплю себя только за то что умею терпеть
это время и место и вялотекущую смерть
я не вижу причин и не знаю за что не
люблю

* * *

звезда ничуть не источала света
серела мгла не истончая тьмы
сияла высь как купол минарета
над миром остальной величины
река смежала снежные пространства
сугробы сбились в спящий караван
и в небеса лениво поднимался
кромешный но всевидящий туман

был день как подоспевший постовой
строптив — он шел в атаку: мол не с той
ноги я встал не в тот дурацкий возраст
вошел и штрафовать еще не поздно
и лучше б я вину свою признал...

я помню милая и знаю как любим
был черный твой котенок как над ним
твои кружили щеки терлись плечи
о мордочку — я сравниваю есть с чем
я стал ревнив к котам и стал раним

как та мишень ты помнишь в тесном тире
круги дышали порохом одним
но дырочки (как будто их сверлили
специально для тебя) мы находили
в одной — твоей... давно ли стал чужим
мой выходной — в лесу ли на диване
ли в дюнах ли хоть где ли наугад
ты смотришь — мимо в рощу ли в скрижали

твой взгляд то ловит мух моей печали
то зол то в кровь исхлестан как закат...

нет — день был тот и год был тот но ад —
совсем не тот а что-то больше ада
какая-то вселенская утрата
внимания — размером в полкивка
как нелюбовь последнего звонка
к учителю и гибель винограда
в вине — на радость местным босякам...

вот и не было лета как юность была
тяжелее рассветы доходчивей мгла
по углам зеркала на душе зеркала

бесконечности нету числа

* * *

их так много на юг улетающих птиц
перебор недописанных желтых страниц
нездоровый избыток увядших любят
одного бесконечно тебя

по иному могло быть? конечно могло
говоришь бесконечности вящей назло
если долго глядеть в эту бездну любя

бездна будет любить и тебя

их так много но ты бесконечно один
по-иному могло быть? живи да остынь
ты не пара а только бесчисленный ряд
и другим тебя здесь не хотят



Анатолий Слепков. Обложка книги Михаила Шолохова «Нахалёнок».



Николай Гуданец

Николай Гуданец. Поэт, прозаик, публицист. Родился в Риге в 1957 году. Член Союза писателей Латвии, Союза российских писателей, Балтийской гильдии поэтов. Автор четырех сборников стихотворений и девяти книг прозы, в том числе фантастических романов. Переводил на русский стихи латышских поэтов и английских поэтов XVIII века. Его стихи переведены на английский, болгарский, испанский, китайский, латышский, немецкий, польский, финский, французский, чешский языки.

Ностальгия

Я не смогу своей стране
теперь присниться,
затерян в рыжей тишине
пустой столицы.

Зато мне снится наяву
страна чужая,
я падаю в ее траву
и уезжаю,

пересекая львиный ров
и рай сосновый,
меняя лучший из миров
на тихий новый.

Страну меняю на страну,
поддавшись бреду.
На самом деле ни в одну
я не уеду.

Кондак

Со дна душистого канавы,
где тишиной пропахли травы,
подняться, как всегда, замешкав,
с шершавым стеблем на губе,
благодарю, о Боже правый,
что Ты — великая насмешка,
и мы вповалку, вперемешку,
гурьбой покоимся в Тебе.

А Ты пригрезился колоссом
в блистающей сквозной порфире,
безмерно милостив и свят,
не погнушавшийся отбросом
в Твоем огромном странном мире,
где прочие едят и спят.

* * *

Неуклюжее время, как сдутый мяч,
между коек ползало враскоряч.
Безучастно клацал торцовый ключ.
Балагурил рыжий пузатый врач.

Дух карболки и каши, густой как ложь,
навсегда с изнанки прилип к ноздрям.
Где б ты ни был, принюхайся и поймешь,
ты на самом деле остался там.

Там наждачным храпом усыпан пол,
квелый лепет страшен, как лик Творца,
и когтями рвет галоперидол
наизнанку выкрученные сердца.

Этот морок всажен в тебя, как нож.
Этот бред не вытравить нипочем,
если только в памяти не найдешь
заповедный, въедливый пустячок —

как под небом, выцветшим от весны,
замарашка-пигалица брела

на свободе, на воле, с той стороны
мутной толщи незыблемого стекла.

* * *

Посвящается Максиму

На продавленной койке переплыв коридор,
у окна безысходно пустого
ты пушинкой впадаешь в упругий напор
нефтяного простора.

Но каленые иглы пинцетом берут
и полощут ветвистую кровь на ветру,
и по вене вгоняют отраву.
Ты пристегнут ремнями. С медной желчью во рту,
ты готов к переправе.

Отовсюду глядит белобрысая смерть
и сигает на плечи с разгона.
Круглосуточно лампочка тлеет в уме
без плафона.

По кадык замечен ядовитой золой,
ты с натугой разлепишь ресницы,
услышав, как вдали, над прозрачной землей
прозвенит голубая синица.

А щербатая кружка, словно сон, далека
в мягкой одуре феназепама.
И царапает воздух сухая рука.
Мама, дай молока. Мама, дай молока.
Боже, вызови маму.

2014 год

1.

Исхода нет и тяжело вдвойне
что слезы кончились еще на той войне

а братья заедают кровь землей
дыша горелым жиром и золой

и в рукотворной череде ночей
уходят в смерть как вброд через ручей

но эхом раздвигается в окне
жасмина взрыв клубящийся во — мне.

2.

Какая разница, чья волна,
и солнце пышное, и скала?
Какая разница, чья страна,
как леммингов стая, с ума сошла?

Страна родная — неважно, чья.
И кровь на бурьяне — всегда своя.

3.

Не верь, что кто-то без греха.
Не верь, что где-то ночь тиха.

Опять покоя нет убитым,
и снова богу не до сна,
и веет жутью первобытной
насквозь пробитая луна.

Очи

Распростерта над Киевом, Ригой, Москвой
безучастная глушь небосвода.
Роговица ободрана звездным песком.
Запоздалой отравой, зудящей тоской
бродит в жилах свобода.

Пересохшей листвой осыпаются сны,
а потом сквозь удушливый воздух видны,
словно сгустки мороза и ночи,
неотступно следящие с той стороны
удивленные очи.

Невозможно ни спрятаться, ни закричать.
Это шуточки, сказки — полынь, саранча,
и блудница, и зверь, и седьмая печать.

Равнодушные к воню барака,
по колено в бессмысленной мерзлой крови,
на корявых развалинах страха
мы косматым бурьяном над миром стоим.
И мотыгу берет херувим.



Владлен Дозорцев

Владлен Дозорцев. Поэт, прозаик, драматург, публицист, кинорежиссер документального и художественного кино. В годы перестройки возглавлял литературный журнал «Даугава». Автор семи поэтических книг, повестей, романа, а также пьес, поставленных во множестве русских и зарубежных театров в середине восьмидесятых годов. В соавторстве с Раймондом Паулсом создал десятки песен.

Мертвый сезон

Расставим стулья так, как при большой уборке
Закрытого уже приморского кафе.
Последний алконавт, как тот моряк у Лорки,
Уходит по кривой, куда уходят все.

Пора и нам домой из временного улья.
Но дом на одного жильца. И потому
Уловка помогать сдвигать столы и стулья
Есть повод лишний час побыть не одному.

Тем более — сентябрь. И если ночь бессонна,
Ты слышишь молотки отчетливей всего.
А это значит, жить до мертвого сезона
С забытыми кафе осталось — ничего.

Я не умею жить один. С приходом ночи
Меня смущает скрип в небесном колесе.
Но если не постичь науку одиночеств,
То как нам уходить, куда уходят все?

Я говорю себе: осваивай потери,
Благодари болезнь, благослови беду.

В умолкнувшем звонке, в задернутой портъере
Не больше пустоты, чем в жизни на виду.

Наука отвыкать тем тяжелей, чем ближе
Тот возраст, за каким забвенье на кону.
Лишь потому никто полковнику не пишет,
Что все-таки он сам не пишет никому.

И если почтальон заедет ненароком
В твой одинокий дом в прибрежной полосе,
Оставь ему листок, прикреплённый к воротам,
О том, что все ушли, куда уходят все.

Полдень

Раз уж мы на этом свете,
над поверхностью травы,
там, где невидимка-ветер —
всадником без головы,

там, где хмель одолевая,
вербу штопает пчела,
где летят, одуревая
от бесплотности, тела,

где исходит солнце в клевер,
в корни, клубни, крыши клунь,
где июлем в чистом хлеве
разрешается июнь,

раз уж мы сюда — из Нечто,
в это мир, ржаной и млечный,
в помощь стеблям и зверью, —
жизнь моя, благодарю!

Я хочу понять, за что мне.
Но черно во мне, как в штольне.
Только возле потолка —
две светинки, два волчка.

Став на цыпочки, как козы
смотрят в дырочки плетня,

сквозь зрачки мои, сквозь слезы
кто-то смотрит из меня.

Russula grata¹

В принципе, я не тушуюсь. Но не тусуюсь.
Редко высываюсь
из своей каморки
в свет,
где нарезают круги, красуясь,
местные мухоморы и мухоморки.

Шарканье ножек, приподниманье шляпок...
Но у меня — аллергия на запах.

Плотность парфюма с плоткостью алкоголя
в сумме дают
все-таки пот испода.
Кроме того,
их языком глаголя,
я выпадаю, видимо, из дресс-кода.

На фейс-контроле могут напрямч нарядом,
сверить со списком, взять на орла и решку.
Могут обидеть полупочтенным взглядом
мною приведенную
сыроежку.

В принципе, у любого лесного брата
есть в этой жизни
свои игрушки.
Из галлюциногенов — лучше Russula grata.
Эти оборки на ножке, мантии, рюшки...

Ей, сыроежке, в этом лесу все ново!
Будет потом щебетать обо всем подробно.
Ради нее и ходим, если ab ovo.
Господи,
как же она съедобна!

Comme des garçons²

Вот пришла старлетка — над бровью кепка.
Ниже кепки — в кнопках комбинезон.
Руку жмет от себя, по-пацански крепко.
Пахнет линией ком де гарсон.

Ходит быстро, цепко, походкой зека.
Хочет сразу стрелки перевести.
Полуженское имя Женька, Жека.
Полумужеское.
Травести.

Если гендерный код
стереть резинкой,
то не должен он подавать голосок.
Что ж ты вдруг взлетел и пошел лезгинкой,
чертом вскакивая на носок?

Эта бегалка — вся из другого клуба.
Эта кожанка — просто не наш фасон.
Никогда нас не трогала Рей Кавакубо
с терпкой линией ком де гарсон.

Наши ноздри шалели
от Коко Шанели.
С нюхачами мы шли по ее следам.
Если чем и пахли
наши шинели,
то отдушкой ком де мадам.

Досыл

Теперь, когда вовсю панует осень
(в моих, в моих чертах, а не вовне),
мне стало жаль, что нерелигиозен
я сделался, что бога нет во мне.

Не я его, не он меня покинул
как раз тогда, когда нужней всего.

¹ Сыроежка приятная (лат.)

² Как у парней (фр.)

Уже давно из азбуки я вынул
большую букву имени его.

Не потому, что на упрек Иова
я все-таки не пережил ответ.
А потому что знания иного
достойн тот, в ком поклоненья нет.

Светлей ли я того, кто ищет глазом
небесный лик, чей промысел один?
О, нет, о, нет! Несуверный разум —
незванный гость, печальный господин.

Легко ли знать пределы жизни зыбкой!
Вот ежели во что и верю я,
то разве в то, что божеской ошибкой
завелся в жизни разум бытия.



Юрий Касянич

Юрий Касянич. Родился и живет в Риге. Поэт, переводчик, прозаик. Член союза писателей Латвии, Союза российских писателей, Балтийской Гильдии поэтов. Победитель литературного конкурса Союза писателей Латвии (1995). Автор трех поэтических сборников и двух книг переводов с латышского. Постоянный редактор-составитель ежегодного поэтического альманаха Дней русской культуры в Латвии «Письмена» (2012-2016).

На заставе сердечной

Осенняя увертюра

1.

дай, сентябрь, серебра паутин —
залатать бы прорехи
в небе, плачущем, —
словно над новой утратой — судьба,
перебрав церебральной перцовки;
закат-пиротехник
отменил фейерверк — поминальная смета скудна.

и за что ты коришь и караешь, всевышний корректор?
переврав адреса, шлешь повестки друзьям, без суда
отправляя их вдаль;
жизни вдруг высыхают, как реки;
на заставе сердечной с годами все меньше солдат...

здравствуй, пряткая белка,
досталось и нам на орехи,
как запасы по дуплам ни прячь,
о былом ни судачь,

над орешником лебедь прощается, белый, как реквием.
он уронит перо.
и напишет перо —
навсегда.

2.

стой, октябрь, пусть в настое садов будет вкус кальвадоса,
пламенеет пейзаж, тройку резвых недель придержи
чтоб еще в бабьелетнем тепле покуражиться вдосталь,
а потом наблюдать, как даются другим виражи

ах, октябрь, как поет этот ветер — в четыре октавы!
как солист, что созвал стадион и молчать повелел!
глянь — черемух кусты, облетая, толкаясь локтями,
выбегают из леса; над лугом висит гобелен

из малиновых ниток, что осень поспешно соткала,
обещая мне ветреный день и листвы бенефис;
жизнь насущная — как переменного тока токката:
вверх — стаккато восторга!
но стекла — осколками — вниз

кто затеял рулетку? зачем в наших судьбах ведется
сплошь — зеро: опоздания — к успеху, к раздаче, к любви
и лимонный рассвет — точно ария Каварадосси,
птицы — нотами в небе — как незавершенный клавиш

3.

спи, ноябрь, в стойле осени нежно вбирая ноздрями
сиплый воздух; пусть конюх сутулый, от листьев рябой,
ворох лунного сена внесет; а финал мелодрамы
репетировать станем, когда белый дым над трубой

встанет ночью — до звезд, как рукав галактической почты,
что связует нас с небом, откуда приходят порой
письма, полные белых признаний, как новая почесть
и соблазн — безотчетно рвануть по бумаге пером

и пускай черновик ноября безнадежно испорчен —
дождь прошел, как беглец, через поле, оставив следы,
новый сбудется снег, ветви голые пишут, и почерк
на странице небес мне знаком, а пророчеств беды

начитался я вдоволь! и сколь ни грозятся прогнозы,
чудо вновь вероятно, когда, завернувшись в зарю,
вьюга в дверь постучит, и рябина, краснея, пригнется
к перекрестью окна, в тон румяному снегирию.

Невский ветер

По набережным Петербурга слоняюсь в конце октября,
где ветер, сырой и сумбурный, у кленов и лип отобрал
листвы золотые запасы. Летит, отраженья палат
кроша, словно булку, зубастым созданьям, столетью подряд
живущим под черной водою, питаюсь зерном фонарей.
Иду, провожаем звездою, навстречу застывшим в норе
тяжелого времени года, когда улыбаться невмочь,
когда дирижабли свободы сдуваются, падая в ночь.
Простуда желает реванша над беглой венозной Невой.
И тень мою ветер срывает, как мокрый асфальт, с мостовой.

Комета

девочка в красном кабриолете —
словно клубникой мазнула по лету
волосы рыжей волной пролетели,
как у Венеры с холста Боттичелли

всадница, что тебе в городе сфинксов
среди алюминиевых васильков:
где кавалеры качаются финские,
взглядами ищущие силикон?

ровные тени на нервные веки:
«знаешь, как трудно — пахать и порхать!
где кружевницы галантного века?
трах тебя трижды матриархат!»

лихо вдоль ясеневых променадов
зиппером красным — по осевой
мчится — такую меня принимайте,
интерпретаторы мира сего!

и не мигая — как взгляд василиска —
в спину ей смотрит рябая луна
будь осторожна сегодня, солистка:
мощно в вазонах цветет белена!

ах, карамель, cara mia, комета,
детка, come on! искушаешь беду!
девочка в пламени кабриолета
мчится, сгорая у всех на виду.

Июль. Зной

веткой зацветавшего шиповника,
сливочною пеной, белизной
жаркое, пожарное запомнилось
лето, что внесло знобящий зной;

солнце в полдень хохотало зычно,
ночью тлела душная постель,
мы молились ливню — как язычники,
высыхая рыбами в песке

сыпался июль на плечи города
за апаши воспаленных крыш
небо выцветало как цикорий
ты за что караешь и коришь?

стали тени тонкими, как бритвы,
пересох пейзаж и побледнел,
точно губы после долгой битвы,
что считают выживших людей

Журавли

Сегодня улетали журавли.
Отлет — как расставание с любовью.
Они прошли по синеве глубокой,
как многовесельные корабли.

Казалось, что им вторили вдогон
все звонари окрестных колоколен
над озером, над лесом и над полем...

В последний раз — навзрыд — о дорогом
кричали, улетаю до весны,
вонзаясь в неприветливость пространства;

их голоса еще не раз приснятся
ноябрьской ночью, чтобы довести
твою печаль о вычерпанном дне
до высшего, хорального предела,
когда надежды крона поредела
и не дыша звезда лежит на дне.

Как уголь, наземь упадет гроза,
из неба, что пресыщено прощаньем,
вслед — молнии, как выстрелы пиццалей,
и тихих рощ качнутся образа.

Дай, Боже, силы загребной крылам
и отведи от трассы самолетной,
где след инверсионный намалеван,
что делит жизнь и небо пополам.

Летят,
как на далекие порты
в атаку — финикийские биремы...

Из палых перьев
сделать береги
к зиме
осталось времени впритык.



Анатолий Слепков. «Подкидыш», Лев Толстой



Милена Макарова

Милена Макарова. Поэт, переводчик. Родилась в Риге. Училась на Филологическом и Историко-философском факультетах Латвийского университета. Занималась журналистикой. Член Союза писателей Латвии и Балтийской Гильдии поэтов. Автор поэтического сборника и пяти книг переводов латышской поэзии и прозы. Неоднократный стипендиат Фонда Культурного капитала Латвии. Публиковалась в журналах «Даугава», «Шпиль», «Рижский альманах» (Латвия), «Радуга», «Таллинн» (Эстония), «Дружба Народов» (Москва), «Литературный Иерусалим» (Израиль), «Крещатик» (Германия), «Собор» (Украина), «Северная Аврора» (Санкт-Петербург) и других. Стихи переводились на латышский, украинский, английский языки. Участник ряда международных литературных форумов и культурных проектов.

* * *

Море январское, пляж и пустые качели.
В сердце бесснежной зимы, будто в собственной келье
Миру незримой, в доме у моря стального
Я обитаю. И не дано мне иного.

Холоден ветренный полдень. Приморского храма
Колокол слышен и плещутся волны упрямо.
Скоро, наверное, солнце проглянет несмело.
Странно, но только на небо душа захотела.

Небо и море, и катятся волны упрямо.
Я прочитала недавно, что мир — голограмма.
Все нереально, хотя и до боли знакомо –
Море и сосны и стены приморского дома.

Мир-голограмма? Это, наверное, мило.
Только вот холодно сердцу приморской сивиллы.
Только огнем отраженным светится слово.
И не дано, не дано, предсказания иного...

* * *

...И, стало быть, что-то еще стерпит бумага,
Но ничто уже не будет как прежде.
Я знаю, как проходить «Путь Сантьяго»
Вдоль Балтийского побережья.

Мой призрачный Сантьяго-де-Кампостелла...
Тяжелый посох или гирлянда мидий?
Я знаю, как плакать, чтобы никто не видел.
Но сейчас улыбнусь. Тебе улыбнусь несмело.

Какая разница — янтарь или жемчуг в четках?
Слеза на щеке — прозрачная соль морская.
Ладья Святого Петра... Рыбацкая лодка...
Какое из слов сердце мое приласкает?

Сквозь жизнь твою я прохожу незримо.
По правую руку шумят ледяные волны.
Глаза мои прозрачны как взгляд пилигрима,
Когда он смотрит на небо в распахнутых молний...

...Стрела на мокром песке. Прибрежная тина,
Маяк заброшенный. Розовый свет над водою...
Пусть каждый мой шаг станет сейчас звездой.
Звездой. На Млечном Пути. Эль Камино...

Венеция

Венеция — всему своя цена.
Дорога разветвляется как вена.
Мне кто-то говорил, что жизнь — бесценна.
Но верила я в то, что жизнь — одна...

Венеция, мне не хватает лир.
Мне не хватает звона струн и денег.
Мне просто не хватает вдохновенья
Переносить безумный этот мир.

Венеция, всему свой день и час.
Я жажду настоящих карнавалов.
Взамен тех масок и глазных провалов,
Которые встречаю вместо глаз...

Венеция — всему своя цена.
Однажды я покину эти сцены,
Чтоб прикоснулась, словно Авиценна,
К моей душе прекрасная страна.

* * *

Глубоким утром так прозрачны раны,
Так осторожны спрятанные русла...
Я вспомню бусы острова Мурано,
Его стекло, мерцающее тускло.

Его браслеты как венцы на венах,
И всю венецианскую лагуну.
Все то, что я увижу непременно
Как знак судьбы под маскою чугунной.

Все то, что я увижу по приезду,
Невыразимо, как дворец Ка д'Оро...
Настанет день. Пройдут дожди над бездной.
И я войду в свой отраженный город.

* * *

(Из цикла «Стихи черного зеркала»)

Смерть совсем рядом. Она ходит кругами.
Вышивает крестиком. Делает origami
Из писем прощальных. На ней — то фата, то траур.
Ей тысячи лет. Она — серьезная фрау!

Она говорит — «Tod». Тот, кто пойдет со мною,
Узнает небесное и позабудет земное.
Играет на флейте в парчовом халате факира,
И, чтобы ее не встретить, вы отдадите полмира.

Но она помечает фатальный рейс самолета,
Она то печальна, то весела отчего-то.
То светом тоннеля ведет, то сумраком коридора.
Глаза ее — пепел и лед. Она — роковая сеньора!

В руке у нее — то стилет, то дивная «аква тофана».
Ей тысячи лет. Она одевается странно.

Стоит одиноко в холодном тумане перрона,
И сбиты ее каблуки, и алмазна корона.

И там, где у крови горячечный привкус металла,
Проходит незримо с улыбкой надменно-усталой.
С улыбкой до боли знакомой, с улыбкой спокойной...
Ей надо успеть на все безрассудные войны.

* * *

Как же ярко светит Бетельгейзе...
После нас останется не слава —
Битое стекло. Пустые гильзы.
Шелковая ткань с пятном кровавым.

Опустевшие поля сражений.
Локоны в свинцовых медальонах.
Вновь и вновь «возлюбленные тени»
Бродят под созвездьем Ориона.

После нас останется не слава —
Лик времен истерзанно-избитый.
Где-то там, в груди Magistra Vitae —
Сердце из титанового сплава.

Бьется беспощадно и спокойно
Сердце из титанового сплава.
Фатумом отмечены кровавым
Эти Богом проклятые войны...

* * *

Золото дней моих плывет в финикийской биреме,
Растворяется в «Царской» водке или чьем-то безмолвии.
Но в сияющей точке, где сойдутся Пространство и Время,
Вспыхнут незримые страсти, словно подземные молнии.

Золото дней моих трачу столь безрассудно,
Что даже страшно самой, но не дано иного.
Мои соверены, дукаты, динары, эскудо...
Время земное мое — до последнего золотого.

Все драгоценно так, что до последнего часа
Не отрекусь от жизни своей нелепой.

Золото дней моих — это нарциссы Грасса,
Запах лаванды, цвет ледяного неба.

Это суровый контур гербовых лилий,
Это Карта Сокровищ на скорую руку.
Это слова, которые мы позабыли
Перед прощанием навечно сказать друг другу.



Ирина Зиновчик

Ирина Зиновчик. Поэт. Окончила Институт инженеров гражданской авиации. Работает главным бухгалтером. Член Рижского Союза литераторов «Светоч». Лауреат конкурса поэзии в Чехии. Автор нескольких текстов песен для рок-группы «Т». Публиковалась в различных изданиях.

Рассвет

Рассыпая по бездорожью сухую печаль,
проливаясь над перелеском безмолвной водой,
завершается выдохом каждое из начал,
исчезает тонким потоком за дальней грядой —

в этих далях нет ни одной полноводной реки..
Но, возрастая медленно из человеческих снов,
не в согласии с заданным, а, скорей, вопреки,
все является заново. Видишь, взметнуться готов,

настоявшись на одуванчиках, ветреный вздох,
наполняя терпким напитком будущий день?
Этот ветер, пройдоха из всех возможных пройдох,
облака на макушки деревьев надев набекрень,

расчищает окрестности, пыль унося на крыле,
чтобы с каждым рассветом ты любоваться мог,
как прозрачное небо к спящей еще земле
пришивает румяною ниткой недремлющий Бог.
Путешествие к чудотворцу
За крутым поворотом прячутся Миры Ликийские —
там швыряются брызгами в облако синие волны.

Подустала дорога, считавшая склоны ребристые
до Николиной вотчины; город откроется, полон
беспорядочным гулом, мельканием и туристами,
создающими нужную тень на продуманном фоне.
Воздух розов и прян, а у церкви — почти аметистовый;

словно в толще воды, под церковными сводами тонет
тихий говор невольных паломников с медными лицами,
по исхоженным тропам бредущих туда и оттуда,
оставляя на вытертых стенах прямыми уликами
отпечатки желаний в надежде на скорое чудо
(говорят, что сбываются; даже, бывает, прилюдно).

Только встанешь к святому поближе на йоту, а толку-то;
просто так не окажешься рядом, не то, чтобы вровень —
не возрасти до небес, приподнявшись на малую толику
над не-верой своей, если веру не держит корень...

А в безвестной глуши, беспощадно слова коверкая,
бабка молится и зовет: «Микола Мирикийский!»;
открывается бабке на небе заветная дверка, и
чудотворец берет ее за руку, чудный и близкий.

Полет
Укрываясь обрывками снов (облаков?),
небо мимо плывет; почему, неизвестно,
от себя заземлившейся так далеко
я в пространстве ищу поднебесное место.

Безопасная пристань пока не видна,
но уже, ярким светом себя обнаружив,
самолету навстречу стремится страна.
Что ж, назвали Ирландией, лезь ко мне в душу

крепкой девушкой с кожей, прозрачной на свет,
по лицу беспорядочно рыжие метки.
Мама, это же ты — фото радостных лет;
так не трудно поверить!.. Мой разум некрепкий

выдает на-гора чью-то прежнюю жизнь,
по которой могла бы я двигаться смело,

прорастая до неба и падая вниз,
загадав себе счастье под вечной омелой.

Я нашла бы покинутый предками дом
и вернула себе равновесие мира;
только нет ни на этом, а впрочем — и том
берегу мне покоя. Ах, бедная Ира!

Но девчушка чужая, прижавшись к плечу,
(несомненно, младенцу приходится верить),
прошептала на ушко, картавя чуть-чуть:
«А я знаю, что ты называешься Мэри.
Видишь, ветер меняется, и открываются двери?»
Уходящая натура Рижского взморья
Покрытый вечной изощренностью плюща
и проседающий под тяжестью бывшего,
совсем состарился, внезапно отощал —
наш летневременный приют, теперь прощай...
Какое странное и злое слово...

В останках дома чья-то добрая рука
рисует видимость обыденных деталей:
еще хранят тепло каминовы бока,
и дым от шишек снова рвется в облака,
и дюнный берег — лучше всех италий;

прибрежный воздух полон сырости морской,
и вяло-сохнувшие полотенца где-то
за нескончаемой дворовой листвой
вновь наполняются и влагой, и тоской
по уходящему в июле лету...

Рассаду мха рассыпав щедро по крыльцу,
холодный ветер вырывается на волю;
морщин добавивший и дому, и лицу,
надрывно шепчет, что давно идет к концу
все, что считалось данностью живою.

Сосна-соседка спрячет старые глаза,
прикрыв их искренность покровом светлой грусти.
Но вдруг покатится янтарная слеза,

и, нить последнюю со вздохом развязав,
сосна уставший дом навек отпустит.

Слово

Расползался над кладбищем липкий туман,
погребая под саваном солнечный свет —
может, души сочились из вырытых ям;
может, день испарялся за душами вслед.

Еле видный, украшенный звуками, храм
заглушал невеселые крики ворон;
и окрест раздавалось его «не отдам...»,
и взлетала надежда со дна похорон.

Небо, словно размокший от влаги плакат,
непрозрачной бумагой ложилось на крест.
Прежний текст исчезал, без вины виноват,
и читалось нечаянно слово «Воскрес».

Веревочка

Вьется, вьется веревочка, под нею ложится трава;
только было лето, ныне, погляди, уже Покрова
и на небе последний колыхнется птичий клин,
а под горкой истлевают разноцветный сатин.

Делит, делит веревочка житейское напополам —
то по канавам лезет, то поднимается к небесам.
И никого ей, бессовестной, ни на грошик не жаль —
забираясь тихонечко в непроглядную даль,

тянет, тянет за собою дураков несметную рать;
все из тех, кто не знает, да и откуда им было знать,
что на конце у веревочки рождается сеть...
Никому теперь не спрятаться. Не успеть.



Михаил Москаленко

Михаил Москаленко. Поэт. Член Союза писателей России и Союза литераторов «Светоч». Публиковался в сборниках «Светоч», «Второй Петербург». Автор нескольких книг стихов. Дипломант вселатвийского литературного конкурса «Признание». Переводчик стихотворений с санскрита. Живет в пос. Эгльупе (Латвия).

Июньская зарисовка

Атланты держали тяжесть подъезда,
 На крышу — солнце потоком.
 Пригоршни червонцев оно безвозмездно
 Бросало в ладони окон.
 Трава проросла через серость крыши,
 Мне слышалась жизни песня.
 И если бы думалось мне чуть тише,
 То было б еще интересней.
 День — синевую, небо — размахом,
 Лету поется в начале.
 Однажды все это предстанет прахом,
 Но нету во мне печали.
 Держал я жизнь и в руках, и в сердце,
 А жизнь как меня обнимала!
 Я знаю, когда-то закроется дверца,
 Осталось так много и мало...
 Июньский полдень, дворики Риги.
 Мгновение, солнцем брызни!
 А кто-то невидимый пишет книгу,
 И буквы в ней — наши жизни.

Люциферианское

Залиты Вечности сады
 Живой, мятежной влагой Духа.
 Цветенье Утренней Звезды.
 Рассвет от уха и до уха.
 Улыбкой этой вдохновен,
 Всей логике бросая вызов,
 Лечу, по-прежнему влюблен,
 Туда, где я не виден снизу.
 Мой путь — повыше облаков.
 Вновь орошен Живой Бедой,
 Поет в сто радуг сад веков.
 Мой танец с Утренней Звездой.

Ноты в каплях

Ноты в каплях дождя,
 Я все время смотрю на Восток.
 Если небо захочет вождя,
 Значит, в небе проявится Бог.
 Я пишу столько песен,
 Вот только не знаю, о чем.
 Я тебе интересен,
 Но лишь со скрипичным ключом.
 Стоит мне замолчать,
 Как на ликах какая-то тень.
 Я привык замечать
 Как в автобус заходит день.
 А когда чьи-то руки
 Настроят закат как рояль,
 Ты увидишь, как красные звуки
 Наполнят лиловый хрусталь.
 Я о чем-то спросил у дождя,
 Начиная смотреть на Восток.
 Если небо захочет вождя,
 Значит, в небе проявится Бог.



Наталья Бельская

Наталья Бельская. Член Союза писателей России. Родилась в Астрахани. Окончила Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Инженер-технолог. Автор двух стихотворных сборников. Член Рижского Союза литераторов «Светоч». Публиковалась в сборниках «Светоч», «Письмена» и других.

* * *

Упрямых орлят из последних сил
Ты ставила на крыло.
Навязчивый дождь без конца моросил.
Хотелось, чтоб рассвело.
Сложить к подножию алтаря
Всю жизнь свою что за прок?
Тебе философия календаря
Бесстрастно дает урок.
И солнце твое превратилось в тень,
Сконфузив вчерашний свет,
И царства, где пышно цвела сирень,
Сегодня в помине нет.
Без промаха сердце разят слова,
Хоть брошены наугад.
По водостокам, созрев едва,
Грохочет колющий град.
В унынье, конечно, впасть грешно —
Да как избежать обид?
Упрямо в бокале горчит вино
И рана в груди кровит.
Но станет однажды легко-легко,
Когда протрубят отбой.
Там белое облако, как молоко,

И радуга над головой.
Напрасно теперь подбирать слова —
Иссяк на слова лимит.
Прибита дождями к земле трава
И матушка крепко спит.

Астраханское летнее

За Казачьим плыли дачи,
Льнули к ласковой воде.
Там, под солнышком горячим,
Мы купались на Болде,
Где проворные моторки
Спор вели наперебой,
Волн веселые оборки
Оставляя за собой.
Млели лодки у причала
От буксирного гудка.
Их отчаянно качала
Простодушная река.
Зрел беспечно вечер новый
У июля на руках
В абрикосово-вишневых
Астраханских облаках.

* * *

Серебряный росчерк на синем,
Озвученный песней крыла.
К востоку. К истоку. В Россию.
В дорогу, была — ни была.

Растают сомнения льдинки.
Моряна поддержит плечом.
Знакомые с детства суглинки
Обнимут меня горячо.

Лучи астраханского солнца
Блеснут у родного крыльца.
И музыка в сердце проснется,
Стирая морщинки с лица.



Анатолий Слепков. «Тема и Жучка», Николай Гарин-Михайловский. Обложка



Владимир Соляр

Владимир Соляр. Родился в 1959 г. в России. С 1977 г. живет в Латвии. Окончил историко-филологический факультет Даугавпилсского университета. Преподаватель истории и литературы. Автор-исполнитель. Руководитель продюсерского центра «Эклектика». Лауреат и член жюри поэтических конкурсов и фестивалей авторской песни в Прибалтике, России, Беларуси, Чехии. Публиковался в альманахах Латвии и России. Автор двух сборников стихов и четырех дисков собственных песен.

Вялотекущий Армагеддон

Как не устать от звона
телефонов и колоколов,
вещающих без конца
о скорой кончине Света?
О чем не молчит икона –
молчание громче слов –
может, о том, что мы
ищем во всех приметах?
Но ветер листву унес
и скомкал листы газет,
где на шести полосах –
переговоры о мире...
Мы изучаем спрос
на желание жить без бед.
Мы созерцаем мир,
сидя в своей квартире.
Я выхожу из дома.
Я покупаю хлеб.
Кажется, что живу,
иногда обо всем забывая,

но с дальнего космодрома
 Святые Борис и Глеб
 смотрят, как в небо взвилась
 церковка их святая...
 И если сначала начать,
 с ветхозаветных дней,
 с ведающих судьбу
 оракулов-звездочетов,
 как вовремя обуздать
 апокалиптических коней
 у этой последней черты,
 у этой точки отсчета?!

В доме ребенок спит.
 В комнатах тишина.
 Город полон забот
 о предстоящей зиме.
 Мой телефон молчит
 и ты не удивлена
 тому, что царит покой
 на голубой Земле.

Музыка февраля

Она жила,
 она цвела
 узором на февральских окнах,
 писала вязью на полотнах
 заиндевшего стекла.

Она хрусталиками льда
 похрустывала в хрупких лужах,
 в них, наспех застекленных стужей,
 еще вчера была вода...

Метель замаялась уже
 метаться в пляске ми минора...
 В портал продрогшего собора
 вмерзали льдинки витражей.

Пурга кружилась в кураже.
 В органных трубах выла вьюга.
 То ли соната, то ли fuga
 вещала песней ворожей...

И вот,
 войдя в ажиотаж,
 Во двор, под арку, проскользнула,
 но не умолкла, не уснула,
 а поднялась на мой этаж...

И притаилась в тишине
 и в скрипе половиц в прихожей;
 и, кажется, была похожей
 на дрожь — ознобом по спине...

Озябших клавиш белизна
 и пальцев нервное касанье
 не нарушали допоздна
 ее прихода ожиданье.

...И звук, рождаясь, замирал,
 хоть тишины и не боится,
 как в дом влетающая птица,
 в холодной комнате дрожал

и в разлинованных листах,
 томящихся в плену дремоты,
 где птицами на проводах —
 еще не сыгранные ноты...

Памяти друга

Взволнован был. Легко шутил.
 Смеялся.
 Курил и пеплом насорил,
 и извинялся.
 Тем бытовых не разрешил
 коснуться.

В себя ушел и не спешил
вернуться.
Бокал со всеми поднимал
за счастье!
Стихи какие-то читал
о власти...
Рассеяннo в окно смотрел
и в лица.
Хотел, но так и не сумел
напиться.
Кого-то в чем-то убедить
пытался,
собрался было уходить —
остался.
И был смешон, и даже глуп
однажды,
когда слова слетели с губ
о важном...
И душу вывернуть хотел
наружу.
Смолчал. Пальто свое надел —
и в стужу...
А за окном зима брела
в белом.
И до него ей не было
дела...

Печально, но никто из нас
не догадался,
что это все в последний раз,
что он прощался...



Петр Межиньш

Петр Межиньш. Поэт. Член СП России. Автор нескольких поэтических сборников и ряда литературоведческих работ о поэзии. Стихи для детей публиковались в изданиях: «Гном» (Рига), «Берегиня» (Москва), в сборнике «Стихи для детей» и других. Главный редактор, составитель и издатель альманаха «Светоч». Лауреат литературно-общественной премии им. С. Есенина. Председатель Рижского союза литераторов «Светоч».

* * *

Отгулял осенний лист у оград.
Белым заревом дохнула зима.
И над городом звенит звездопад,
превращая все дома в терема.
Я забыл, что обожгли холода,
что безумно лгут ветра-трубачи...
Опаляет мертвым светом звезда,
о тепло ломая иглы в ночи...
И мне видится — иду по весне,
словно белая сирень расцвела,
и соловушки свирель в тишине
Лунно-светлую печаль повела.
Нежно-бархатный

халат мотылька

Извивается в игре плясовой.
Раскрывается цветок у пенька,
Наполняя все вокруг синевой.

* * *

Миг мимолетен — одуванчиковый миг.
Все уже створки летних песнопений.

Глоточек мал, а тайный свет велик,
и всплеск один
среди желтого кипенья.
Еще тепло и синий взгляд высок —
и — хорошо, пока надежда греет...
Еще хрустальный слышен голосок
среди клевера, ромашек и кипрея.
Еще пока лишь чувствуется тень
не здесь,
а где-то распустила крылья...
Еще не вечер, а веселый день,
и ветер говорит
с дорожной пылью.

* * *

Станционных огней переплеты, пути...
Лунный поезд метели — на звездных парах...
Колокольное пламя тревожно гудит,
и слепой отголосок блуждает в горах.
Вихря встречный состав. И, грохочущий ряд,
И, кричащее горло в кипящем снегу,
И глаза возбужденно во мраке горят,
И, бегущие тени, в летящем кругу...
Изгибаются чащи в суставах ужа,
Белой крови по жилам втекает река...
Сонной памяти бег окликает душа,
Возвращая опять на свои берега.
Этот лунный состав продолжает расти,
Надвигаясь холодным дыханьем сторон,
И трепещется вьюжное сердце в горсти,
И огней голоса оглушают перрон...



Людмила Межиньш

Людмила Межиньш. Поэт. Член Союза писателей России, автор трех поэтических сборников и трех книг для детей. Автор-исполнитель своих песен-стихов под гитару для взрослых и детей. Лауреат всероссийской премии им. П. Ершова и международной премии им. С. Михалкова (за книги для детей). Председатель Общества детских писателей «Светлячок», член Союза литераторов «Светоч» (Рига).

Синеокие люди

Синеокие люди в водопаде плескались,
Подставляя фигуры под поток ледяной.
Вал за валом опалом разбивался о скалы,
И дымком испарялся на одежде льняной.

Выходили на дюны. Облачались в одежды.
Улыбались друг другу, лучезарно чисты.
Возносили молитвы, о любви пели нежно,
В небе радуга млела от земной красоты.

Обнимались, прощаясь, каждый шел в одиночку,
На пути к белой роще исчезая вдаль.
Лес березовый ясен от коры до листочка.
Но пройти по болотам здесь они не могли...

Не до самообмана. Все двенадцать не вышли.
Где в чужой вольной роще затерялись следы?
Но в сознание блуждали только легкие мысли,
Вспоминалось сиянье с неба и от воды.

За болотом разлетно птицы в путь собирались...
Различишь, но не сразу, среди берез лебедей.

Самоцветные перья — радуг — переливались,
А в ромашках — одежды синеоких людей.

В розовом небе планеты ЭлИо

В розовом небе планеты ЭлИо
Птицы резвятся с лиловым отливом,
В локонах волн золотого залива
Рыб лунноглазых мелькают извивы.

Звери лениво блуждают лесами,
Сытые травами, добрые сами,
Цедят губами целебные воды
Речки прозрачной, зеркальной природы.

Ночью поэты планеты ЭлИо
В звездное небо глядят молчаливо,
Мчатся с ЭлИо к Земле мысли-иксы —
Глаз озаренных зеленые искры.

Искорки-иксы становятся снами
Нервных землян, и вопросы «что с нами?..»
Мучают чаще их чуткие души,
Пресный застой представлений нарушив.

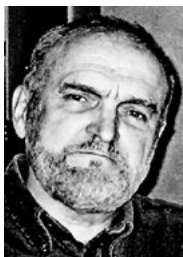
Ах, Юрмала не та...

Ах, пригоршнями звезд в Балтийском (Белом!) море
Под куполом ночным вас легкий дождь венчал;
К ногам счастливых пар выкатывались зори
И переливы волн в мозаичных лучах.

На дюне, где тогда... взвивался «Juras perle»,
Прозрачным кораблем смотрящий в горизонт,
Поговорим о том, как здесь когда-то пели
И Вайкуле, (и мы!), и праздничный Кобзон.

Да, Юрмала не та, вмещавшая когда-то
Весь Soviet Union в приморский ресторан.
Залетные друзья здесь отмечали даты,
Зализывали кровь своих душевных ран.

Летающий белый хлеб подхватывали чайки,
И повторялся трюк «во всей его красе»,
Великий гуманист, артист Аркадий Райкин
По мокрому песку брел, улыбаясь всем.



Сергей Воробьев

Сергей Воробьев. Прозаик, поэт. Родился в Ленинграде в 1947 г. Член Союза писателей России, член и сопредседатель рижского Союза литераторов «Светоч». Публиковался в ряде изданий Латвии и России. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат всероссийской премии «Светить всегда» им. В. В. Маяковского.

Lisboa

Храни сей город, добрая Судьба,
Пусть держат мост твой стройные пилоны,
Недаром Всепрощающий Судья
Вознес свои ладони к Лиссабону.

Богатство, нищета и крутизна
Бессчетных улиц, вьющихся по склонам...
Здесь старина живет и новизна,
Вплетаясь в гобелены Лиссабона.

Помпезных зданий утренний фасад,
И в облаке проявлена икона.
Идут наверх, вперед, но не назад
Ступени улиц — скерцо Лиссабона.

Рука слепого тянется во град,
Звонит слепой, не слышат того звона,
Усиленного во сто тысяч крат
И тонущего в стенах Лиссабона.

Лежит в витринах снедь — о, плоти бред!
Плати эскудо, сняты все препоны:

Омары, крабы, фрукты на обед
В кафе и ресторанах Лиссабона.

Турист бомжу мороженое дал,
Тона размыв до розового тона...
Спешите, я, наверно, опоздал,
На этот вечный праздник Лиссабона.

Средиземное море

Как все зыбко, мой Боже, на этой Земле,
Лунный лик из-за туч весь рябой,
И плыву я под ним на чужом корабле
Средь земель, освященных Тобой.

Зыбь на море, и горы по борту в зыби:
Вал за валом, гряда за грядой.
Мою душу тревожную ты усыпи,
Окропи ее чистой водой.

Подыми меня в горы на взлете крутом:
Как блаженна Земля с высоты,
И кругом ни души... я опомнюсь потом,
Но на миг дай забыться мне Ты.

А опомнюсь (сказал уже — это потом) —
Как утла наша лодка в ночи,
И не видно земли, будто всюду потоп...
Что же делать? Меня научи.

То ли ждать под луной, когда воды спадут,
То ли парус поставить тугой?
Гласа нет. Лишь ветра злую песню поют,
Помолись за меня, Ангел мой.

На Юг

Душа моя так просится на Юг!
Где нет зимы хладеющего лика,
Где круглый год работать может плуг,
И к солнцу все — от мала до велика.

Эх, оттолкнуться бы от вечных льдин!
Их светоч солнца плавил — не оплавил.
Ведь Север не отнял моих седин,
Да и годов так щедро мне прибавил.

Беру пример у перелетных птиц —
Тянусь в полет, как кто-то к райским вратам,
От северных сияний и зарниц
К тропическим рассветам и закатам.

Кавала

В лабиринтах смиренной Кавалы
От сует и от смуты вдали
Мне лимонная ветка кивала
Из времен Мохаммеда Али.

Над заливом прозрачно-зеленым
Древний храм и сосновая весь,
Строгий взгляд проникает с иконы
В мою душу, заблудшую здесь.

Кто я тут? Заплутавшийся странник
С европейских угрюмых низин,
Потерявшийся нищий и данник,
Оступившийся с торной стези.

И зачем в вертикальном раскладе
Этажей, полисадов, витрин,
В непонятном житейском укладе
Я без цели шатаюсь один?

Может быть, уже это бывало —
Воскресилась прапамять моя,
Я в старинных кварталах Кавалы
Возвращаюсь на круги своя.

В поезде

Погашен свет. Закат сползает с окон.
Вагон летит из сумрака во мрак.

Меж спящих тел, протискиваясь боком,
Я мыслью бился в темноте, что все не так.

«Да, все не так», — мне вторило из теми —
Колеса в стыках отбивали такт.
На полках спящие от духоты потели,
Прохрапывая дни, недели и лета.

«Не так!» — с платформ, как с эшафотов,
Летело рикошетом с полотна...
Когда был свет, я не сказал чего-то
И чаши полной не допил до дна.

Не так я делал дело в пересудах,
Гонимый спешкой, щелканьем хлыста,
Как будто это я, а не Иуда,
Подобострастно целовал Христа.

Пусть все не так. Но, улучив минуту
Между невидимых по слепоте потерь,
Я полным вдохом разрываю пути
И долгим выдохом реву, как дикий зверь.

И в плотном воздухе — в сивушных перегарах
С плацкартных мест все стронулось. Так муть
Из жидких сред, настоянных и старых,
Всплывает вверх, когда ее встряхнуть.

Скольжу меж тел, как в рубенсовских темах,
Как ясноглазый глупый херувим:
Здесь — толпы гуннов в жарких римских термах
Напились в усмерть выдержанных вин.

И нет здесь слов, одно воображение —
Бесполой акт без стонов и без слез,
И нет борьбы, одно телоброжение
Под мерный стук расхлябанных колес.



Анатолий Слепков. «Избранное», Л. Пантелеев.

Российскому научно-техническому обществу судостроителей имени А. Н. Крылова — 150 лет!

В 2016 году исполнилось 150 лет со дня создания Русского Императорского Технического общества (НТО судостроителей имени А. Н. Крылова). Эта дата отмечалась юбилеями в два этапа: в мае и в октябре 2016 года. Ниже — репортаж нашего корреспондента с мест проведения октябрьских юбилейных мероприятий.

21 октября в зале Николаевского дворца (Дворец труда, пл. Труда, 4) было открыто пленарное заседание международного научно-практического форума «Передовые технологии как основа стратегии развития общества». Организаторами форума выступили продолжатели традиций РТО: Российский союз научных и инженерных общественных объединений и Международный союз научных и инженерных общественных объединений (Союз НИО) совместно с Научно-техническим обществом судостроителей имени академика А.Н. Крылова при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Днем раньше, 20 октября, представители Союза НИО и участники форума слушали, как в их честь стреляет пушка Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости, совершали прогулку по крепости с осмотром места первого заседания русского Технического Общества и посещали захоронения А. Н. Крылова, Д. И. Менделеева, И. П. Павлова и других видных ученых России на Волковском кладбище. После обеда отправились в музей предприятия АО «Адмиралтейские верфи».

21 октября, в ходе форума, были сделаны приветственные выступления и доклады выдающихся ученых и научно-технических деятелей. В числе выступавших — президент Международного и Российского Союзов НИО, член Президиума РАН, академик Ю. В. Гуляев; лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов; президент НТО судостроителей им. академика А.Н. Крылова, д.т.н., профессор, Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга В. Л. Александров; ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, вице-президент Ассоциации технических университетов, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН А. И. Рудской; президент Между-

народной и Российской инженерных академий, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН Б. В. Гусев и многие другие.

На пленарном заседании поднимались вопросы первоочередной важности для научно-технического развития России. Президент Международного и Российского Союзов НИО, член Президиума РАН, академик Ю. В. Гуляев в своем выступлении сказал о том, что сейчас становится очевидным, что реформы РАН не приносят желаемых результатов. Крупнейшие российские ученые выступают с предложениями скорректировать эти реформы. На Совете при президенте РФ по науке и образованию Президент России В. В. Путин сообщил, что он считает необходимым усиление научно-технического развития страны, наряду со стратегией национальной безопасности. В соответствии со своим уставом и требованиями научно-технического прогресса, в НТО судостроителей широко применялись инновации, их постоянно использовали такие крупнейшие ученые, как А. Н. Крылов и В. Г. Шухов. Сейчас, в связи со 150-летием НТО, приходится задуматься о том, в каком направлении развиваться дальше.

Президент НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова, Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга В. Л. Александров, выступая, подчеркнул, что судостроительная промышленность — одна из самых перспективных промышленных отраслей в России. Недавно был спущен на воду шестой по счету атомный ледокол. Однако, на фоне больших научно-технических достижений, на первый план выступают вопросы организации труда, кадровые проблемы. Так, у инженеров и технических работников заработные платы по-прежнему ниже, чем у высококвалифицированных рабочих. При этом перед НТО стоит грандиозная задача — подготовка специалистов для Дальнего Востока. Оказывается, на Дальнем Востоке сегодня не только осваиваются земли, но и строится крупный судостроительный комплекс! Также немаловажная задача — координация работы НТО и военно-морского флота...

Пленарное заседание продолжалось с 10:00 до 14:30 часов. После завершения работы форума там же, во Дворце труда, состоялся праздничный концерт, а затем — юбилейный съезд Международного Союза НИО и очередной IV пленум Координационного совета Российского Союза НИО, посвященные 150-летию со дня создания РТО.

Редакция журнала «Аврора» поздравляет всех «виновников торжества» — вершителей отечественного научно-технического прогресса — со 150-летним юбилеем и желает каждому из них крепкого здоровья, успехов, новых побед и праздничного настроения!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВРОРА»



Президент НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова, д.т.н., профессор, Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга В. Л. Александров вручает президенту Международного и Российского Союзов НИО, члену Президиума РАН, академику Ю. В. Гуляеву наградной кортик





*Выступление академика В. Г. Пешехонова,
генерального директора концерна «Электроприбор»,
д. т. н., профессора*



Выступление вице-президента Союза НИО, председателя Белорусского научно-технического Союза, д.т.н., профессора В. Г. Барсукова





Подготовка к выступлению члена Президиума Узбекистанского научно-инженерного общества нефтяной и газовой промышленности И. Н. Хамроевой



Роман Круглов

*Спасение от бессмысленности
(о творчестве Алексея Ахматова)*

В одной из статей Алексей Ахматов писал, что в поэзии делает ставку на метафору. Далеко не во всех стихотворениях автор предстает как метафорист по преимуществу, однако «ставка на метафору» — это сущностный принцип. Следовать ему — значит посредством иносказания стараться найти сокровенный смысл того, что осознается — предмета и его имени. Перед нами — поэт-исследователь, его искусство близко к науке. Однако для некоторых исследователей наука, как выразился физик Лев Арцимович, это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Ахматов, очевидно, не таков. Без личного любопытства, конечно, ничего не делается, однако ради одного только личного любопытства поэт пальцем бы не шевельнул — слишком мелко это. Его лирический субъект — человек, который не может быть целью сам для себя.

«Зачем столько боли в природе, / И нужно все это кому?» — такие детские по глубине и простоте вопросы задает себе автор. Люди разумные и самодостаточные подобными вопросами не мучаются — они стараются для самих себя и достигают успеха. Герой же Ахматова — не разумный и не самодостаточный, то есть, способный любить; нравственно зрелый человек, который живет для себя лишь постольку, поскольку он нужен другим.

И я, со своим поколеньем
Слипаясь в немыслимый ком,
Захваченный мутным теченьем,
Куда и откуда влеком?

— поэт внутри немыслимого кома, он часть человечества, часть и отражение мира. Только поэтому собственные переживания для него представляют достаточную ценность, чтобы о них писать.

Критик Наталья Романова, говоря о гражданской лирике Ахматова, отметила способность поэта «воспринимать повреждения на теле общества как свои собственные, болеть вместе со всем русским народом». Добавим, что не только со всем народом, но и шире — со всем сущим. В этом отношении Ахматов — писатель совершенно русский, в художественном мировидении которого счастье — это со-частье, состояние части чего-то большого и настоящего — вселенной, земли, народа. Быть частью, значит болеть общей болью и нести вместе со всем человечеством бремя греха и страдания. Благословляя Алешу Карамазова на служение в миру, старец Зосима говорит ему: «в горе счастья ищи». Эту укорененную в русской ментальности мысль Ахматов, очевидно, полностью разделяет:

Чем неустроенной душа,
Тем строки все точней.
Тогда и пишешь, чуть дыша,
И проще, и честней.

Мировоззрение, в свою очередь, определяет поэтику — творческое я, мыслящее себя как часть большого целого, неизбежно вовлекает текст в переключку с классической традицией:

Мои стихи из сора не растут.
Они растут, скорее, из позора,
Из воспаленной совести. Измором
Они меня, как правило, берут.

Взаимодействие с традицией приводит к тому, что в стихотворениях зачастую ощущается имманентная творческому восприятию автора и, безусловно, сознательная, напряженная весомость. Тяжесть слова для многих поэтов XX века является как бы необходимым компонентом; о ней писал даже такой мастер стихотворной легкости, как Юрий Левитанский:

А я так медленно пишу,
как ношу трудную ношу,
как землю черную пашу,
как в стекла зимние дышу —
дышу, дышу и вдруг
оттаиваю круг.

Однако Левитанский говорит даже не о методе работы, а об отношении к ней (сами его строки о тяжести весьма легки), тогда как у Ахматова мы видим напряженную риторику в самом сопряжении слов. Поэт Игнат Смоленский, говоря об этом свойстве Ахматова, сравнил его с Валерием Брюсовым, в стихах которого ощущается тяжесть натруженных мускулов. Параллель с Брюсовым при чтении стихов Ахматова неочевидна, однако то, что автор отдает всю возможную дань ремесленному началу — несомненно, именно поэтому он вправе сказать: «Я сам — достойных дел достойный мастер». Поэт отлично понимает и дает понять читателю, что настоящее искусство — трудное искусство, которое достигается потом и кровью, что слово «Как до отчаянья доводит / До самых болевых стихов».

Как известно, чтобы «Для звуков жизни не щадить», нужно иметь высокую страсть. Она обуславливает требовательность поэта не только к себе, но и к другим, потому его многое уязвляет до глубины души и он дерзает обличать. Таковы не только гражданские стихотворения («У рекламы кока-колы», «Они живут, как черви в груше...», «Откуда мы только не ждали удара...» и т.д.), но и совершенно личные:

Мне сегодня сын наврал,
Так легко и так беспечно,
Словно кот бумаг наврал
Или мышку покалечил.

Он теперь совсем большой,
Сам за все теперь в ответе,
Что ему мой гнев пустой,
Правды сломанный хребетик.

Социокультурные сдвиги или детская ложь — неважно; все, что попадает в художественный кругозор Ахматова, становится его кровным делом. Сказать «личным» в данном случае было бы не точно, личное — мелко и, в сущности, недостойно внимания; дело кровное — общее, а потому и предельно важное. Однако страстная требовательная любовь к конкретным людям, к стране, к языку приводит к тому, что от вопросов о том, «зачем столько боли?», поэт переходит к постановке страшного диагноза:

Ты хочешь правды, друг любезный?!
Когда б все было, как должно,
Мы б не заглядывали в бездны,

И вообще с дерев не слезли,
И вымерли б уже давно.

Именно здесь мы подходим к своеобразию ахматовского поэтического взгляда. Нравнодушная жизненная позиция приводит поэта даже не к обиде на то, что «все не так», а к чувству невозможности, неприличности существования — в том числе, собственного.

Для поэта-исследователя стихотворение становится способом объяснить мир самому себе и другим. Чтобы подойти к этому, необходимо погружение в предмет, сущностный взгляд, особое внимание. Исследователь дает себе любопытную задачу: что будет, если применить его к себе?

Застань себя за кружкой чая
Случайно, как бы невзначай,
Блестящей ложечкой мешая
Бордовый краснодарский чай.
Увидь себя за рюмкой водки
Внезапно, как из-за угла,
Свой мятый профиль в свете «сотки»,
Что судорога вдруг свела.

Вот здесь и возникает то парадоксальное ощущение немыслимости, неуместности насущного бытия. Это даже не стыд за свои и чужие грехи, а ощущение какой-то изначальной неправильности в существовании как таковом. Человек-тело чувствует себя самодостаточным явлением («Все это ты — большой и цельный»), однако тут же переживает ощущение невозможности этой жизни — слишком настоящей, слишком полной:

Но в сердцевине этой жизни
Схвати вдруг за руку себя.
Почувствуй: глаз в прозрачной слизи,
И в корочке сухой губа.
Найди себя на грани лета
С восторгом страшным и тоской,
И поперхнись, что ты — все это,
И ужаснись, что ты живой.

В бытии, по выражению Набокова, есть нечто непристойное; как ни странно, в этом ракурсе трагическое и непристойное не исключают друг

друга (как не исключают друг друга страшный восторг и тоска). Человек чувствует в самом факте существования какую-то невыразимую муку (обычно незаметную за шквалом информации), которую поэт, вглядываясь в себя и мир, осознает во всей нестерпимости.

Однако это касается бытия человека, который «Съел яблоко со всеми потрохами: / С костями, с мясом, кровью и грехами» — его бытие безумно и недопустимо уже вследствие этого. Однако параллельно существует мир безгрешных существ — свободных, казалось бы, от всех людских изъянов. Мир, в котором все гармонично и безошибочно, потому «Муха легкая, летая, / Свысока глядит на нас», имея на это все основания. При чтении стихотворений Ахматова о природе может создаться впечатление, что автор находит если не спасение, то отдушину в мире без предательств, сомнений, ложного стыда, где в уснувшем на зиму поле «Каждый колос обезболен, / Каждый стебель защищен». Однако бытие природы — тоже бытие, и уже вследствие этого оно безумно и невозможно. В гораздо более гармоничном, чем человеческий, мире природы, тоже предостаточно страданий и, кроме того, сосредоточившись можно заметить сквозящую в насыщенной жизни природы бессмыслицу:

«Прием. Я земля. Я планета».
«Я скрюченный чертополох».
И страшно подслушивать этот
Безумный ночной диалог.

Ощущение бессмысленности происходящего связано, конечно, с богооставленностью, которую человек ощущает не только применительно к себе, но и к таким гармоничным формам жизни, как, например, краб:

...Ночью пляж почти безлюден, только фантики и пробки,
Их сканирует без смысле пучеглазый аппарат.
Безнадежно раздаются позывные в круглой рубке,
Их никто принять не в силах... Космос пуст... Безбрежен мрак...

Невыразимое «присутствие создателя в созданье», о котором писал Жуковский, поэт рубежа XX-XXI веков ставит под сомнение — вместо него возникает также невыразимое (и оттого еще более безысходное) ощущение напрасности всего сущего.

Обобщим: чувствующий ответственность за общество, болеющий общей болью поэт, тем не менее, полагает, что, по совести, лучше бы не было человечества. Героя лирики Ахматова невозможно упрекнуть

в отсутствии жизнелюбия или робости — напротив; однако он живет с постоянным ощущением стыда, неоправданности и неуместности своей особы:

Ведь счастье не длится так долго,
И чем мне прикажешь платить
Всю тяжесть безмерного долга
За право дышать здесь и жить.

Природа в мировидении автора — воплощенное совершенство, однако и за ним проглядывает страшная бессмыслица. Воспринимающий себя в качестве части великого целого художник всей душой любит бытие, однако эта любовь, в силу своей требовательности и пристального взглядывания в предмет, оборачивается не то что отрицанием бытия, а сомнением в его правомочности.

Что же остается? «Одна отрада, что не гаснет слово». Однако такое утешение зрелого человека, конечно, удовлетворить не может. Нынешним людям поэзия не нужна и поэт чувствует себя анахронизмом, «Словно живы гроссмейстеры, но позабыта игра, / Словно мозг еще жив, ну а тело уже охладело». Надеяться на то, что читателям будущего пригодятся «Обломанных рифм наконечники, / да ржавые лезвия строк» нелепо. О том, чтобы развлекать себя бесцельной и беспричинной канителью искусства ради искусства, конечно, и говорить не приходится — того, кто знает любовь и смысл, такими суррогатами не прельстишь. Нужно признать, что слово поэта не так же, но столь же безумно и невозможно, как и все прочее.

Ахматов в своей поэзии доходит до пределов сомнения и отрицания. Быть бы ему новым декадентом, если бы этими пределами его художественная позиция ограничивалась. Однако осознание беспросветной тщеты всего сущего не дает права опускать руки — наоборот: достигший своим пристальным взглядом самых горьких истин исследователь должен даже не завуалировать их, а разоблачить. Роль поэта в мире как раз и состоит, в сущности, в том, чтобы спасти его от бессмысленности — преодолевать законы тлена, тяготеющие над бытием. «И перед девочкой лавиной оживают / Чужие океаны, острова, дороги. / И океаны трав, жуков, букашек омыают / Ее босые ноги. / Тринадцать лет. Бог мой. Всегда так будет...» — ради одной только девочки с книгой уже стоит удивляться, открывать и создавать, даже если это совершенно бессмысленно. Фразой «Тринадцать лет. Бог мой» поэт осознанно как бы спасовал перед речью: вместо исследовательской попытки конкретно обозначить переживание — фразеологическое «Бог мой». Признав не-

возможностью адекватно высказаться о происходящем, поэт констатировал в нем чудо: «Всегда так будет» — законы тлена посрамлены, бытие все-таки прекрасно. Ущербоность существования преодолевается прорывом иррационального чувства вечной гармонии — через взгляд поэта бытие спасено.

Спасение — необходимый и самый главный виток диалектической спирали объяснения мира себе и другим, однако без предыдущих двух он совершенно невозможен (сотворение — грехопадение — спасение). Прозрение ужаса мироздания, грех и стыд совершенно необходимы для прозрения красоты и смысла, сомнение — неисключаемый, увы, элемент стремление к истине. Поэзия Алексея Ахматова своеобразно продолжает духовную традицию русской литературы в XXI веке; в русле классического стихосложения автор открывает новое в эпоху, когда, казалось бы, нового ничего быть не может. Однако делать невозможное необходимо — только так может быть преодолена вселенская бессмыслица.



Сергей Арно

Дайвер должен пройти через смерть

Сергей Арно. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Является директором Фонда братьев Стругацких, созданного им вместе с Б. Н. Стругацким. Один из учредителей и председатель оргкомитета международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премии). Автор сценариев телевизионных передач, ряда публицистических статей и тринадцати книг прозы. Лауреат Гоголевской премии. Директор и соредактор Издательства Союза писателей Санкт-Петербурга.

Дайвер должен пройти через смерть

Съемки многосерийного документального фильма «Планета «Калипсо». Послесловие с продолжением» и написание книги осуществлялись в рамках международного социально-культурного проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Для написания книги мне впервые в жизни предстояло погрузиться с аквалангом у берегов Судана, Египта и в Тихом океане возле знаменитого пиратского острова Кокос. Фрагменты будущей книги я и предлагаю читателям¹.

Поздравляю, вы прошли через смерть

Дайверы знают, что первый вздох из регулятора дыхания не забывает всю жизнь. Это поразительное ощущение — опустив голову под воду и сделав первые несколько вздохов, ты вдруг испытываешь чувства восторга и счастья. Подводный мир открывается изумительными красками, каких не бывает в жизни... и не удивительно: ведь ты умер.

Человеческая смерть не так ужасна, как представляется. Организм человека имеет множество защит. Есть такой термин: «сухое утопление». Когда человек вдыхает большое количество воды, срабатывает скрытый

механизм, и у него зажимаются связки, чтобы вода не попала в легкие. Такого «утопленника» откачать легче: чуя опасность, скрытые силы принимают меры предосторожности.

Но это не единственная защита.

Все видели известные кадры, как под воду опускают младенца, и он, перебирая ручками, почему-то чувствует себя абсолютно комфортно и не захлебывается. Секрет оказывается прост: перед тем как опустить ребенка под воду, ему плещут в лицо водой — срабатывает инстинкт, и ребенок задерживает дыхание. Страх воды — один из самых сильных человеческих рефлексов, миллионами лет оттачиваемый организмом, поэтому, когда человек начинает дышать через регулятор под водой, его организм «понимает», что он умирает; он не может не умереть — ведь всю историю человечества в нем вырабатывался страх перед попаданием в легкие воды. А когда организм «понимает», что обречен на смерть, он выбрасывает в кровь мощный поток адреналина, облегчая себе мучения... и человек умирает счастливым.

Плата невелика

«Человек попадает в другой мир» — эту фразу обязательно скажет каждый дайвер, потому что только она и верна в определении того, что он видел под водой. Но это не все: человек, побывавший в другом мире, не может остаться таким, каким он был до его посещения. Люди, побывавшие в другом мире — и сами другие, они только внешне похожи на нас, но если приглядеться, видна разница.

Представьте, что при помощи какого-то чудесного трампликатора, как в фильме «Кин-Дза-Дза», вы вдруг оказываетесь в совершенно ином мире. Там, где иной вес вашего тела; где звуки достигают ваших ушей совсем не так, как на земле; где цвета заменены на другие, и обитатели этого мира не похожи на нас с вами. В этом мире, среди инопланетян, вам приходится провести какое-то время.

Вы думаете, что, вернувшись домой, к привычной работе, друзьям и близким, вы останетесь прежними?

Мне рассказывал один дайвер, впервые съездивший на сафари, как он вдруг заметил, что ему не о чем говорить со своими сослуживцами, ему скучно среди них... он стал другим.

Что такое дайвинг?

Это не спорт, потому что ты никуда не спешишь — не стараешься никого обогнать, занырнуть поглубже, побыстрее достичь дна или, опере-

¹ Фрагменты будущей книги приведены ниже в журнальном варианте.

див всех, вынырнуть из глубины. На самом деле дайвинг — это то, что не передается человеческими словами. Не удивительно, что пишущие о дайвинге ограничиваются расхожей фразой «ты попадаешь в другой мир» и после этого показывают фотографии: вот дельфинчик, а вот осьминожек, морской скат, коралловый риф... Хочется показать всему миру, передать ощущение, красоту и необычность того другого мира, но не знаешь, как.

И никто не знает.

Все эти подводные красоты мы видели по телевизору тысячу раз, и нас уже трудно удивить. Но все они оказываются плоскими и безжизненными, как репродукция Моны Лизы в сравнении с оригиналом, когда вы оказываетесь под водой у кораллового рифа. Первое чувство, которое охватывает вас — это чувство восторга.

Вы медленно парите над кораллами изумительной красоты, вокруг множество рыб ярких раскрасок, различных форм... вы попали на чужую планету.

Вы ощущаете себя по-другому, видите по-другому, слышите, думаете по-другому...

Если вы хотите потерять в весе, дайвинг — это для вас. Вы забудете о своих лишних пяти, десяти, пятнадцати килограммах, и если даже вы весите центнер, здесь вы ощутите себя юным и легким, как анорексичная модель.

Предметы под водой кажутся больше, чем на самом деле: вы можете увидеть огромную проплывающую мимо рыбу, каких никогда не видели на прилавках магазинов, и не распознаете, что это иллюзия.

Чудеса происходят и с цветом: уже на семиметровой глубине красный становится розовым, на двенадцати метрах красный цвет становится черным, исчезает желтый цвет... а ваша кровь на сорокаметровой глубине будет зеленой. Но в руках у вас чудо-фонарик, вы включаете его — и проплывающая мимо черная рыба с серой полосой вдруг оказывается ярко-красной с ядовито-желтой полосой; вы направляете луч фонаря на кораллы, и они вдруг расцветают всеми возможными цветами, изумляя и поражая. И не удивительно: здесь неземные законы.

Все звуки, которые вы слышите, исходят сверху... но это только кажется, они могут исходить откуда угодно. Вы плывете в невесомости над прекрасным миром другой планеты, другого измерения. И тот, кто однажды испытал это, будет стремиться туда вновь и вновь.

Здесь время течет быстрее, вам это скажет любой опытный дайвер и объяснит, почему. Но не слушайте объяснений — просто вы на другой планете.

Наркотическое опьянение азотом

Действие азота на человеческий организм еще не до конца изучено медициной, нужно сказать, что наука только подступает к этому странному явлению.

На всех это действует по-разному. На одних — как алкогольное опьянение: они ощущают радость, потерю ориентации; другие становятся подозрительными, пугливыми. Был случай, когда оказавшись «под азотной мухой», начинающий дайвер набросился на своего инструктора и стал его душить. Начинающий дайвер был огромного роста и значительной массы, и инструктору стоило большого труда отбиться от него и вытащить на поверхность. Причем в жизни здоровяк был добрейшим человеком — какая муха укусила его на дне? Непонятно! Часто люди под «кайфом» стремятся вниз, не замечая, что они перешагнули все разрешенные для погружения пределы. Здесь уже задача напарника — вытащить «балдежника» на приемлемую глубину.

Часто, поднявшись на поверхность, человек не помнит, что с ним произошло.

Духи Красного моря

Еще в Петербурге, за день до отъезда в Хургаду, позвонил Александр Ингилевич.

— Да, чуть не забыл: обязательно купи килограмма два гречи!

— В пачках, или развесной? — спросил я.

— Безразлично.

Я не стал спрашивать, зачем греча. После догадался сам. Когда едешь на первое погружение в своей жизни, тебя ожидает много нового и не всегда объяснимого.

Например, в России при въезде в новый дом, когда хотели задобрить живущего в нем Домового, на ночь у печки выставляли чугунок с кашей со словами: «Поешь, дедушка Домовой». Иначе, если его не задобрить, он мог невзлюбить новых хозяев и пакостить им: воровать, перекаладывать вещи с места на место, стучать в стены и вообще портить жизнь. Иногда ночью садился на грудь хозяину дома и душил его. Мне такое совсем не нужно. Когда собираешься в новое место, желательно знать его традиции и законы. В этом я полностью полагался на опытного Александра.

Я подумал, что двух килограммов будет маловато — Красное море велико, и мы будем погружаться не в одном месте, там тоже наверняка потребуются греча. Купив пять килограммов крупы, я уложил ее в сумку. Вместе с подводным снаряжением сумка оказалась тяжелой, но подъемной.

— У вас перевес три килограмма, — сказали мне в аэропорту. — Нужно оплатить.

Денег, конечно, было жалко — пришлось вытаскивать три пакета гречи из сумки и перекладывать в рюкзак. И хотя мне это доставило некоторые неудобства, но я был доволен, что еду на Красное море не с пустыми руками. Я придавал этой крупе сакральное значение.

Совершать со мной первое погружение в Красном море вызвался Миша Степанов, опытный инструктор, уже десять лет живший с семьей в Хургаде. Он окончил восточный факультет университета в Петербурге, но выбрал себе профессию инструктора по дайвингу.

Каждый, кто занимается дайвингом, помнит свое первое погружение. Не забуду его и я. Я поднялся на борт судна, с которого мы погружались, от усталости еле переставляя ноги в ластах.

— Ну и как? — спросил меня кто-то.

Я пожал плечами.

— Ничего не понял.

В первый раз человек ничего понять и не может, понимание приходит со второго, третьего погружения.

Мой инструктор Михаил — сурового вида коренастый, невысокий человек — вполне коммуникабельный на поверхности, с шуточками и прибаутками, под водой становился жестким и бескомпромиссным. И если я делал что-то не так, можно было нарваться на такие выражения, от которых завяли бы уши. Когда он выкрикивает их в воде, держа во рту регулятор, слов ты, конечно, не разбираешь, только слышишь жуткое бурчание и видишь клубы вырывающегося воздуха, но суть этих слов доходит до печенок. Подобная жесткость присуща многим дайвинструкторам. Возможно, это необходимое условие при обучении молодых, ведь они погружаются в другую среду, в которой с ними может случиться все что угодно.

В первое погружение я почти ничего не запомнил, кроме упоительного восторга, какой, пожалуй, трудно испытать на земле и которому не найти аналогов.

Вечером в гостинице я спросил Александра:

— Что же делать с гречей? Когда начинать задабривать духов Красного моря?

— Очень хорошо, что ты спросил. Завтра возьми ее с собой, и перед следующим погружением отдай Мише. Он знает, что с ней делать. А ты, главное, посмотри, как он ее возьмет и что при этом скажет — это очень важно.

Здесь, похоже, все было непросто.

На следующий день я привез гречу на корабль. Выждав момент, когда Миша оказался в одиночестве, я подошел к нему с пакетом.

— Вот греча, пять килограммов, — сказал я негромко, чтобы не привлекать внимания: все мистические вещи делаются втайне от окружающих. — Я ее специально из Петербурга привез.

Миша взвесил на руке мешок.

— Вот спасибо! — воскликнул он. — Ну, угодил! Пять килограммов — этого надолго хватит. В Египте гречу не выращивают! Ее вообще нигде не найдешь, а тут — целых пять килограммов! У меня ведь двое детей. Ну, спасибо!!

И я понял, что духи Красного моря довольны!

Изменившееся зрение

Я не сразу понял, что стал другим. Конечно не настолько, что подходя к зеркалу, видел внешние изменения — прорезавшиеся жаберы и проросшие плавники. Изменения эти происходили внутри медленно, незаметно, но неотвратимо.

Дайверы будут со мной спорить, но они не такие, как все прочие люди, они иные. Конечно, ни они, ни их близкие не замечают этого: изменение происходит постепенно и неприметно для окружающих. Чем больше человек делает погружений под воду, тем значительнее он меняется внутренне.

Дайвер более сосредоточен, молчалив, менее эмоционален. Внутри у него меньше пустоты — вероятно, она постепенно заполняется соленой водой. Дайвинг не делает человека лучше или хуже — он отчетливее проявляет его характер.

Я стал замечать, что фильмы о подводном мире смотрю по-особенному: я проникаюсь атмосферой дна, не отвлеченно созерцаю на экране подводный мир, но ощущаю его, как будто сам погружаюсь в него, начинаю даже дышать по-другому, хотя и отдаю себе отчет в том, что смотрю все это на экране. Под водой мы находимся в другом состоянии организма, и, видя на экране морских обитателей, организм вспоминает это состояние, и ты уже как будто в толще воды, а не на диване возле телевизора.

Раньше, когда я смотрел фильмы о подводном мире, мне, конечно, было интересно. Но ощущение присутствия возникает только у людей, побывавших в тех условиях, проникшихся другой атмосферой.

Поэтому морские съемки мы видим по-разному. Думаю, что дайвер не может создать фильм о подводном мире, скорее он сделает его скучным — из нагромождения эпизодов лишнее будет жалко выбросить.

Исключение, пожалуй, Ив Кусто.

Египет

Сокровища затонувших кораблей

Первым местом наших подводных съемок стал легендарный британский сухогруз «Голубой чертополох», более известный среди дайверов как «Тистлегорм». Он лежит на дне Красного моря на тридцатиметровой глубине. Этот корабль принимал участие в секретной операции «Крестовый поход». Судно грузоподъемностью пять тысяч тонн везло технику и боеприпасы для британской армии, которая вела кровопролитные бои в Северной Африке против генерала Роммеля. В ночь с пятого на шестое октября тысяча девятьсот сорок первого года «Тистлегорм» был атакован двумя немецкими бомбардировщиками «Хенкель-111». От взрыва судно буквально разорвало пополам — сдетонировали боеприпасы в трюме, при атаке погибли девять человек, оставшиеся члены команды были спасены.

Только через четырнадцать лет после трагедии судно обнаружил Жак Ив Кусто во время знаменитой экспедиции на исследовательском судне «Калипсо». Этот эпизод был отражен в документальном фильме «В мире безмолвия», а также описан в знаменитой книге Жака Ива Кусто.

С тысяча девятьсот девяносто третьего года после выхода в свет документального фильма «Последний рейс "Тистлегорма"» затонувшее судно становится местом паломничества дайверов всего мира. Погружение к нему не назвать легкой увеселительной прогулкой: оно считается сложным, даже опасным. Рискуют погружаться к нему только дайверы с немалым опытом, да и у тех не всегда это получается удачно. Опасен «Тистлегорм», как впрочем, и любой затонувший объект замкнутыми внутренними пространствами. За долгие годы многие его части подверглись коррозии, и, неудачно зацепившись или опершись на них, можно причинить вред не только себе, но и находящемуся рядом напарнику. Особенно же опасен «Тистлегорм» мощными, постоянно меняющими направление течениями вокруг него, которые могут унести неопытного дайвера далеко от места погружения, и тогда... все зависит от его удачливости.

Мы прибыли на место погружения рано утром.

«Тистлегорм» обнаружить оказалось не так просто. Первым погрузился Махамед — красивый широкоплечий и замкнутый египтянин. Как представитель дайв-центра, он знал место, где должен быть затонувший корабль. Но поднялся на поверхность ни с чем: «Нет корабля!»

Снялись с места, пошли дальше. В новом месте Махамед снова нырнул... Искали затонувший корабль часа два. Наконец, Махамед прицепил

конец к «Трислегорму» и минут через двадцать нырнул снова — закрепить корму. Закрепиться нужно было двумя концами, чтобы наше судно не швыряло из стороны в сторону. Чуть погодя подошли еще два судна с дайверами из Европы. Все сосредоточенного вида. И не удивительно — корабль имеет славу объекта сложного для погружения, кроме того, окруженного мистическим ореолом, о нем ходит много разных легенд.

Добраться до затонувшего корабля можно, только перебирая руками по швартовочному канату. Время от времени спускающегося дайвера полощет течением, как знамя на древке, и здесь главное — не отпустить путеводный канат. Но зато внизу, где течение не такой силы, вас ждет захватывающее зрелище: стодвадцатиметровое поросшее кораллами судно лежит на боку, вокруг разбросано множество его обломков. В трюмах можно увидеть два танка, грузовики, мотоциклы, ящики с винтовками, ручными гранатами. Среди всего этого плавают десятки, сотни разноцветных рыб. Чтобы увидеть все «сокровища», которые хранит этот памятник военной истории, одного погружения окажется недостаточно, и вас всегда будет тянуть туда вновь и вновь.

В Хургаде за немалые деньги вам предложат старинную карту, на которой отмечены затонувшие корабли с трюмами, наполненными древними античными сосудами, мраморными статуями и сундуками с золотом. Можно, конечно, купить такую карту и попробовать себя в поиске сокровищ, но законы Египта очень строги к «черным ныряльщикам», да и затраты на карту вряд ли окупятся.

Смертельное обаяние пучины

Пучина таит в себе множество опасностей. Это не только морские ежи, укол которых может вызвать заражение крови, мурены с острыми зубами, электрические скаты, иглобрюхи и акулы, но и удивительное очарование морского мира, который манит, завораживает... Не дай вам Бог поддаться этому очарованию, потерять голову и забыться. Море мстит жестоко.

Отомстило оно и нам.

Мы ждали на палубе подъема группы, погружавшейся к «Тистлегорму». Первым появился оператор Александр Лучкин. Он не без труда поднялся на палубу, ноги подкашивались, ему помогли снять акваланг, и он в изнеможении опустился на скамью...

— Я, наверное, зацепился в трюме «Тестлигорма», — сказал он, придя в себя. — Воздух кончился.

Как оказалось, он без остановки поднимался с тридцатиметровой глубины с пустым баллоном, вдыхая последние остатки воздуха из жилета, которого всего на три вдоха.

Здесь следует пояснить, что ситуация, в которой оказался оператор, была почти безнадежной. На тридцатиметровой глубине, где властвуют мощные течения, с пустым баллоном у него почти не было шансов на выживание. И только находчивость и желание жить подсказали ему выход. Подниматься, дыша остатками воздуха из жилета — об этом не пишут даже в учебниках по дайвингу.

Но и это не все. Когда поднимаешься с глубины без остановки безопасности, в крови вырабатывается азот. Достигнув критического количества, он может вскипеть в крови и привести к мучительной смерти. В более легких формах он может откладываться в суставах, делая человека инвалидом. Во всех случаях такое всплытие ничего хорошего не сулит. Но если количество азота в крови оказалось незначительным, можно обойтись какое-то время, вдыхая чистый кислород. К счастью, на судне нашелся баллон с кислородом, так что все обошлось без декомпрессионной камеры и последствий для здоровья, которые могли быть губительны. Таким образом, оператор избежал негативных последствий, приняв единственно верное решение.

Когда он окончательно пришел в себя, стали разбираться в обстоятельствах чрезвычайной ситуации. Сам он утверждал, что в какой-то момент, посмотрев на манометр, понял, что у него вполне достаточно воздуха для всплытия. Еще минут пять поснимав морских обитателей, он ощутил затрудненное дыхание и, снова взглянув на манометр, увидел, что воздух в баллоне на нуле, поэтому пришлось совершать экстренное всплытие. Не новичок, опытный ныряльщик, погружавшийся с видеокамерой уже семь лет, вряд ли мог допустить такую ошибку — значит, что-то пошло не так.

О «Тистлегорме» ходят разные слухи, много среди них мистических, недобрых, и здесь, похоже, не обошлось без этого...

Только на следующий день, просматривая снятый им материал, мы поняли, что же случилось на самом деле.

По кадрам была восстановлена картина, и оказалось, что с того самого момента, когда оператор посмотрел на манометр в первый раз, до того момента, когда он посмотрел на него вторично, прошло не пять, как он предполагал, а целых пятнадцать минут.

Объяснение этому простое: слишком пленителен подводный мир, оператор чересчур увлекся съемками морских обитателей, окружавших его, и с этой минуты время для него текло по-другому. Стараясь сделать интересную съемку, он забыл об опасности, уплыл от напарника — его увлекло очарование этого мира, который манит, обвораживает... Бойтесь потерять над собой контроль: под водой это может стоить жизни.

Некоторые дайверы, либо увлекшись, либо соревнуясь друг с другом, уходят на неразрешенную глубину, и бывает, что не возвращаются. Об этом нужно помнить всегда.

Одно из таких напоминаний — Барбара, которая покоится на дне Голубой Дыры в Дахабе. Акваланг и то, что осталось от Барбары, не поднимают, она лежит на стометровой глубине как напоминание рискованности дайверам о небезграничности человеческих возможностей.

И хотя у нас не было в планах погружаться в Голубую Дыру, но на этой поучительной истории, пожалуй, стоит остановиться подробнее.

Тайны Голубой Дыры

Загадочная, таинственная, уже многие десятилетия манящая дайверов всего мира Голубая Дыра располагается в одном из красивейших рифов Красного моря в пятнадцати километрах севернее Дахаба. По неизвестной причине в огромном рифовом массиве образовалась дыра диаметром почти пятьдесят метров. Она имеет вид колодца, уходящего на глубину ста с лишним метров. Голубой Дырой прозвали ее из-за изумительного бирюзового цвета воды, который манит аквалангистов, обещая не только ошеломляющую красоту погружения, которой не увидишь ни в каком другом месте планеты, но и смертельную опасность.

Недаром древняя легенда о Голубой Дыре гласит о том, что жил в этих местах эмир. Дворец его стоял на берегу Красного моря, и был он несказанно богат. Но главным своим богатством считал он дочь ангельской красоты и кроткого нрава.

Однако совсем не такой становилась девушка, когда отец уходил в военные походы против неверных. Переодевшись в простые одежды, она тайком выходила из дворца и, познакомившись с понравившимся ей юношей, польстившимся на ее красоту, через тайную дверь заманивала его во дворец и всю ночь занималась с ним развратом. Наутро слуги забирали несчастного юношу и, связав ему руки и ноги, бросали в Голубую Дыру...

Так злодейка скрывала свое истинное лицо. Много загубила она человеческих жизней, и продолжала бы губить и дальше, но одна из ее служанок проговорила вернувшемуся из похода эмиру. Эмир рассвирепел и хотел сначала отрубить голову блуднице, опозорившей его род, но потом приказал бросить ее в ту самую Голубую Дыру, где гибли несчастные юноши, и разрушить дворец, в котором распутная дочь его занималась развратом.

Как гласит легенда, последними словами девушки, перед тем как ее бросили в воду, были: «Я буду забирать всех, кто осмелится войти в воду в этом месте, пока не найду достойного».

С тех пор место это прослыло гиблым. Бывало, пойдет купаться туда кто-нибудь из местных, да и не вернется, и даже тела его не находят — «как в воду канул». И не раз, и не два такое приключалось, так что местное население, помнившее древнюю легенду, в этих местах не купалось.

На долгие годы забылось сказание о дочери эмира. Пока не стали появляться в этих местах первые дайверы. Удивительные красоты Голубой Дыры манили их, не давая покоя...

И вспомнилась древняя легенда, когда стали пропадать в ней самые отчаянные из ныряльщиков. Говорят, что дайвер, опустившийся ниже предела разрешенного, видит прекрасную, обнаженную, небесной красоты деву, которая открывает тайную дверцу во дворец эмира и манит к себе отчаянного пловца... Как тут устоишь! А если кто-то и удержится, то после он списывает странное это видение на галлюцинации отравленного азотом организма. Но забыть увиденное он не в силах и, вернувшись, вновь опускается в небесно-бирюзовые воды Дыры, ища заветную дверь...

Сколько еще погубила коварная оболстительница, сказать невозможно, но на берегу неподалеку от Голубой дыры располагаются мемориальные доски на всех языках мира с именами погибших в этих местах аквалангистов. Чтобы не пугать отдыхающих, египетские власти периодически очищают от этих досок риф, однако доски нарастают снова... и будет это происходить до тех пор, пока не успокоится мятежный дух дочери эмира.

На дне Голубой Дыры на глубине ста четырнадцати метров лежит голландка Барбара, нашедшая здесь свой покой. Донырнуть до нее может не всякий: на такую глубину уходят только технические дайверы. Она лежит там больше десяти лет, как напоминание отчаянным рискованным дайверам о том, что ждет их, если они выйдут за пределы разрешенных глубин.

Георгиевская ленточка

Мы погружались к «Тистлегорму» еще не раз — и ночью, и днем, и каждый раз он производил невероятно сильное впечатление. Одно из наших погружений состоялось 9 мая, в День Победы. Это было особенное чувство, переполнявшее всю команду. И не описать те эмоции, которые я испытал под водой, когда увидел привязанную к поручню погибшего корабля георгиевскую ленточку. Как добрая весть кораблю, что мы помним его, и он погиб не напрасно.

Поздно ночью, сидя на верхней палубе нашего судна, я особенно остро ощутил всю трагедию того времени. Надо мной было небо с миллиардами звезд, а подо мной, на дне — погибший, изуродованный войной «Тистлегорм»... Я видел, как со всех сторон на него бросались немецкие самолеты, поливая его пулеметным свинцом, как вздымалась поднятая бомбами вода. Вой самолетов, выстрелы пушек, стрекотание пулеметов, горох пуль по обшивке судна, человеческие крики, стоны раненых... все это смешалось в бешеный гул. Самолеты заходили снова и снова, атакуя «Тистлегорм». Пушка на носу непрерывно била по самолетам, но они с воем пронеслись

над кораблем, делая новый заход... и одно, главное попадание бомбы в центр корабля и затем страшный взрыв, разорвавший судно пополам; и, заполняясь водой, оно начало уходить под воду. А фашистские самолеты все заходили на «Тистлегорм», добивая, забрасывая его бомбами, посылая пулеметной дробью...

...И снова была тишина, легкий морской ветерок трепал волосы, над головой — звездное небо Египта, а подо мной — останки боевого корабля, который когда-то назывался «Тистлегорм».

Судан

Судан не для «чайников»

Судан — одно из интереснейших в мире мест для погружений с аквалангом. Здесь можно увидеть акул, рыб-молотов, морских черепах, гигантские стаи барракуд и еще великое множество подводной живности. Но погружения в этой части Красного моря совсем непросты. По правилам, прежде чем нырять здесь с аквалангом, нужно иметь, самое малое, пятьдесят погружений. Но и это не гарантия того, что все пойдет по намеченному плану.

У нас собралась группа многоопытных ныряльщиков, самые неопытные из которых имели более трехсот погружений в разных местах планеты. Но «звездой» среди них оказался я: за моими плечами было целых одиннадцать погружений... и, конечно, с первого дайва все это поняли.

Мои жалкие и позорные старания опуститься на глубину не увенчались успехом, что-то там заело, я растерялся и надавил куда-то не туда. Это заметил один из гидов, сопровождавших группу, итальянец Марко. Он подплыл ко мне и во время всего дайвинга, если так можно выразиться, не отплывал от меня ни на шаг. В следующее погружение он снова был со мной, не давая уходить на слишком большую глубину или всплывать чересчур высоко.

Самое сложное и опасное в этих местах — течения, которые возникали внезапно и так же внезапно прекращались. Не раз нам пришлось на себе испытать их неумолимую силу.

Где живет «капут»

Одно погружение запомнилось мне особенно. Да и не только мне.

Мы плыли на тридцатиметровой глубине вдоль живописного рифа Шаб-Руми. Иногда из мути появлялась акула, потом еще одна... пробуравив нас мертвыми глазами и покружив над нами, они уходили по своим делам. Огромный скат, махнув плавниками как крыльями, проплыл мимо; гигантская стая метровых барракуд закрыла небо, потом, вдруг перемене-

нив направление движения, пошла в нашу сторону, но не дошла на расстояние вытянутой руки. Я попытался было примкнуть к их стае, но меня не приняли и, проигнорировав, проплыли мимо. Все это восхищало и изумляло меня.

Вдвоем с гидом и моим напарником во всех погружениях в Судане — итальянцем Марко — мы двигались вдоль рифа, созерцая удивительную подводную растительность и морских обитателей этих мест. Основная наша группа ныряльщиков, исследуя другую часть рифа, задержалась. Наконец, мы увидели их вдалеке направляющимися в нашу сторону.

Неожиданно мы попали в зону сильного течения. В этих местах течение не редкость, но это было каким-то особенным. Поначалу, изо всех сил борясь с ним, я не мог понять его направления. С каждой секундой течение усиливалось. Борьба с течением на глубине — дело неблагодарное, ныряльщик всегда в проигрыше: оно вытягивает силы и, обессилив тебя, делает с тобой все, что захочет. Этого допустить было нельзя. Тем более, что это течение было каким-то особенным: оно гнало нас не как обычно, вдоль рифа, а вверх, на плато.

— Вверх, на плато, не поднимаемся. Если туда поднялся, там капут, — говорил нам итальянец Маорицо на брифинге, какие устраивают перед каждым погружением. — Идти только вдоль рифа, не на плато. Иначе капут.

Нетрудно догадаться, что он подразумевал под словом «капут».

Мой спутник Марко был встревожен. Течение действительно крепло с каждой секундой, нас буквально волокло вверх. Марко, как человек опытный, понял все раньше — он схватил меня за руку и вытащил из опасной зоны чуть выше и в сторону, в небольшую выемку в коралловом рифе, как ему казалось, в безопасное место. Силы были на исходе, они растратились в борьбе с течением. Понимая это, Марко дал мне передохнуть, знаками показав, чтобы я взялся двумя пальцами за ту часть рифа, где не растут ядовитые растения (на глубине вообще лучше ничего не трогать, так как последствия могут оказаться трагическими).

Здесь действительно не было такого течения, как внизу, и я, отдыхая, держался двумя пальцами, как показывал Марко. Сам он в это время уплыл искать выход, по которому можно уйти подальше от течения. Я, конечно, слышал о восходящих течениях, но в полной мере не понимал опасности, в которой мы оказались.

Почему «капут», я осознал только потом. Если бы течение вынесло меня на риф, то сильные волны, гуляющие по нему, гоняли бы меня по острым кораллам до тех пор, пока я не превратился бы в труху. Думаю, что после такой «прогулки» по живописному рифу от меня не нашли бы и кусочка костюма. Восходящее течение — одно из самых опасных в дай-

винге. Человек, увлекающийся погружениями, может за всю жизнь ни разу не встретиться с ним, но если уж встретится, то все будет зависеть от его опыта и везения. Но всего этого я тогда не знал...

Да и хорошо, что не знал. Изредка я поглядывал на своих товарищей, которых, как и меня, швыряло течение. Хотя я оказался в наиболее выгодном положении под прикрытием рифа, но все они были опытными дайверами с сотнями погружений в сложных условиях. Сверху я видел, что и они в растерянности изо всех сил цепляются за риф. В это время все усиливающееся течение неумолимо тянуло меня на плато, я вверх ногами болтался вдоль рифа, как знамя на древке, отчаянно цепляясь за камни рифа, понимая, что отпусти я его — и меня вышвырнет к «капуту».

Наконец, из-за поворота показался Марко и замахал мне рукой, чтобы я плыл в его сторону. Значит, там не было течения или оно было слабее. Я сделал над собой усилие и буквально заставил себя с силой оттолкнуться от рифа, придав себе ускорение не только ластами, но и руками. Марко встретил меня и, схватив за руку, втолкнул в небольшую пещерку, куда течение не достигало.

Все это происходило на глубине двадцати метров, и нужно было подняться до пятиметровой глубины, чтобы, остановившись в толще воды на три минуты, пройти декомпрессию. В ином случае скопившиеся в крови пузырьки азота могли убить нас. Днище зодиака (зодиак — надувная лодка), на котором мы пришли, было над нами. Марко снова уплыл на разведку течений и замахал мне рукой, чтобы я плыл подальше от опасного рифа. Здесь действительно было спокойно, и мы остановились на глубине пяти метров на спасительные три минуты. Глядя вниз, я видел, что внизу у рифа, где оставались наши товарищи, происходит какая-то неразбериха. Я не мог понять что, но что-то шло не так.

Наконец, мы с Марко поднялись на поверхность и вымотанные борьбой не без труда забрались на ожидавший нас зодиак.

Море было беспокойно, зодиак подбрасывало на волнах, ветер усиливался. Беспокойно было и у меня на душе, я видел по лицу итальянца, что он тоже встревожен. Поскольку мой английский обещал желать лучшего, на поверхности мы понимали друг друга хуже, чем под водой, где язык общения ограничивался десятком жестов.

По коралловому рифу гуляли белые барашки, вода пенилась, глубина там была метра полтора, и я с ужасом смотрел на эти волны. Мы молча и напряженно вглядывались в воду, ожидая всплытия наших товарищей. Но шло время, а на поверхности никто не показывался. И тогда я понял, что самое тяжелое — это ждать из-под воды своих товарищей, когда не знаешь, что там с ними. А волны и ветер усиливались, усиливалось и напряжение.

Ну, слава Богу! Рядом с бортом показалась голова одного дайвера, затем другого, третьего... Все они молча, без обычных шуточек, забрались в лодку и, сложив горой акваланги, уселись по бортам зодиака. Мотор взревел, и лодка понеслась по волнам.

Глядя вдаль, ты мчишься по волнам Красного моря. Зодиак подбрасывает на волне, он ухает с метровой высоты, соленые брызги летят в лицо, лодка подлетает снова и опять низвергается, и брызги бьют в лицо. А ты крепко держишься за ремень зодиака — и опять молод, силен и прекрасен. И нет такого в этой жизни, чего ты не смог бы преодолеть.

Ветер развеивает твои волосы, ты только что заглянул в мертвые глаза акулы и спасся от могучего, тупого течения. Ты увидел, ощутил неумолимость смерти, и сейчас понимаешь, как чудесна жизнь, и рядом с тобой в лодке — такие же молодые, сильные и красивые люди... Летишь на огромной скорости вместе с ними по пенящимся волнам, и нет ничего в жизни прекраснее этого момента!

Но это сейчас.

А потом...

А потом...

Мне рассказали, что одного нашего товарища все-таки выбросило на риф — опыт не помог. И не удивительно, ведь в руках у него была камера, он не мог ее бросить, чтобы ухватиться за риф. Спас его гид Маорицо. Он догнал его и забрал камеру, а потом помог вырваться из объятий смертоносного течения.

А погружавшиеся с нами дамы за ужином, посмеиваясь, рассказывали, что там, на дне, прощаясь с жизнью, они думали не о пройденном жизненном пути, а о незаконченных делах. Одна вдруг вспомнила о том, что не родила второго ребенка, другая — о том, что внуки еще не выросли... Вспоминались также старенькая мать, нуждающаяся в поддержке, несостоявшееся замужество...

Неизвестно что

Глубину под водой вы определяете не на глазок, а только по схожему с большими часами, надетому на руку компьютеру. Без него невозможно угадать, сколько до поверхности — пятнадцать, двадцать метров — или вы опустились до критической глубины в сорок метров, за которой... неизвестно что. Может быть, ничего. А может быть, стая пингвинов, или учитель географии, грозящий вам пальцем: «Родителей вызову!»... или у

вас свои оригинальные видения. Это называется азотное опьянение. На каждой глубине действует по-своему, поэтому при погружениях и положена предельная тридцатиметровая. Не нужно уходить ниже, в страну галлюцинаций, — оттуда можно не вернуться.

Наваждение

Вокруг нас кружили акулы. Из мути воды вдруг выступает двухметровый силуэт, и вот акула движется в твою сторону... на тебя!.. Но в какой-то момент быстрым движением хвоста меняет направление и уходит обратно в муть. И ты вздыхаешь с облегчением.

Мы вдвоем с Марко, зависнув на тридцатиметровой глубине в толще воды, с восхищением созерцаем этих быстрых и неумолимых существ. Под нами — бездна. Сколько метров внизу: сто, триста?... а вокруг акулы. Магическое зрелище.

Как известно, акула становится убийцей-каннибалом еще в утробе матери. Самая сильная из акул пожирает своих братьев и сестер, и уже рождается убийцей. «Многие знания — многие печали: и тот, кто умножает познания, умножает скорбь...»

Никогда больше не буду читать про акул! Хоть убейте.

С восторгом и изумлением смотрел я на этих удивительных рыб, внезапно появляющихся со всех сторон: сверху, снизу, сбоку... Под нами не было дна. Два маленьких человека с аквалангами за спинами зависли в пустоте, а вокруг них кружили самые совершенные из существующих на планете убийц. Они были явно чем-то возбуждены. Любуясь этими прекрасными созданиями, я на некоторое время забыл о напарнике, да и вообще обо всем на свете. Я вертел головой, с замиранием сердца наблюдая за их грациозными движениями; казалось, они были везде.

Я оглянулся назад, где был Марко, но его не увидел, значит, он отплыл куда-то в сторону. Маска ограничивает видимость: когда она на лице, отсутствует боковое зрение, и ты способен видеть только то, что впереди. В поисках напарника я начал вертеть головой в разные стороны, крутясь на месте; но ни сзади, ни сверху, ни снизу его не было... и везде, куда бы я ни смотрел, мои глаза видели только акул...

Легкая паника охватила меня, я взглянул на компьютер на руке, он показывал тридцать семь метров глубины. Куда подевался мой напарник, я не понимал. За такое короткое время он не мог уплыть настолько далеко, чтобы я его не видел. Он просто исчез. В голове промчалась мысль об азотном опьянении, когда на глубине у ныряльщика начинаются галлюцинации. Но я-то сейчас адекватно оценивал ситуацию... или мне это только казалось, а мое сознание уже находилось под воздействием азота, и все

это было бредом отравленного мозга?.. Может быть, нет никаких акул... да и меня уже нет.

Я поддул из баллона в жилет воздух и медленно стал подниматься к поверхности. В это время я продолжал крутить головой в разные стороны, разыскивая напарника.

И вдруг я увидел его — он завис где-то в пяти метрах надо мной, чуть в стороне. Марко манил меня руками, чтобы я поднимался повыше, должно быть, не понимая моей тревоги. От сердца отлегло.

Потом, размышляя над причинами этого происшествия, я пришел к заключению, что холодные и мертвые глаза акул обладают гипнотическим действием, оно парализует человека животным страхом, и он не видит уже ничего и никого, кроме акул.

Но нельзя поддаваться панике: паника на глубине — это смерть. И, значит, акула тебя победила.

Спасибо... что спас

— Спасибо! Спасибо, Маорицо!..

Итальянец, проходя мимо, улыбнулся, потрепав девушку по плечу и, не останавливаясь, прошел в рубку.

— ...Спасибо, что спас, — уже негромко и как бы про себя проговорила она, глядя ему вслед.

Что произошло там, на глубине, никто не знал, да мы и не спрашивали. Там может произойти все, что угодно. Гиды, сопровождающие группу, должны предусмотреть все.

Это мы приезжаем, отдыхаем и уезжаем. А они остаются, чтобы нас спасать.

Подводный дом «Прекоинтернет-2»

Человечество всегда мечтало о подводных мирах. Первым человеком, воплотившим эту мечту в жизнь, был Жак-Ив Кусто. На дне гавани Марселя около замка Иф, известного по произведению Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», в 1962 году он построил первый в истории подводный дом, дав ему название «Прекоинтернет-1».

Следующий подводный дом «Прекоинтернет-2» был установлен Жаком-Ивом Кусто в двадцати пяти километрах от Порта-Судан в лагуне рифа Шааб-Руми.

С некоторых пор дайверы всего мира избрали развалины созданного Кусто дома для погружений. Изначально Ив Кусто задумал создать на дне

поселок в виде космического уголка другой планеты, построив дом в виде звезды, похожей на инопланетную космическую станцию из будущего. Неподалеку располагался подводный гараж для «ныряющего блюдца», в котором Кусто и члены его команды опускались на большие глубины, складсарай и двухместный домик «Ракета».

Куда мы и направлялись.

Дача Кусто

Легкое течение несло нас вдоль живописнейшего кораллового рифа Шааб-Руми. Течения бывают не только врагами дайвера, но и друзьями. Когда тебя, подняв на руки, несет ласковое течение, нужно расслабиться — в такие минуты невесомости приходит ощущение парения. При этом, что немаловажно, не расходуется энергия и уходит меньше воздуха из баллона, и ты можешь дольше наслаждаться удивительными видами морского дна.

Паря вдоль рифа, мы оказались возле клетки для защиты от акул. От клетки почти ничего не осталось, только прутья, покрытые илом. Они лежали внизу под нами на глубине приблизительно сорока метров. Значит, дом Кусто близко. Мы прошли еще немного вдоль рифа, поднялись по нему вверх. Нашим глазам открылось небольшое плато, на нем — развалины какого-то сооружения, вероятно, сарая, а чуть правее — инопланетный корабль...

Да нет, на обрыве стояла избушка на четырех куриных ножках; рядом с ней небольшая полянка, поросшая кустиками; живописные, поднимающиеся вверх скалы; скамеечка возле калитки; а из трубы избушки вверх поднимался дымок. Уютное местечко, чтобы встретить старость. На природе, дыша свежим воздухом, хотя все это показалось мне с первого взгляда. Не избушка это была вовсе, а все-таки космический инопланетный корабль, и не кустики это выросли на полянке, а морские кораллы. А дымок, выходящий из трубы «избушки» — воздух, выходящий в отверстие в крыше, который выпускает заплывший туда дайвер. А жаль! Вот бы в таком живописном месте дачку снять, в тишине книжки бы писать о наших приключениях...

Это строение раньше было ангаром для «плавающего блюдца», на котором Кусто опускался на глубину до трехсот пятидесяти метров. Ангар стоит на краю рифа, откуда открывается замечательный вид. Меня не оставляла мысль, что это одно из самых живописных мест для строительства дома. Вероятно, и Кусто был такого же мнения.

И потом, когда уже уходили на болтающийся над нами зодиак, я все оглядывался.

Эх, душевное местечко...

«Мне страшно нырять ночью»

Ночное погружение особенно интересно своей загадочностью и невероятным ощущением ирреальности.

«Я ныряю с аквалангом уже двадцать лет, но до сих пор мне страшно нырять ночью», — говорил Ив Кусто в своем фильме «Мир без солнца». Возможно, мне нужно погружаться двадцать лет, прежде чем я научусь бояться. Ведь страх приходит, когда ты знаешь, что может произойти с тобой — а у меня слишком мало опыта для страха. Я ощущал только фантастичность ситуации. Разрезая тьму, фонарь вырывал разбросанные части погибшего корабля, ночных морских обитателей... и это было странное зрелище.

Когда вдруг из-за лежащего на дне корабля поднимается удивительный свет, ты не понимаешь, что это. Фантазия рисует удивительные картины. Свет поднимается все выше, становится все ярче... и ты замираешь, заворожено глядя на это удивительное явление. Но проходит секунда-другая, и ты понимаешь, что впереди из-за корпуса судна поднимается дайвер с фонариком. Просто преломление света и теней завораживает, создавая фантастические картины.

Ничто на земле не сравнится с необычностью этого зрелища.

Инопланетная виза

— Скажите, а что это у вас за виза? — на пограничном контроле спросила меня офицер таможни. — Где это вы побывали — на другой планете, что ли?

— Это виза Судана, — ответил я.

— Ах, вот как?! — покачала она головой.

Суданская виза в паспорте по сравнению с другими выглядит действительно странно: на наклеенной в паспорт бумажке текст написан от руки.

Остров Кокос

В каждой избушке свои погремушки

Погружения у острова Кокос отличаются от погружений в Египте или Судане. Здесь все делают группой. В первый день гид выдал каждому дайверу по спутниковому буйку. В случае, если дайвера унесет в океан, он должен будет включить его. Через спутник на судно поступает сигнал, по кото-

рому его можно найти живым и здоровым... если он, конечно, будет еще жив и здоров.

Дайверы должны держаться рядом, ни в коем случае не отрываясь от коллектива. Как рассказывали на брифинге, проводимом перед каждым погружением, нужно опуститься и не суетиться: не плавать туда-сюда, ища острых ощущений, как делают в Египте, а ждать, зацепившись за камни. Острые ощущения — акулы и другие свирепые рыбы — вас найдут сами. Так мы и делали.

Здравствуйте, я ваша тетя

Первый дайв возле острова Кокос не произвел сильного впечатления. Кораллов здесь почти нет, краски преобладают серые, рыб тоже мало. Мы уныло опускались вдоль каменистого уходящего в глубину склона. Небольшая мурена, разевая старушечью пасть, выглядывала, как в окно избушки, из своей пещерки; проплыл иглобрюх, мелкие рыбешки разбежались в стороны...

Вдруг я увидел небольшую рифовую акулу. Она лежала на дне неподвижно, рядом еще одна, и еще... Всего их было пять. Мы медленно двигались вдоль склона, и тут увидели странную картину: около пятнадцати акул резво крутились вокруг большого камня — это был странный хоровод, значение которого невозможно было понять. Мы остановились, глядя на этот замысловатый танец стаи акул.

И тут из мути воды появился первый хаммерхед. Его называют «молотоголовой акулой» за странную форму головы, напоминающую молот, по краям которого расположены глаза. Он был около двух метров, за ним пришел второй, покрупнее. Они угрожающе кружили вокруг нас, любой из них мог легко откусить человеку ногу. Эти рыбы входят в десятку самых опасных для человека акул. Гид возбужденно замахал нам руками, указывая куда-то вверх. Большая стая хаммерхедов медленно проплывала над нами. Зрелище завораживающее.

И тут я внутренне сжался и замер, сердце бешено заколотилось. Я видел, что и все дайверы замерли — каждый из них понимал, кто пришел с нами поздороваться. Это была большая галапагосская акула длиной около пяти метров, толщиной в два обхвата. Она стремительно выплыла, затмив собою всех остальных акул и вселив в душу трепет. Одна из самых безжалостных убийц — недаром наравне с белой акулой она входит в пятерку самых опасных для человека морских обитателей. Она словно выплыла из фильма «Челюсти» и, стремительно сделав круг, ушла восвояси — должно быть, охотиться на купальщиков или сниматься в новой серии фильма.

Большая охота

Ночное погружение возле острова Мануэлиты запомнилось не только мне, но и выдавшим виды дайверам.

На брифинге гид Филиппо, который шел с нами на погружение, говорил: «Нужно держаться невядалеке друг от друга и не меньше, чем на метр от дна: если вас заденет кака-я-нибудь акула и нанесет рану, остальные акулы вас просто разорвут».

Я не вполне понимал, о чем предупреждает гид, только почему-то холодок прокрался под гидрокостюм, стало как-то не по себе, тоскливо заныло сердце... А может не ходить сегодня, пропустить? В другой раз пойду на ночной дайв. Но стало неловко перед товарищами: их, значит, разорвут, а я на кораблике отсижусь?

С палубы перебрались на лодку, где хранилось наше снаряжение, посмотрел на манометр, по которому определялось давление воздуха в баллоне. Обычно их заряжали в наше отсутствие. Но сейчас мой баллон оказался пуст. Снова тоскливо заныло сердце... Дурной знак; может, все-таки остаться?.. Но матрос ловко протянул шланг с корабля, и гид заправил баллон. Я опоздал.

На моторной лодке добрались до места. В темноте координация нарушается, ремни жилета застегиваешь на ощупь. Мы сели на край лодки, гид скомандовал погружение, и мы спинами назад бросились в черную воду. Глубина оказалась небольшой, всего десять метров, но когда мы достигли дна, изумлению не было предела — в свете наших мощных фонарей десятки акул стремительно носились вдоль дна! Здесь были довольно большие, полутораметровые особи и совсем маленькие акулята, они с большой скоростью плавали вдоль дна, мгновенно меняя направление, увертываясь друг от друга, местами дно кипело акулами; они забивались под камни, поднимая со дна ил, извиваясь, выкручиваясь телом. Иногда из-под камня выскакивала невезучая рыбка, и вся голодная стая бросалась за ней. В страхе смерти она металась между акулами, поблескивая, шмыгала под камень, акулы кидались за ней, вспенивая ил, наперегонки пытались сожрать бедную рыбешку. Рядом — подобная акуля свора, между ними плавают большие и хищные рыбы. Они тоже пришли на охоту. Сейчас время хищников, а «кто не спрятался — они не виноваты»!

Мы почти час плыли над этим разгуляем. Не повезло тем рыбкам, которые не нашли убежища на ночь — судьба их была трагична. Дно всюду кишмя кишело акулами. Тогда-то я понял значение слов Филиппо, что «если кака-я-нибудь акула нанесет вам рану, остальные вас просто разорвут».

Я ни на мгновение не усомнился в том, что гид сказал правду. Они были сейчас настолько голодны и возбуждены, что, почувствовав запах крови,

примчались бы, обгоняя друг друга — десятки, сотни акул — и рвали бы со всех сторон...

Умный в гору не пойдет, а под воду и подавно

Я часто задумываюсь о том, насколько опасен дайвинг. В учебниках пишут, что это чуть ли не самый безопасный вид экстремального отдыха. Возможно, оно и так.

В нашей съемочной группе в Коста-Рику моим соседом по гостиничному номеру оказался фотограф Андрей Морозов. Выяснилось, что он не только дайв-мастер, но и альпинист высшей категории — альпинист-спасатель. Помимо этого, он занимается экстремальной фотографией в горах на Монблане и под водой. По его словам, дайвинг намного опаснее скалолазания. Когда люди занимаются скалолазанием на природе, как правило, скалы уже зачищены, сняты камни, которые могут упасть, причинив вред, прибиты страховочные кольца, и практически отсутствует всякий риск.

Другое дело — альпинизм, он близок с дайвингом, хотя есть значительные отличия. В альпинизме очень силен командный дух, там каждый в группе отвечает не только за себя, но и за своих товарищей. Альпинист должен постоянно держать себя в спортивной форме, бегать по десять километров, развивать силу рук, чтобы в случае чего спасти — и не только себя. Он неотделим от команды, как команда неотделима от него.

В дайвинге ты зачастую погружаешься с людьми мало знакомыми, здесь, в толще воды, каждый отвечает за себя — инструкторы всегда говорят об этом. Так что на дне ты всегда один. Конечно, каждому хочется думать, что в случае непредвиденной ситуации его спасут, вытащат с глубины. Часто так и случается, но не всегда.

Незабываемый отдых или смертельная опасность

Если у вас пройден первый курс дайвинга, и вам разрешено погружаться на десять-четырнадцать метров — можете чувствовать себя в безопасности. С этой глубины вас еще можно вытащить, не особенно опасаясь смертельной декомпрессии, да и количество азота в крови на такой глубине смехотворно мало.

Другое дело — тридцатиметровая глубина. Если вам вдруг стало плохо на этой глубине, то вытащить вас будет непросто. Как говорят дайв-мастера, один труп — плохо, а два — еще хуже. Потому что тот, кто решится поднимать вас на поверхность, рискует своей жизнью, и если поблизости нет декомпрессионной камеры, то судьба обоих незавидна.

Лучшее, что может сделать дайвер, увидев, что напарнику сделалось плохо, и он потерял сознание — это поддуть его жилет и запустить его тело на поверхность, надув буюк безопасности, чтобы наверху его кто-нибудь подобрал. А сам, соблюдая остановки безопасности, будет подниматься вслед за пострадавшим, а это минимум пять минут — для человека без сознания, болтающегося на поверхности, время слишком продолжительное. Сознание можно потерять, если вы имеете какое-нибудь заболевание, о котором не знаете, и организм оказался перенасыщен азотом. Или от избытка азота в крови вы можете попросту заснуть под водой. Вам будут сниться чудные сны, а в это время вы медленно будете опускаться все глубже и глубже... Чтобы избежать этих прекрасных сновидений, нужно не употреблять алкоголь и следить за показаниями компьютера. И больше ничего. Все очень просто.

На судне «Арго» был случай самого короткого сафари. В первый же день погружения один дайвер потерял на большой глубине сознание, и когда его вытащили, судно вынуждено было экстренно сниматься с якоря и идти обратно в порт, до которого тридцать шесть часов пути. Оказывается, весь путь до острова ныряльщик безудержно употреблял крепкий алкоголь. Дальнейшая его судьба неизвестна, но у остальных отдых точно был испорчен.

Никто не кинется за вами, если вы всплываете под винты катера; никто не бросится за вами, когда вы уходите на смертельную глубину, превышающую тридцать метров. Ваша жизнь под водой в ваших руках.

Если вы хотите безопасно наслаждаться красотами цветного подводного мира, увидеть то, что вы не увидите и не ощутите в реальной жизни, не погружайтесь глубже десяти-двенадцати метров.

Если вы хотите острых ощущений, если стремитесь заглянуть в глаза опасности, столкнуться нос к носу с безжалостным чудовищем, ощутить восторг и изумление, которые останутся с вами на всю жизнь, хлебнуть адреналина и, пусть ненадолго, стать счастливым — ваш путь на глубину!

Так что — выбирайте! Лично я сделал свой выбор.

Репортаж об участии в международной книжной ярмарке в Хельсинки – 2016

С 27 по 30 октября 2016 года в Хельсинки проходила ежегодная международная книжная ярмарка. Назначение подобных мероприятий — знакомство читателей с новинками современной литературы и возможность встретиться с любимыми писателями. Но главное — возможность заявить о себе издателям. Поэтому нам, авроровцам, было приятно получить приглашение на ярмарку. Российская Федерация была представлена там национальным стендом, организованным Информационно-издательским и рекламным центром «Питер.Ру» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Русский книжный стенд открылся 27 октября. Организаторы рассказали о том, что важнейшая задача нашей делегации — привлечение внимания издательских и читательских кругов Финляндии, а также других стран к российской литературе.

Литература петербургских писателей, как и литература о Санкт-Петербурге, на русском стенде занимала особое место, ведь интерес скандинавских читателей к культуре Петербурга неизменно высок. Это подтверждали и посетители стенда, которые подходили, знакомились с книгами, приобретали их, общались с петербургскими писателями и фотографировались с ними.

Прозаик и сценарист, лауреат Государственной премии РФ, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов представил свою книгу «Довлатов» из серии ЖЗЛ. Писатель рассказал несколько трогательных и курьезных случаев из жизни Сергея Довлатова. Также состоялась презентация новой книги Валерия Попова «От Пушкина к Бродскому» — увлекательного литературного путеводителя по Петербургу. Валерий Георгиевич, живущий в квартире, где раньше обитала Ирина Одоевцева, а летом снимающий «будку» Анны Ахматовой в Комарово, рассказывал о знаменитых писателях Петербурга, со многими из которых он был знаком лично. Это Бродский, Шефнер, Володин и другие. Оказавшись наследником квартиры Одоевцевой на Невском проспекте, д. 13, писатель увлекся и обитателями соседних домов, гениями ушедших литературных эпох: Пушки-

ным, Грибоедовым, Набоковым. О своих исследованиях и размышлениях, о «великих», в вечном соседстве с которыми находятся современные петербуржцы, Попов и рассказал читателям.

Петербургский прозаик, автор нашумевшего романа «Укус ангела», главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Крусанов, лауреат премии «Национальный бестселлер», прозаик и сценарист Сергей Носов, а также дедушка питерского рока, основатель группы «Санкт-Петербург», писатель Владимир Рекшан прочитали отрывки из совместного сборника «Беспокойники города Питера» и рассказали об уникальной ленинградской рок-культуре.

Читателям был представлен и наш журнал «Аврора»! А заместитель директора Санкт-Петербургского дома писателей Андрей Шамрай рассказал о значимых книжных выставочных мероприятиях, запланированных в России в 2017 г. — Санкт-Петербургском международном книжном салоне и Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Конечно, организаторы мероприятия не могли не уделить внимания детской литературе. 29 октября состоялось выступление детской писательницы и психолога, москвички Анны Гончаровой. Собравшиеся дети были не только слушателями, но и активными участниками встречи — они отвечали на вопросы, вместе с автором придумывали новые стихотворения и загадки, а в конце все получили лучшие подарки — книги. В завершение мероприятий ярмарки 31 октября Анна Гончарова встретилась с учащимися средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии, которые получили возможность пообщаться и дискутировать с настоящим детским писателем!

Теплый прием был нам оказан в крупном книжном магазине «Руслания» в самом центре Хельсинки, где представлен огромный выбор книг на русском языке. Там собрались неравнодушные читатели, которые слушали русских писателей с большим интересом. Нас также тепло встретили в Российском центре науки и культуры в Хельсинки. Там, помимо прочего, состоялся и небольшой импровизированный концерт: Владимир Рекшан исполнил под гитару несколько своих песен.

После завершения работы экспозиции, по сложившейся традиции, все книги и журналы были переданы в Российский центр науки и культуры в Хельсинки.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВРОРА»



Открытие русского стенда. Андрей Шамрай рассказывает о перспективных книжных мероприятиях, запланированных в России на 2017 год



Презентация новых книг лауреата премии «Национальный бестселлер» Сергея Носова (в центре)



Русский книжный стенд на международной ярмарке в Хельсинки, октябрь 2016 г.



Звезды русского стенда в Хельсинки, 2016 г.
Слева направо: Павел Крусанов, Валерий Попов, Владимир Рекшан, Сергей Носов



Выступает Владимир Рекшан – «дедушка» питерского рока



Детский писатель и психолог Анна Гончарова на встрече с читателями



Валерий Попов и Кира Грозная
представляют русскоязычным финским читателям журнал «Аврора»



Наши слушатели в книжном магазине «Руслания» (Хельсинки)



Виктория Черножукова

*Кино и ветер
(размышления при просмотре фильма
«Прикосновение ветра»)*

Виктория Черножукова. Поэт, прозаик, журналист, пиар-менеджер. Участник литобъединения В. А. Лейкина. Закончила факультет журналистики СПбГУ. Руководила телевизионным каналом, организовывала художественные выставки. Литературный редактор журнала «Аврора», постоянный автор колонки «Женский взгляд».

— Она к нему все-таки поехала!

— Как поехала?!

— Да так! С киногоруппой! Все совпало! Съемки проходили как раз в том месте. Ну, недалеко... Километров сто. Так сто верст — не крюк!

— Она же еле живая!

— Думаю, никто не заставлял. Сама напросилась! В конце концов, у них общая дочь. Должна же она была ему хоть когда-нибудь рассказать!

— И как? Рассказала? Они встретились? Он-то что?

Истории из женской жизни. Я вовлекаюсь в них сразу и целиком. Всеми чувствами, мыслями памятью. В голове одновременно выстраиваются другие похожие, которые слышала раньше или проживала сама. Сочувствие и нежность, негодование и жалость — раскачиваюсь, как на скрипучих качелях, пока не закружится голова. Может быть, одной своей жизни мало? Нужно еще. Например, девять. Чем мы хуже фольклорных кошек?!

Подруги беднеют историями. Приходят фильмы. Как подметил Булгаков, «кинематограф у женщин — главное утешение». Только, последнее время, отчего-то режиссеры угощают не роскошной трапезой тонких впечатлений и острых эмоций — приглашают за пластмассовый стол с пластиковыми фруктами: «Да посмотрите же! Они так похожи на настоящие!» Внутренний Станиславский негодует, всплескивает руками: «Не верю! Не верю!» Вы мошенники, господа, верните деньги и время! А в ответ — цифры, картинки... Столько-то миллионов вложено. Пожалуйста: спецэффекты, трюки, компьютерная графика. Е 450 и глутамат натрия.

Сериалы? В некоторых есть естественные сюжеты, живые герои. Вглядываешься, вслушиваешься. Как через приоткрытую дверь коммунальной кухни.

— А у нас в квартире газ. А у вас?

— А нас ранили в живот. Вот.

Мне не хочется трагедий. И так кажется, что большой мир катится в тартарары: вооруженные конфликты, экономические катастрофы. В маленьком мире не лучше: опять двойка, мужчин нет, денег нет, носить ничего. Не хочу слушать про Золушек и прочих Спящих Красавиц! Я выросла и точно знаю, что принцы женятся на принцессах, согласно политической ситуации и династическим требованиям.

Есть ли другое?! Где же они — простые понятные истории из простой понятной жизни?! Честно рассказанные, с узнаваемыми героями — такими, как мои знакомые и друзья (да будут они все счастливы!)

Ищущему — встречается.

Ветер прикоснулся ко мне. Не только ко мне — ко всем, кто сидел в зрительном зале, плыл по течению сюжета, влекомый движением внутренней жизни фильма, скользил в сгущенном киновоздухе к развязке, тонкой, как стекло. А земля Бурятии стала близкой без усилий и напряжения. Стала нашей. Главная героиня — родная, рыхлая, как холм белого песчаника, в кобальтовом платье и летней шляпе размером с небольшую спутниковую тарелку, в несуразных босоножках на иглах-каблуках — школьная подруга, сестра коллеги, соседка по даче... Казалось, мы с ней точно где-то встречались. Или мне рассказывали о ней.

— И как там твоя Юлия? Как у нее дела?

— Знаешь, она с ним даже не поговорила. Приехала — его нет. Только брат. Сказал, через четыре дня, возможно. А там такая глушь! Автобус в город — раз в день. И то — бабка надвое сказала! В общем, осталась его ждать.

— С братом?

— Ну, конечно!

— Интересное кино!

— Ничего такого! Только разговаривали. Они же, по сути, родственники! В общем, на четвертый день он приехал, а у нее приступ! Гораздо тяжелее, чем раньше... До города ехать несколько часов...

— Господи! И как? Она выкабалась?

— Кто знает...

«Такое странное название для документального фильма, — думала я. — "Прикосновение ветра"... Скорее, оно для поэмы или стихотворения». А жаркий воздух степного лета бил по щекам, не сдерживаемый экраном, развеивал одежду героини, заманивал в волшебную страну, где

мужчины выводят лошадей на скачки и стреляют из лука. Было волнующе нежно те полтора часа, которые я прожила в другом, полу-документальном мире.

Незаметно так случилось, что кино стало духом бездушных порядков, сердцем бессердечного мира. Теперь оно — опиум для народа, оно пришло на смену религии, и теперь оно бережит или утешает, облегчает боль или дарит надежду. Юные и быстрые на впечатления готовы поглощать взвинченные краски, головокружительные спецэффекты и ходульные сюжеты до бесконечности, до той поры, когда станут взрослыми, и опытный ум, как усталая печень, будет отторгать недоброкачественную пищу.

Может быть, со временем на афишах, в киноанонсах будут ставить новый возрастной ценз: «30+», «кино для взрослых». И те, кому горько и одиноко, пойдут смотреть умные, тонкие, настоящие истории, показанные со вкусом, увенчанные нетривиальной развязкой. И все пришедшие в зал смогут чувствовать, как к их душевным шрамам прикасается ветер.



Анатолий Слепков. «Три капитана», С. Сахарнов. Обложка



Александр Левашов

Стихи

Александр Левашов. Родился в 1990 г. в Ленинграде, живёт в Москве. Работает техническим писателем, занимается стиховедением. Собственные стихи публикует впервые.

Ты — снежинка, я — снежинка.
Мы снижаемся, порхая.
Не такая уж плохая,
если разобраться, жизнь:
знай, лети себе без цели,
лишь бы кружева блестящие,
да безудержно кружись.

Вейся, отдаваясь ветру,
повинуясь притяженью.
Кроме головокруженья
что тебе грозит?
Так и падают снежинки —
вниз, где черные ботинки
чавкают в грязи.

Вечером на берегу не родится глубоких мыслей:
воды всего по колено, и вообще хронотоп не нов.
Просто что-то нашептывает — течение ли, камыш ли,
и, не разобрав их слов, ты снова начнешь с основ.

И услышишь, как ветер играет с листвою в пятнашки,
и увидишь, как, в синюю гладь окунув весло,
бог проплывает на облаке в белой льняной рубашке,
и подумаешь: как тебе повезло!
Беззаботный смех доносится издалека,
и время течет в ту же сторону, что река.

* * *

Не спится долгими ночами,
когда твое родство с вещами
так помещение освещает,
что даже лампа не нужна.
И оживает тишина,

и вздрагиваешь, ощущая,
как эта тишина живая
без хлеба, жадно пожирает
тебя. Не спрашивай, зачем:
когда я ем, я глух и нем.

* * *

И вот опять бренчать незвонкими струнами
под аккомпанемент летейских стылых вод.
По берегу бродить, глазеть по сторонам и
все повторять, пока не кончится завод:

«Ой, люли, грусть-тоска! Ой-вей, пельмень-вареник!»
Вот дом мой на песке — построен да обжит.
На кой мне это все? Что толку, если время
мой прах пережует и дальше побежит?

Ну что ж ты, Элогим? Ну, неужели туго с
продлением на века отпущенного мне?
Вот дом мой на песке. И «кишен мир ин тухес»
незримая рука выводит на стене.

* * *

Опиши этот вечер, как можешь его опиши.
Зарифмуй его с холодом и с догоревшим окурком —
с чем угодно, чтоб только запомнить, как припорошил
снег цепочку следов и как ветер влезает под куртку.

Потому что слова — как снежинки, в них нет ничего,
что могло бы согреть в середине зимы. Разве только
грешным делом напомним, что ты беспросветное чмо
и не стоишь тепла. А другого и нету в них толку.

Как обычно, здесь некого, незачем, не в чем винить.
Приглядишься — и увидишь, как трудолюбивые парки

ловят эти слова и впрядают в пунктирную нить,
что связала тебя с фонарем и с деревьями в парке.

Будет скверно. Иного не жди. И довольствуйся тем,
что следы замечает не сразу, что, скучный и мелкий,
снег идет не спеша, что как только ты встанешь, скамейка
передарит тепло твое ночи,
чураясь заезженных тем.

* * *

Не закончить бы жизнь каким-нибудь старым дачником,
чтоб по весне, когда стает снег, каждый раз
сухую листву прошлогоднюю сбрасывать в тачку и
увозить куда-нибудь на компост, подальше с глаз.

Грязные тапки снимать, когдаходишь с улицы
в свой, на детский рисунок похожий, дом с трубой,
жевать апельсин на деревянном стуле и
смотреть, как все порастает газон-травой.

В прошлом году... Да к чему ворошить прошлогоднее.
Я был прав, и она, наверно, была права.
Все что было, господи, было тебе угодно. И —
все трава.

* * *

Так поднимается солнце из вод залива,
так созревает клюква среди камней,
так понимаешь, что если тебе тоскливо,
это север повелевает: «иди ко мне».

Север тебя обвивает корнями сосен,
кутает в землю, поверх постигает мох.
И во сне тебя озаряет, как небо просинь:
реки должны быть серыми. И никаких холмов.

Север больше тебя. Север тебя сильнее.
Он твой отец и по праву бывает груб.
Ветер с моря становится солонее.
Корни тебя оплетают. И прорастают вглубь.

Страна Лимония

Растут лимоны на высоких горах,
на крутых берегах, для крутых.
Короче, ты не достанешь.
«Дюна», Страна Лимония

Работа окончена. Встань и иди.
Кури у ограды да в воду гляди,
как в плохо настроенный телевизор.
Сегодня в программе, как, впрочем, всегда,
репортаж из страны, где жизнь как стада
облаков: проходя, не оставит следа,
куда никогда не дадут тебе визу.

Там, видимо, праздник: везде менты,
и женщины в небо бросают цветы.
Одну ты узнаешь стоящей в сторонке
с ребенком, которого сделал не ты.
И, снова увидев родные черты
лица со следами былой красоты,
отвернешься и выматеришься негромко.

Фонари, как лимоны, торчат в листе,
проливая на происходящее свет,
тусклый и кислый, как жизнь не с теми.
Возвращайся туда, где теперь твой дом,
размышляй о будущем и былом —
и взгляни на все это под углом,
под которым на землю ложатся тени.

* * *

Как первый час, идешь без всякой цели
вперед, и в банке плещется пиво.
Противен, как сюсюканье в постели,
и неуместен, как тупой прикол.

Но так непроницаем этот вечер,
и тишине так хорошо расти,
как будто мир вокруг и вправду вечен,
как будто Бог и впрямь тебя простит.



Валерий Киселев

Команда

Валерий Киселев. Писатель. Член высшего творческого совета Союза писателей России (МГО), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковник запаса ФСБ. Служил в различных подразделениях госбезопасности: погранвойсках, КГБ (ФСБ), спецподразделении «Вымпел», в управлении по борьбе с организованной преступностью и контрабандой. Принимал участие в контртеррористических операциях и спецмероприятиях по обезвреживанию вооруженных преступных группировок на территории Афганистана (1985-1988), Никарагуа (1985), бывшего СССР (1991, 1993), Тбилиси (апрель 1989), Баку (январь 1990). Участвовал в четырехстах пятидесяти боевых операциях по захвату вооруженных преступников, в том числе – трех освобождениях заложников. Известен как специалист, разработавший курс по «защитной стрельбе» и внедривший его в практику спецподразделений «Вымпела», «Альфы», ГРУ, «Витязя». Был участником спецопераций КГБ СССР в Афганистане.

Команда...

Команда, без которой мне не жить!
(популярная советская песня)

1.

Драка была короткой. Но самое обидное было то, что ближайшие друзья оказались на стороне врага; а то, что несколько раз ударили в лицо, был разбит и кровоточил нос — это ерунда.

Место за школой для драк, тихое и брошенное взрослыми, подходило лучше всего. Все в классе ждали длинной перемены, чтобы вывалиться за школу и посмотреть на битву. Девчонки в таких событиях, естественно, не участвовали, а вот мальчишки класса «прибыли» все до одного.

Новенький был переросток. Он практически на голову возвышался над всеми остальными и физически уже был похож на мужчину. В две-

надцать лет два года разницы — это существенно. Но главным было не его физическое превосходство или надменность. Пришедший в наш спокойный и мирный до этого класс несколько дней назад, он, как доминант в дикой природе, пытался подавить всех, кто ему не подчинялся. Чувствуя свое превосходство, он ударил первым. Сопернику не было больно, но было обидно и стыдно, и, теряя голову и разум, маленький противник кинулся в атаку...

В это мгновение мальчишке казалось, что он дерется за всех сразу, защищая обиженных и оскорбленных, униженных и осмеянных. В этом классе он учился с первого дня и знал каждого из ребят, их родителей, бывал у многих дома. Одноклассники дружили, строили совместные планы и верили, что их класс надежный и дружный. «Дылда», как они прозвали между собой новенького, приехал из другого города и знаниями не блистал. Его проверили, заставили написать пару контрольных и сказали: «Вам, молодой человек, придется учиться на два класса ниже». И привели в их класс.

С самого начала новичок вел себя не только вызывающе, но и задирал каждого по любому поводу. Но и это было бы нормально, если бы не поведение товарищей нашего героя. Все они, кроме одного, с радостью перебежали на сторону новенького. До этого авторитет мальчишки, как одного из лучших учеников класса, спортсмена (он играл в юношеской команде города в хоккей) и надежного товарища, был непререкаемым. И вот...

В связи с тем, что мальчишка занимался спортом, его физические данные, может, и не уступали «дылде», и сначала поединок был на равных. Но в какой-то момент он увидел, что «друзья» болеют не за него. Вот кто-то толкнул его в спину... или даже ударил...

И тогда началось избиение. Кровь шла носом, был выбит зуб и разорвана рубашка. Слез не было, но обида сковывала руки...

Потом его противники дружно ушли с места побоища. Рядом с поверженным остался только верный товарищ, с которым они ходили на хоккейные тренировки. Это был мальчик-вундеркинд, умный, маленький и тихий. Он спортом-то начал заниматься для того, чтобы не отставать от остальных в своем физическом развитии, но пока нисколько не преуспел. Он стоял рядом, опустив голову, не зная, как поддержать друга. Ему тоже было страшно и больно, и обидно за всех в классе. Их мир катился куда-то в тартарары, и в нем больше не было ни правды, ни справедливости, ни чести...

На следующий урок они не пошли и проболтались за школьными грязными гаражами. После уроков, по-воровски проникнув в класс, забрали портфели и, не глядя друг другу в глаза, разошлись по домам.

2.

Отец побитого мальчика оказался дома. Мужчина увидел сгорбленные плечи сына, заметил его синяки...

— Что? Что случилось? Ты подрался в школе? — заперевивал отец.

Первым его побуждением было помчаться в школу и разобраться с обидчиками... но, поразмыслив, он остыл и решил узнать, в чем дело.

И сын рассказал про пацана-второгодника, который унижал его. «Но главное — весь класс на стороне этого сильного и наглого «дылды». Они все... — задыхаясь и глотая слезы, говорил мальчик, — они предали меня... нас... я не хочу больше видеть их всех, не хочу ходить в школу! Мне там больше нечего делать. Мне стыдно...»

Отец притянул мальчика к себе за плечи, тяжело вздохнул. Он вдруг понял, что ничего не сумеет сделать. Видно, настало время сыну самостоятельно решать проблемы.

А мальчик продолжал говорить:

— Я не пойду больше на тренировку... Я вратарь команды — и вдруг приду с синяками... Мне стыдно. Я не знаю, что я скажу ребятам в секции. Какой же я спортсмен, да еще вратарь, если не смог постоять за себя? Как я смогу защищать ворота? А потом, и в классе все против меня... Теперь против... Мы остались вдвоем с... — И он еще долго и сбивчиво говорил.

Отец выслушал все и сказал:

— В принципе, я смогу решить проблему. Схожу в школу, поговорю с директором. Вызовут родителей этого, как ты говоришь, «дылды», и он извинится перед тобой... Хочешь, чтобы было так?

— Конечно! — с надеждой заговорил мальчик, — ведь надо что-то делать?

Мужчина обнял сына за плечи и почти на ухо, тихо и горячо произнес:

— Конечно, я решу проблему... Ты в этом никакого участия принимать не будешь... Ты только будешь присутствовать рядом и смотреть, что происходит... Но ведь дальше жить тебе... И решать проблемы тоже тебе...

Мужчина замолчал и посмотрел сыну в глаза. Он точно знал, что сейчас либо родится, либо умрет мужчина. Сможет ли его мальчик вырасти самостоятельным, несгибаемым и умеющим постоять за себя? Или придется его тащить по жизни, пока отцу хватит сил? В жизни любого отца обязательно возникает момент, когда происходит подобный разговор с сыном. И как в такой момент поступит отец, какие слова он найдет, намного важнее, чем то, что ответит сам ребенок. «Для этого и нужны отцы, чтобы вести мужские разговоры, — думал отец, — мама научит добру, а

отец — мужским поступкам. Правда, я для этого сам должен быть мужчиной...»

— Ну, сынок, решай!.. Что будем делать?

Он знал своего пацана: сын не должен сдаться...

Но мальчик нерешительно канючил:

— Я не могу идти на тренировку. Не пойду! Мне стыдно перед командой, что я такой слабак!.. Ведь я же вратарь...

— Сын! Дослушай меня... Я предлагаю сделать так: ты сегодня идешь на тренировку... Кстати, идешь вместе со своим верным другом, который был с тобой во время драки... Ты зайдешь за ним. А после занятий расскажете всем, что произошло. Причем честно, ничего не приукрашивая и не утаивая. Все как есть... Если твои друзья, выслушав тебя, хлопают по плечу и скажут что-то типа: «Мы тебя понимаем! И, вообще, ты классный парень, не расстраивайся!», и прочую такую же лабуду — уходи из команды! Я не буду настаивать, чтобы ты продолжал ходить на тренировки... Но давай, сначала так сделаем, как предлагаю я. И посмотрим. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал...

— Хорошо, папа... Договорились. Я иду на тренировку.

3.

Жизнь удивительная и несуразная штука. Самые важные дела, ради которых она и строится, почему-то оставляются на второй, а порой и на десятый план...

Вечером, когда мальчик вернулся домой, отец, закрученный бытовухой, заинтересовался вскользь:

— Ну, как дела?

— Нормально... — нехотя буркнул сын и скрылся в своей комнате.

Отец не пошел за ним: его отвлекло что-то важное...

Через неделю мужчина заехал за сыном на тренировку, и, сидя у бортика, наблюдая, как ребята щелкали по воротам шайбами, услышал новость от другого отца:

— Вы слышали, что наши детки-то сотворили?

— Нет, нет... Что случилось?..

— Они всей командой ездят по школам и всех там «ставят на уши»!

— Куда «ставят»? Я не понял...

— Ну, короче всех бьют! Уже были в четырех школах. Назревает большой скандал.

— Скандал...

Мужчина подумал: «Неужели я инициировал эти разборки? Не дай Бог, кто-то узнает...»

Эта тренировка была, пожалуй, самой длинной в его жизни. Время тянулось слишком медленно.

Но вот, наконец, сын вышел из раздевалки. Он по-взрослому, как равному, сказал взволнованному отцу:

— Ты езжай без меня. У нас с ребятами дела... Я понимаю, что надо поговорить, но смогу только вечером... Да не переживай, папа! Все нормально. У нас же команда!

4.

— Ну, что ты места себе не находишь? — спрашивала вечером жена, наблюдая за супругом, который ходил от одного окна к другому.

«Еще женщину сюда не хватало втянуть, — думал отец, — если жена узнает и вмешается — беда! В наши мужские дела ее посвящать не будем... Вернее, пока не будем...»

Наконец, позднее обычного появился сын. Он аккуратно развесил тренировочный костюм для просушки, разложил хоккейное снаряжение и заговорщицки позвал отца к себе в комнату...

Сын заговорил:

— Я рассказал ребятам из команды, как все было... Все, что со мной произошло... Сначала мы долго спорили. Они предлагали просто подкараулить и избить «дылду»... А потом... Короче, на следующий день вся команда приехала ко мне в школу. Когда закончились уроки, мы позвали второгодника и предложили ему еще раз драться со мной... Но один на один... Остальных трогать не стали. Хотя все испугались. Мои бывшие друзья боялись, что их побьют, но их просто отодвинули в сторону. Некоторые даже убежали... Мы дрались в том же месте, за школой. Но теперь за спиной у меня стояли мои друзья... Настоящие друзья, которым я был небезразличен. Я знал, что теперь меня никто не толкнет в спину... И я легко справился с ним. Он, «дылда», слабый, он же не тренируется и не занимается спортом... В прошлый раз он бил меня не один... Я не сказал тебе этого, а своей команде сказал! Так закончился мой спор в школе. Я стал опять тем, кем был. Так что...

Сын замолчал, и они с отцом посмотрели друг на друга.

— Но это не главное... — опять заговорил мальчик, — Оказалось, что у каждого в команде была схожая проблема. И каждый переживал ее один. Никто никогда и никому не жаловался. Даже родителям многие о своих бедах не говорили... А тут, после моей победы, все стали рассказывать, что происходит у них. Всех как прорвало. У каждого была беда, но все стеснялись. А тут... мы поверили друг другу.

— И?..

— И мы поехали по школам! Мы были уже в пяти школах. Мы никого не избивали. Просто заставляли обидчиков драться один на один, и наши всегда побеждали. Мы просто всегда стояли рядом. Стеной стояли. Теперь все знают, что такое наша команда. Теперь и я знаю. Команда — это не только игра!

Отец подошел к сыну, но не обнял его, как маленького. Он протянул свою ладонь, по-мужски, обстоятельно пожал еще маленькую, но надежную руку сына и сказал:

— Знали бы родители, кто все это затеял...

— Команда будет молчать! Но теперь мы всегда готовы выехать в следующую школу... Папа, я люблю тебя!

Лефортово, камера 36, октябрь 2015 г.



Олег Дорогань

Стихи

Олег Дорогань. Поэт, писатель-публицист, критик. Родился в 1956 г. Окончил Львовское военно-политическое училище и Военно-политическую академию в Москве. Офицер в отставке. Председатель Смоленской областной организации Союза писателей России, член президиума Общероссийского литературного сообщества. Лауреат ряда литературных премий.

* * *

Любовь дрожит на нити тонкой,
Не рваться ей бы в бездне дней.
Представь любимую ребенком, –
И ты нежнее станешь с ней.

Представь изменчивого друга,
Или того, кто нелюбим,
Ребенком, да еще с недугом, –
И ты добрее станешь к ним.

* * *

Всем с изначальных пор
На белом этом свете
Нам первый приговор
Судьбы с рожденья: смертен.

Но тем, кто крест пронес,
Возвышен и увечен, –
Из пота, крови, слез
Вердикт небесный: вечен...

Наши ангелы-охранители

На стене надо мной три портрета —
Смотрят сверху глазами лучистыми
Три великих от Бога поэта,
Хоть при жизни звались атеистами.

Исаковский, Твардовский, Рыленков.
На обложках ли, на граните ли, —
Имена золотые Смоленска,
Наши ангелы-охранители!

Отдавались горению без устали
И словами возвысились вескими
Три поэта — поистине русские,
Хоть считать их привыкли советскими.

Нам трудами своими предвечными
Показали примеры служения,
С ними мы как с родными предтечами,
Почитай, мирового значения!

Они смотрят со строгостью отчею,
Осторожной ко всем новым веяньям.
Им отвечу: что нам бы ни прочили,
Совладаем и с трудным временем.

Имена золотые Смоленска,
Честь вам, классики-прародители
Исаковский, Твардовский, Рыленков —
Наши ангелы-охранители!

* * *

Даже если ты большой поэт, —
Не постичь, как движется покой.
Этот вечно движущийся свет
Не обгонит гений и герой.

Отнимите юсы или ять,
Запретите все — да поскорей.

Вечность никогда не обогнать
Ни с какой коробкой скоростей.

Горная гряда — за статью стать,
Что ни пик — то в небо белый клин.
Вечность никогда не увенчать,
В вечности бессчетный ряд вершин!..

* * *

Я эту суть подметил с детства,
Мне невезуче повезло:
Чем гениальнее злодейство —
Не замечаемое зло.

За наше благо не радея
И вряд ли делая светло,
Чем обаятельней злодеи,
Тем притягательнее зло.



Владимир Галахов

Рассказы

Владимир Галахов. Потомственный житель Санкт-Петербурга (корни предков уходят еще в допетровскую чухну). Окончил Военный институт иностранных языков в 1977 году (арабский и английский языки). После выпуска двадцать три года служил в войсках специального назначения. Выполнял спецзадачи на Фолклендских островах, в Гренаде, Панаме, Никарагуа, Ливии, Кувейте, Ираке, Косово. КМС по пулевой стрельбе, участвовал в союзных, городских и прочих первенствах. Публиковался в изданиях «Катера и Яхты», «Морское наследие», «Независимое Военное Обозрение» и других.

Янкино ружье

Это ружье попало ко мне, когда мне было лет шесть-семь. Точнее вспомнить уже не удастся. Скорее всего, это был подарок на день рождения, который сделала мне тетя Тася. Тетка была прижимистая, и потому подарила мне детское ружье, которое провалялось у нее в доме Бог знает сколько лет.

Но ружье оказалось не простое. В шестидесятых годах прошлого века таких не делали. Имелось у меня до этого детское ружьецо из крашеной дощечки в виде приклада, со стволом из тонкой жести, который согнулся очень быстро, и курком на гвоздике, который уже через неделю отказался хлопать самые лучшие пистоны. Теперь уже дети и не знают, какую ценность представляли хорошие пистоны — маленькие бумажные кружочки с капельками бертолетовой соли и фосфора. При игре в «войнушку» не было большего удовольствия, чем «хлопнуть» в противника. На настоящем жирном пистоне коричневая капелька была толстенькой, и потому издавала при выстреле особо громкий звук и давала целое облако вонючего дыма. Если в доме начиналась «войнушка» с хорошими пистонами, через четверть часа нас выгоняли на улицу, чтобы выветрить из комнат облака сизого дыма.

Позже появились автоматические пистолеты с подачей непрерывной пистонной ленты. Из них можно было палить без остановки. Даже если не все пистоны хлопали, как надо, все равно от одного такого автомата вони и дыму образовывалось изрядно.

Подаренное ружье было особенным. Оно не нуждалось в пистонах. Изготовленное из толстой стали, оно весило втрое больше других ружей. Выточенные из темного полированного дерева ложе и приклад выглядели настоящими. В стволах скрывались довольно мощные пружины. С трудом переломив ружье, как настоящее бескурковое, можно было взвести пружины и затолкнуть в стволы по сосновой шишке или пробке от винной бутылки. Но даже без таких снарядов выстрел из ружья раздавался достаточно громким, что для «войнушки» казалось едва ли не самым главным. Шишки и прочая дрянь вылетали из стволов метров на шесть.

В общем, крутое, как сейчас говорят, ружье.

Мой дядя сразу его узнал и сказал, что это ружье Янкино, то есть принадлежало мальчику, которого звали Ян. На мой вопрос, кто этот Ян, мне ответили, что он умер в блокаду. На том вопросы закончились. Я долго любовался ружьем: хоть и не новое, оно выглядело вполне солидно: сталь вороненая, на прикладе ни царапинки. Еще стояло клеймо металлической артели, изготовившей это ружье.

Ружье исправно служило мне и на даче, когда, засев в канаве и запасшись шишками, я обстреливал трясогузок на тропинке, ведущей к дому, не нанося им при этом никакого вреда. Близко они к себе не подпускали. Шишки летели по навесной траектории и шлепались на дорожку, где падая, распугивая птичек. Попав случайно в кошку, я понял, что подобная забава может быть достаточно неприятной для маленьких существ, и свои охоты прекратил.

Как и все детские игрушки, ружье через несколько лет перестало меня занимать. Став постарше, я передарил его сыну друзей моих родителей, а тот, в свою очередь, еще какому-то мальчику. И только тогда, когда я узнал историю Яна, мне стало жаль ружья. Не как игрушки, а как памяти.

История эта дошла до меня уже в пересказе моей мамы.

Летом 1941 года, когда неимоверными усилиями удалось остановить немецкую группу «Север», наступавшую на Ленинград, и задержать ее на Лужском оборонительном рубеже, мой дед Николай Иванович собрал семью на совет. Дед работал на железной дороге и мог помочь нам выехать из города вглубь страны. Эвакуация тогда уже началась. Но характеры у большинства наших родственников были еще те. Почти все дружно заявили, что останутся в городе. Бабушку и моего отца отправили из города по еще действовавшей железной дороге. Они успели выехать прежде, чем немцы нанесли удар в стык фронтов и перерезали дорогу в районе станции Дно.

Блокадные дни показали истинную суть людей. Естественный страх за жизнь, как мне сейчас кажется с высоты прожитых лет, после прочтения тысяч страниц воспоминаний очевидцев тех событий, постепенно притуплялся, оставался только животный инстинкт самосохранения. Главной причиной смерти стал голод. Перелистывая сохраненные бабушкой письма деда из осажденного города, я расставлял для себя вехи смерти своих родственников: прадеда, братьев и сестер деда и бабушки, их детей...

Естественное стремление быть вместе, когда не оставалось сил, чтобы спускаться в бомбоубежище при артобстрелах и бомбежках, заставляло родственников перебираться из одного района города в другой. И еще один фактор, который был естественным тогда и кажется чудовищным теперь. После умерших от голода оставались продовольственные карточки, на которые можно было получить какие-то дополнительные крохи.

Родители Яна умерли, когда несколько родственных семей сбились в кучу в квартире на проспекте Маклина. Теперь ему возвращено историческое название — Английский проспект. У тети Таси на руках было двое собственных маленьких детей. Что тогда давали на детские карточки?! Это не для слабонервных! Но те кусочки все-таки могли поддержать жизнь, теплившуюся в маленьких жителях блокадного города, а их отсутствие сразу ставило любого на грань жизни и смерти...

Янкин хлеб достался другим детям. А его пролежавшее около двадцати лет в квартире на проспекте Маклина ружье — мне.

Паровозы, паровозы

Моей первой серьезной детской книжкой, которую я взял в руки самостоятельно, а не по наущению родителей, были «Правила для машинистов подвижного состава железнодорожного транспорта».

Читатель, возможно, улыбнется: какая же это детская книжка? С формальной точки зрения это была совершенно недетская книга — сборник наставлений для машинистов паровозов и электровозов. Но читал я ее с увлечением, изучал иллюстрации, и даже старался запомнить значения сигналов семафоров и прочих сигнальных устройств.

Кстати, о семафорах. Это теперь, если вы садитесь на поезд дальнего следования или в пригородную электричку, разрешение на выезд со станции она получает сигналом железнодорожного светофора, а тогда, в конце пятидесятых, кое-где были еще семафоры. Этикие забавные электромеханические сооружения, которые вместо мощного прожектора со светофильтром подавали сигналы, меняя расположение одной или двух

плоских сигнальных «рук» с кругляшами на концах. Даже у Маршака в известном «Дяде Степе» главный герой попал в ситуацию, когда ему пришлось стать на некоторое время семафором.

Было бы странно, если бы я, мальчишка, проживая в поселке железнодорожников и едва ли не ежедневно проходя мимо сортировочной станции, не заинтересовался этим скоплением механизмов, перемещающихся в разных направлениях и издающих разные звуки и сигналы. Для того, чтобы сесть на проходящий в сторону Ленинграда пригородный поезд, приходилось преодолевать своеобразную железнодорожную полосу препятствий: многочисленные колеи, сходящиеся и расходящиеся для формирования составов, стоящие на путях сцепки вагонов и длинные составы, а также пережидать проезда верениц открытых платформ, толкаемых маневровыми локомотивами и перебегать по кое-как проложенным пешеходным деревянным мосткам перед суетящимися мотовозами и дрезинами.

Все это тяжеловесное антрацитное-черное существо, именуемое сортировочной станцией, не спало ни днем, ни ночью, пыhalo жаром из топок паровозов, обдавало людей паром их клапанов, грозило блестящими шатунами и пахло креозотом, коксом, дымом и еще сотней острых специфических «железных» запахов.

Мир разделялся на две зоны обитания — собственно «сортировку», где жизнь шла размеренно, подчиняясь закону всемирного тяготения, закону Ома, закону Ломоносова-Лавуазье и прочим законам, которых мы не привыкли замечать — и на все остальное пространство, которое мы привычно называли «за железкой». Вылазка «за железку» становилась событием, схожим с посещением центра цивилизации, каким всегда представлялся Ленинград, начинавшийся для обитателей железнодорожного поселка с Витебского вокзала.

Интересное это было место — Витебский вокзал. Вроде бы старейший в стране, поскольку был построен по царской прихоти для приличного проезда из Санкт-Петербурга в Царское Село по самой первой в России железнодорожной ветке. Кстати, остатки этой ветки, подводившей поезд к самым дворцам Царского Села, сохранились и теперь, после того, как магистраль, идущая на юг, гордо распрямилась и обрела в Царском Селе уютный вокзал.

Царские залы вокзала поражали объемами и декором. Но самым привлекательным местом был, конечно, ресторан на втором этаже. Прибывавшие на пригородных поездах пассажиры, не говоря уже о пассажирах дальних поездов, проходили на главную лестницу на выход в город мимо входа в этот старейший в стране железнодорожный ресторан. Как правило, двери туда были открыты, из сумрака пахло чем-то вкусным, доносились звуки живого оркестра... Да, привлекательное было место.

Несмотря на то, что начинавшаяся с Витебского вокзала железная дорога, соединившая столицу государства российского с царской резиденцией и далее с Белоруссией, Украиной и Черным морем, была первой, электрификация ее пригородного участка заняла почти сто двадцать лет после того, как по ней прокатились колеса первого паровозика, украшавшего теперь платформу пригородных поездов.

Тогда, в пятидесятые-шестидесятые годы, составы на Киев, Одессу и прочие города набирали ход, проносясь мимо нашей сортировочной станции в дыму, срываавшемся с паровозных труб. Огромные колеса паровозов были элегантны как «диски» современных «Лексусов» и «Бентли». Блестящие шатуны проворачивали их плавно, и, казалось, без лишнего напряжения.

«Дальний» на юг отплывал от перрона вокзала неспешно, сохраняя достоинство никуда не торопящегося, но все же очень делового, занятого своими заботами существа. Паровозный свисток этого зеленого чуда был особой тональности. Его невозможно было спутать с сиплыми свистками маневровых или магистральных паровозов, тянувших за собой товарные составы. Эти трудяги издавали совершенно иные звуки — на всю жизнь я запомнил лязг буферов и сцепок, когда им приходилось рывком сталкивать с места многотонные гусеницы, составленные из тяжелых товарных вагонов. Иногда «товарняки» так перегораживали пешеходные гати через хитросплетения входных и выходных путей сортировки, что обходить их приходилось довольно долго. Небольшие по диаметру, литые без особых изысков, но тем не менее выкрашенные красной краской колеса этих трудяг давали пробуксовку, когда надо было стронуть с места особо тяжелый состав. Мощные корпуса с черными обтекателями и короткими дымовыми трубами и их удлиненные тендеры, созданные такими для того, чтобы забирать побольше угля и воды для дальних перегонов, напоминали корпуса броненосцев, как их описывал в своей «Цусиме» Новиков-Прибой. Когда очередной такой «монстр», набирая ход, проносился мимо железнодорожной платформы, люди, ожидавшие пригородного поезда, старались отойти подальше. Поток воздуха срывало шляпы и выворачивало зонты.

Можно было не разбираться в типах паровозов и не помнить аббревиатуры, обозначающие те или иные образцы, но нельзя спутать по звуку «товарняк» и «экспресс». Приходилось ли вам когда-нибудь смотреть на несущийся на вас, когда вы стоите вблизи железнодорожного полотна, состав? Позднее, в конце шестидесятых и в семидесятые, скоростные пассажирские поезда уже водили темно-красные тепловозы марки ТЭП. Эти мощнейшие машины уже на подходе к «сортировке» разгоняли состав до ста километров в час.

Особо впечатляющим это зрелище становилось летом, когда из марева горячего воздуха, поднимающегося над колеей, постепенно вырастала громада раскачивающегося от напряжения локомотива. Надвигающийся с бешеной скоростью состав налетал как ураган, приводя в состояние вихря пыль и песок на краю платформы. В этих рвущихся вперед мускулистых туповатых на «лицо» локомотивах уже не было изысканности зеленых магистральных паровозов, которым они пришли на смену.

Заслуженные ветераны доживали свой век, таская за собой пригородные составчики до Вырицы, Поселка и Оредежа. Как будто в насмешку, их заставляли поддерживать небольшую скорость, чтобы было легче тормозить у станций в конце коротких перегонов. Скоростные качества старых паровозов оставались невостребованными. Случалось, однако, во время поездок по стране, особенно в южном направлении, вдруг ощутить в ветерке, влетавшем в открытые окна вагона дальнего следования, непередаваемо родные запахи сожженного в паровозной топке угля и перегретого пара.

Нетерпеливо высунувшись в окно, я дожидался ближайшей дуги при повороте железнодорожной колеи, чтобы убедиться, что нас тащит за собой заслуженный, не сдающийся, могучий и оттого очень близкий магистральный паровоз зеленого цвета. Их подцепляли на узловых станциях, где они продолжали верой и правдой служить и в семидесятые, и даже в восьмидесятые. Случалось, что на очередной станции, где стоянка было достаточно продолжительной, я шел в «голову» состава, чтобы поздороваться с этим ветераном, поклониться его красоте.

Говорят, где-то в глубинке до сих пор стоят в стратегическом резерве эти выдающиеся машины, законсервированные «на всякий случай». Паровозам же не нужно электричество в проводах, мазут для дизелей. Их может стронуть с места любое топливо способное дать достаточно тепла, чтобы в котлах возникла сила перегретого пара, толкающего цилиндры. Это могут быть уголь, брикеты торфа, березовые дрова, старая мебель...

Хотелось бы верить, что паровозы действительно где-то стоят: ухоженные, под крышами, в толстом слое смазки, с не заржавевшей гарнитурой, с не прогоревшими колосниками, со свистками, готовыми выдохнуть в небо высокую ноту, волнующую душу каждого, кто хотя бы однажды сядил в вагон, идущий далеко за горизонт.

Охотовед

Из приятно расслабленного состояния после стопки водки и сытного ужина в тесном, но уютном вагончике базы рыбаков и охотников меня вывел громкий и резкий до неприятности баритон. Говоривший что-то

доказывал стоявшим снаружи вагончика. Повернувшись на матрасе, уложенном на фанерной полке, я попытался вновь погрузиться в приятную полудрему. Не получалось. Ну, чего разорался-то? Вечерняя рыбалка завершилась вполне успешно. Пара любителей ухи из свежей рыбы чиркала ножиками под навесом, соскребая чешую с мелочи, которая должна была составить первую порцию для навару. Тройная рыбацкая ушица — это, знаете ли, что-то особенное и специальное. Не все понимают, зачем в эту самую уху «под занавес» вливают полстакана водки, да потом еще и головешку горящую в нее засовывают. От одной мысли, что к темному времени суток, то есть за поздним ужином удастся похлебать этого божественного блюда, которое только непосвященный мог бы назвать супом, хотелось зажмуриться от удовольствия и проглотить слюну...

Голос за стенкой вызывал раздражение своей настойчивостью. Чего он там права качает? Прислушавшись, я начал понимать содержание разразившейся дискуссии. Ну, понятно. Брать в лодки спасательные жилеты, следить за состоянием погоды, не ночевать в камышах... Чего он гонит? Кто там в холоде останется? Еще понятно, когда тепло, когда на берегу от комаров спасу нет. Когда просто нет желания грести по каналу на базу всего на несколько часов, а потом, едва переждав темное время, снова чапать веслами на клевое место, чтобы судорожно насадить червячка и поскорее закинуть снасть... И замереть в ожидании поклевки. Черт! Правильно про нас говорят: больные на всю голову.

А он еще что-то и про прогноз погоды гундит. Совсем от обилия кислорода с темы съехал. Наверное, комарами отравлен. Эти же твари нам под кожу яд впрыскивают, отчего мы потом и чешемся. Вот, наверное, нажрали ему лысину, яд сразу в мозги просочился. Хихикнув, я представил себе лысого дядьку, вместо волос — сплошное комариное пиршество на макушке... Бр-р-р! Нет, положительно подремать до ухи не даст. Я спустил ноги с топчана, потянул к себе отвернутые на просушку резиновые сапоги с теплыми фланелевыми портянками. Пойти хоть поздороваться для порядка.

Перед крылечком вагончика дымили вонючими сигаретами и размахивали вокруг себя кто веточкой, а кто и целым веником, любители покурить и потрындеть о рыбалке. Перед ними стоял крепкий и сухопарый мужик лет под сорок. И, что характерно, совсем даже не лысый, а скорее наоборот. При этом комары его вовсе не заботили.

— Чего расшумелись? — спросил я мирно. — Рыбу в Ладоге распугаете...

— Ага! Ты, значит, старший группы? — мужик был явно настроен командовать всеми, кого нашел на базе.

— Допустим, я. Хотелось бы прежде узнать, с кем имею честь?

— Старший охотовед общества «Динамо».

— Порыбачить с нами хотите?

— И порыбачить тоже. Только вот сначала хочу довести до всех, что надо спасжилеты в лодки класть. О том, чтобы надевать их на воде, еще пока не говорили, но поговорим и об этом.

Рассуждать на тему соблюдения правил безопасности на воде не хотелось, хотя бы потому, что выпитый чай совершенно логично попросился погулять. Соблюдая внешнее спокойствие, я направился в сторону деревянной будочки с томной надписью на двери.

— Завтра когда у вас выход на воду? — спросил охотовед.

Отвечать, стоя спиной к собеседнику, не в моих правилах. Выражая лицом свое крайнее неодобрение его любопытством, я сделал вид, что дорога к сельскому домику сосредоточенного уединения меня не так уж интересует.

— По индивидуальному плану. Сами решают, кто, куда и во сколько. Обратно все должны собраться к четырнадцати ноль-ноль. Опоздание приравнивается к попытке подрыва боеспособности части со всеми втекаемыми и вдуваемыми в необходимые отверстия последствиями...

Казалось, мой ответ его вполне удовлетворил, и я продолжил свой маршрут.

Однако этот мужик меня достал! Он поджидал моего появления, словно я ему задолжал с Пасхи бутылку кагора.

— Я завтра пойду на своей лодке под мотором. Если надо, подхвачу всех, кому лень воду веслами лопатить, — предложил он.

— Эй, народ! Есть желающие бесплатно прокатиться на шарабане и получить пакетик леденцов? Тут у нас оказия до мыса или... а куда, собственно, повезешь?

— По погоде. Посмотрим утром.

— Всем ясно? Туда на моторе в пристяжку, обратно веслами вприпрыжку! Время выхода?

— Я хочу выйти в канал в пять утра.

— Все поняли? В пять утра самые ленивые стоят в канале и ждут буксир!

Народ поржал и вернулся к своим занятиям.

Тройная уха все-таки состоялась. Собственно, и рыбы из нее ловить не требовалось. Для истинного любителя главное юшку похлебать, все остальное — нюансы.

Утро началось в непривычном темпе галопа. Народец прыгал с верхних полок, грохотал сапогами и брякал удилами по стенкам вагончика. У-у-у, хапуги! Так они всю рыбу переловят! Но заведенный с молодости режим питания для меня все же важнее. Поест горяченького по утрен-

ней прохладе — это залог успеха. Сыт рыбак — и рыбке что-то перепадет. Я неспешно залез в свой старый «фофан». Поднатекло за ночь — осенью надо будет снова конопатить, а весной смолить. Давно пора на дрова это старье списать, да все жаба душит динамовское начальство новые пластиковые лодки купить. Почерпал котелком воду из-под ног и тронулся по протоке.

Уже в Новолодожском канале стало понятно, что на выходе в озеро нас ожидает ветерок. Прикрытый от озера высоченной искусственной насыпью, Новолодожский был проложен параллельно со Старолодожским — каналом петровских времен. Ладога — «здесь вам не тут». Заштормит — мало не покажется. Хорошо бы ветер с юга, тогда ему от близкого южного берега негде разогнать волну...

На выходе из канала маячили такие же, как я, неспешные рыбаки, уже попытавшие удачу поперек протоки, выведившей из канала в озеро. Где-то на пределе слышимости комариным зудом доносился «Вихрь» охотоведа. Теперь понятно, чья «казанка» стояла пришвартованной к пирсу. Далековато отошел. Впрочем, и мой намеченный еще вчера путь был неблизким. С утра веслами помахать — хороший разогрев. Старшина наш — Модестыч, еще в самую первую мою здесь рыбалку указал, где можно найти место. Надо выйти в залив Черная Сатама, так, чтобы сошлись в единую линию купола высокой церкви, видимой с воды, и стоящей на берегу в деревне Черное. Туда всего пара километров, но сегодня ветер навстречу. А встречный ветер всегда уводит с курса и приходится вертеть головой и следить за направлением движения. Нет, сегодня туда я не пойду. Ближайший островок из рогоза и камыша прикрывал спину от свежего ветра и волн. Все — кидаю с кормы якорь: сваренный из арматуры тяжеленный «еж». Лодка становится по ветру. Забрасывать можно с обеих сторон. Не торопясь разматываю удилища. Старые, бамбуковые, трехколенные. Еще отец мой делал. Потому прошли они много водоемов — потертые, перемотанные у колец разномастной изолянтной. И свою любимую двухколенку — эту удочку отец сделал специально для меня, когда мне было лет двенадцать. Под мою тогдашнюю руку — удилище тонкое, чуть короче прочих, но гибкое. Подсекать любую рыбу — одно удовольствие.

Что-то я сегодня не так сделал. Рыбаки — народ суеверный. На червячка не поплевал, что ли? Поплавки покачивались и подпрыгивали на усиливающейся и уже не сглаживаемой речной порослью волне. Ничего похожего на поклевку не наблюдалось. Порассуждать о превратностях рыбацкого фарта — самое время... Ну, вот, еще вдобавок и плюхать в корму начало. Это волна, прошедшая через заросли травы, бьет в корму лодки со смачным шлепком. Нет, точно сегодня не клевая погода... Оставив

без внимания так и не ожившие поплавки, я начал цеплять блесну к леске спиннинга. Может, хоть зубастая какая с дуру хватит?

Как-то не очень устойчиво вела себя под ногами лодка. Пара забросов получилась вполне удачно, но потом, чуть задев крючком тростник за спиной, я получил позорный недолет и лохматую «бороду» на катушке, которую пришлось распутывать. Неудобства сплошные — удочки лежат по бортам, спиннинг на коленях, руки зябнут по утренней прохладе от ветра и мокрой лески. Добавилась еще и бортовая качка. Чего это сегодня за непруха? Явно это охотовед накликал нам неловчую погоду. Еще и спасжилет в носу болтается. Уже, естественно, намок от скопившейся на дне лодки воды. Суши его потом...

Раздражение нарастало, а рыбалка не терпит этого. Может, я, конечно, преувеличиваю, но рыба нервяк улавливает и раздраженно уходит от наживки.

Все. С «бородой» разобрался. Поплавки так и не дернулись. Надо менять место. Тут дела не будет. Едва вывернувшись из-за тростника, я получил в корму чувствительный шлепок налетавшей волны, да такой, что плюхнуло через транец в лодку. Вот уж, не везет — значит, не везет. На ходу особо не почерпаешь. Придется все же сворачиваться — лодку начало раскачивать. Грести неудобно, но надо. И лучше бы грести энергичнее, чтобы двигаться в такт с набегающими с кормы уже достаточно высокими волнами, чтобы не «нахлебаться» через корму и борт.

За спиной возник звук лодочного мотора. Наваливаясь на весла и стараясь грести короткими энергичными «злыми» гребками, оборачиваться не стал. Охотоведская «казанка» прошла метрах в пятнадцати. Охотовед посмотрел на мои усилия и крикнул:

— Давай в канал. Я туда подтяну тех, кто подальше встал. Явно шторм идет.

«Казанку» мотало на гребнях волн, и она сильно плюхала днищем, когда попадала между двумя валами.

Эка, Америку открыл! Тут детей нет, чтобы не понимать, что пора ноги уносить. Бывало всякое. Позапрошлым летом попробовал я по июльскому теплomu времени прийти в Ладогу «по-легкому». Имел глупость взять с собой не привычный ватник от зимней полевой формы и офицерскую плащ-накидку, а легкий тонкий ватничек, оставшийся от тестя, и уголок, склеенный из куска трансформаторной лакоткани. Ну, июль же. Ага! Ладожский июль показал мне, легкомысленному придурку, откуда в Ладоге чего берется. То есть, откуда принесло налетевший внезапно шквал с сильным ветром и крупным дождем, я понять не успел. Успел попрощаться с сорванным с меня ярко желтым непромокаемым уголком. Порывом ветра его унесло сразу и конкретно. Когда держишься за весла, держаться за уголок можно разве что зубами. И я успел поприветствовать потекшую

по спине холодную воду. Ливень пробил тонкий ватник, как ткань марлевку. Оставалось, пыхтя от напряжения, грести в полную силу на базу.

В протоке уже была пара наших лодок. Остальные виднелись кто ближе, кто дальше от входа в нее. Вроде бы, все в пределах видимости. Машут веслами, торопятся укрыться. «Казанка» с охотоведом удалялась к мысу.

— Куда его понесло? Там же никого нет.

— Утром, совсем рано приехали еще двое. Тоже на своей лодке пошли.

С подошедшего к борту ялика обеспокоенно комментировали погоду, не стесняясь выражать свое отношение к коварству Ладоги непечатными выражениями.

— Валите на базу, ставьте чайник, — сказал я сидящим в ялике. — По-дожду, пока все наши не пройдут.

Сматывая на ходу снасти, народ тянулся по протоке в Новолadoжский канал, чертыхаясь и сожалея, что полдня пропало зря.

В просвете между двумя островками зарослей рогоза показались две лодки. Обе «казанки». Отловил охотовед утреннюю пару. Наши уже все прошли. Я развернул лодку и уже без напряжения, прикрытый от волны и ветра косой и насыпью, не спеша погреб к базе.

Через полчаса к причалу базы подтянулась лодка с двумя рыбаками. Они, чертыхаясь, разгружали из лодки снасти, рюкзаки, весла.

— Охотовед-то где?

— За нами шел. Мы уже в канал сворачивали. Видели, что он на входе в протоку застопорил. Что-то с мотором...

Перевернутую «казанку» нашли загнанной штормом в глубину зарослей рогоза на второй день поисков. Собственно, и поиск-то уже смогли организовать, когда шторм утих. И стало понятно, что случилось несчастье.

Самого охотоведа искали почти неделю. А нашли не в воде у берега, как ожидалось. На берегу. Крепким оказался мужик! Он сумел выплыть в шторм, когда его лодку с заглушим мотором перевернуло волной, добрался до мелководья и прошел по мелководью около километра до берега...

Его убила ледяная вода Ладоги. Организм не выдержал переохлаждения.



Энвер Ажиба

Стихи

Энвер Ажиба. Абхазский поэт, прозаик. Родился в 1958 г. в Абхазии. Окончил филологический факультет Абхазского государственного университета. Член Союза журналистов Абхазии, международной Конфедерации журналистских Союзов, Ассоциации писателей Абхазии. Автор одиннадцати поэтических и прозаических сборников. Работает заместителем главного редактора литературной газеты «Ецваджаа» («Созвездие»), учрежденной Ассоциацией писателей Абхазии.

Весна в родном селе

Играет в небесах огонь заката,
Клубятся облака, огнем объаты.

Пока округа милая светла,
Вгляжусь в черты родимого села.

Не слышно птиц под кронами деревьев,
Крестьянка скот свой загоняет в хлев.

И папоротник жгут на целине,
Чтоб тучный хлеб дала в грядущем дне.

Взялась весна хозяйничать вокруг,
Отец мой на подворье ладит плуг.

— Пора пахать! — Земля уже зовет
С ней потягаться силой — чья возьмет!

Дерево и огонь

Дерево живое, и такое
Дерево, чей ствол зачах,

Валим мы безжалостной пилою,
 Чтоб в жилище не погас очаг.
 И когда огонь в камине пляшет
 И поет, смеясь над вьюгой злой,
 Дерево в огне как будто плачет,
 Истекая жгучею смолой.

Вот и все поленья прогорели,
 Жжет мороз оконное стекло.
 Но дитя смеется в колыбели —
 Там ему уютно и тепло.

Словно в комнату шагнуло лето,
 Нас с утра от холода храня.
 Благодарствуй, дерево, за это!
 Ты — даритель мирного огня.

А огонь, что нужен нам от века
 На земле, как хлеб и как вода, —
 Пусть горит на благо человека,
 В очагах не гаснет никогда!

Снег идет

Снег идет...
 Наступают опять холода.
 Не успел оглянуться —
 Окрестность родимая стала седа.

Снег идет...
 И как будто с испугу гремучий родник замолчал.
 Он свое отзвенел,
 Он свое между скал отжурчал.

Снег идет...
 И снежинки, как всадница, ветви дерева оседлав,
 Вдруг срываются вниз
 И, гонимые ветром, несутся куда-то стремглав.

Поутих птичий гомон,
 Недавно летевший к нам с разных сторон.

Снег идет...
 И слышны только резкие, редкие крики ворон.

Огненные кони

Лишь следы дымятся на сырой земле.
 Огненные кони — всадники в седле.

Словно слит наездник навсегда с конем,
 И глаза сверкают яростным огнем.

В лицах промелькнувших увидал старик
 Юности минувшей лучезарный лик.

Лишь следы дымятся по сырой земле,
 Огненные кони — всадники в седле.

Вот они как птицы над землей летят,
 На кого, горянка, устремляешь взгляд?

Сердце, обмирая, вслед за кем летит?
 Празднует победу твой, не твой джигит!

Старт лишь на мгновенье уравнивает всех,
 Но дарует финиш одному успех!

Этой ночью

Будто кануло в Черное море
 Солнце, с тихой простившись землей.
 Станет полной владычицей вскоре
 Ночь, окутав окрестности мглой.

Тишина. Безмятежно и сладко
 Пчелы в тяжких уснули цветах.
 Из-за тучки как будто украдкой
 Проступила луна в небесах.

У ручья где-то филин хохочет.
 Светляки полыхают в кустах.
 Звездный мир опустившейся ночи
 Отразился в душе и глазах.

Будет месяц сиять до рассвета,
Сон земли и людей сторожа.
...Красоту ненаглядную эту,
Не постигнув, запомнит душа.

Перевод С. Агальцова

* * *

Мужчины, умирая, пели.
Героев с песней смерть встречала,
И если раны их болели,
То песня боль одолевала,

Была прощаньем песня эта,
Омытая скупой слезою,
А после возвращалась светом
Их новой жизни, став звездой.

Перевод Г. Лескиса



Екатерина Наговицына

Тонкая струна

Екатерина Наговицына. Поэт, прозаик. Училась в академии государственной службы при Президенте РФ, окончила юридический институт и Государственный университет им. Б. Н. Ельцина. Участник боевых действий на Кавказе. Майор спецподразделения МВД России. Кавалер ордена Мужества. Автор прозы о контртеррористических операциях в горячих точках. Дважды Лауреат литературного конкурса МВД России «Доброе слово», международного конкурса «Славянские традиции». Публиковалась в ряде изданий России, Белоруссии и Украины.

Тихий осенний вечер старого района. Ветерок лениво гоняет по улице мусор, заворачивая его в пыль. Обертка от шоколада, фантики, смятая пачка сигарет, упаковка от продуктов — фиксирую все это на автомате, но он не трогает внутренние струнки тревоги — это мирный мусор родного города.

Я бесцельно брожу по улицам часами, день за днем. Еще немного и месяц набегит. Не могу себя увлечь. Пока не получается вклиниться в мирную жизнь. Вжиться. Раствориться и стать ее частью, ее новым жителем. Я как будто в гостях. Дома и одновременно где-то. Как дурак, хожу по знакомым с детства местам и не могу их принять. Все знакомое, родное, но не мое. Не здесь я сейчас. И уже не там. Завис на переправе.

Надо что-то делать. Может, напиться? Не помогает. Не цепляет. Пить водку надоедает раньше, чем начинает забирать. Хмель не приходит. Забыть не наступает. Нет облегчения в родном доме. Ничего нет.

Дни проходят как бы вне меня. А я стою в сторонке, поглядываю и не участвую. Нервы натянуты до предела. До тонкого внутреннего звона. Кажется, что еще чуть-чуть, нить оборвется, и со звоном начнут крушиться зеркала, которые только лишь отражают какую-то незнакомую, чужую жизнь.

Настроение плавает, от абсолютной апатии — до лютой злобы. А потом — обратно, как будто и не было ничего. Выводит из себя все, что угодно — косо брошенный взгляд, визгливый голос и так далее, и тому подобное. И чтобы хоть как-то отвлечься, унять внутренний зуд, умотать себя, каждый вечер, когда бывает невыносимо оставаться дома, выхожу и иду.

Без привязки к адресам и улицам. Бреду, опустив голову, уперев взгляд в трещинки на асфальте.

Как-то раз подошли, спросили время. Скользнул взглядом по часам, буркнул ответ и услышал в спину протяжное:

— Э-э, алле, тебя никто не отпу...

На секунду стало любопытно взглянуть на наглеца, и я, подняв голову, сфокусировал взгляд на прыщавом юнце. Да нет, не совсем юн, лет девятнадцать, там такие уже знали цену своим поступкам. Там это слишком дорого стоило.

За спиной парня стоял второй постарше, и он безошибочно считал с моего лица не только скользнувшее подобие интереса, но и тлеющую внутри злобу. В глазах отразилась смерть. Их ли, чужая ли — какая разница. Он уже был знаком с подобным взглядом, и, решив не развивать дальнейшие события, жестко дернул первого за рукав, процедив сквозь зубы:

— Уходим...

И дал легко себя увлечь, с кривой улыбочкой выдавив:

— Извиняюсь, ошибочка вышла.

Вмиг гопники растворились в сгущающихся сумерках.

Знаете, что такое отражение смерти в глазах? Это мрак во взгляде. Как будто в прорубь заглядываешь. Холодно, бездушно, страшно. Хочется бежать. Но от себя не убежишь. Себя не обманешь. Память не вырвешь, как зачитанный листок. Все она помнит. Несет, не растрясет. Сбережет и в нужный, а тем более, в ненужный момент подаст на блюде. Ненавижу ее. Выбросил бы, сжег, растоптал. Но нельзя. Ею еще и жив. А еще жив за тех, других, кто уж не смог.

Заныл свежий шрам над бровью. Поднялся ком к горлу. Но слез не будет. Как бы ни хотелось зарыдать в голос, переходя в вой, стон, выхлестнуть из себя всю боль, вину, стыд, но не выйдет, не даст Всевышний облегчения, избавления, забвения. Все это разрывает меня изнутри, изматывает и обжигает. Мне кажется, я даже вижу пепел. Он покрывает мою душу, глаза, лицо, руки и даже старенькие кроссовки.

В середине ночи возвращаюсь домой. Ноги гудят от намотанных километров. Ноет голень. Не раздеваясь, падаю на кровать, упираюсь взглядом в стену. Темно. Давит тишина. Закрываю уши руками. Но это не помогает. Нкуда деваться от себя. От себя не спрячешься.

Встаю, включаю телевизор. Двое о чем-то спорят, доказывая, как надо жить стране. Что вы знаете об этой стране? Зажигаю газ, ставлю чайник. Он начинает уютно ворчать. А воспоминания уже на пороге, готовые ворваться непрошеными гостями и заполнить все окружающее пространство. Но я давлю эту попытку. Механически упираюсь взглядом в телевизор. Листаю канал за каналом, пытаюсь понять, что там показывают — реклама, фильм,

новости, опять реклама, опять новости, Америка, Азия, урожай, цены, обещания политиков — и ни слова про то, что сейчас там. Не интересно это никому, и никому не нужно. И вот воспоминания пододвинулись еще на шаг ближе. Стоять! Упираюсь в старый фильм, пытаюсь вслушаться в диалог героев. Он — бравый офицер с орденом Великой Отечественной войны на груди, она — миловидная блондинка, тоже в военной форме, с медалью «За отвагу». Они встретились после долгой разлуки и военных испытаний, впереди их ждет новая разлука, но они уже мечтают о том, что будет, когда война кончится. Им еще есть о чем мечтать. И я знаю, что их война кончится через один год и три месяца. А когда кончится моя война?

Засвистел чайник. Несколько секунд тупо смотрю на него. Затем выключаю газ, достаю чашку, механически насыпаю кофе, заливаю кипятком, делаю глоток, не чувствуя вкуса, и ставлю чашку на стол. Апатия наваливается, разливаясь по жилам. Показалось, что если сейчас лягу, то может, наконец-то провалюсь в долгожданный сон, и он принесет избавление от реальности. Но это не так. Долго ворочаюсь с бока на бок, проваливаюсь в забытие, но на границе со сном резко вздрагиваю, как от падения, и просыпаюсь.

За окном светает. Комната в предрабачных тенях. Тишина. Закрываю глаза и все-таки засыпаю, но сон не приносит облегчения. Мне снится война, просыпаюсь от собственного крика, весь в холодном поту и смятении. Пытаюсь нащупать автомат, но его нет, и это сильно пугает меня, пока не приходит понимание, где я нахожусь. Сердце гулко ухает. Встаю еще более разбитый, чем был вчера.

Что-то, наверное, надо с этим делать, но что? Что? Куда идти, а самое главное, как объяснить все, что произошло? Как донести главное, когда не можешь выдать из себя ни слова. Как преодолеть барьер, который выстроила психика, ограждая от травмирующих воспоминаний. Я даже сам с собой не могу объясниться, не говоря уже о других людях, да и видеть никого не хочу...

Пару раз звонил телефон, но я не подошел. Не смог поднять трубку и изобразить заинтересованность. Пытаюсь занять себя каким-нибудь делом, но все валится из рук. Время тянется как липкий клейстер, не заполняя мое пространство ничем.

А душа мается, что-то гнетет и выгоняет меня на улицу, заставляет опять и опять бесцельно бродить и убивать время, подаренное мне, видимо, в наказание.

Захожу в первое попавшееся кафе. Сажусь к окну. Подходит официантка, молча кладет на стол меню и, покачивая бедрами, отходит. Разглядываю ее спину, опускаю взгляд на ноги, но не цепляет. Внутри тишина. Окликаю официантку, прошу принести двести грамм водки в стакане. Она, вроде, даже не удивляется. Насмотрелась, видимо, на подобных чудиков. Водку

приносит в красивом стакане для виски. И я выпиваю залпом, немного задохнувшись от обжигающего холода. Закуриваю, чувствуя, как водка начинает согревать, немного затуманивать голову. Осматриваюсь.

Недалеко, в глубине зала, сидят несколько девчонок, потягивают мартины, ведут какие-то свои неспешные разговоры. Ярко накрашенные, ухоженные, модные. Подзываю официантку, заказываю за их стол бутылку дорогого шампанского. Девицы заинтересовано начинают поглядывать на меня. Я в наглую разглядываю их, выбирая самую красивую. Выпиваю еще водки, выкуриваю сигарету, заказываю медленную песню про потерянную любовь, которая так нравится женщинам, и приглашаю стройную брюнетку. Та вручает себя как главный приз и почти нежно прижимается ко мне во время танца. Прикасаюсь к ее волосам, вдыхаю запах дорогих духов, но и это не заводит. Механически двигаюсь в такт, потом целую ручку, возвращаю ее к подружкам, молча разворачиваюсь и ухожу за свой столик. Девушка провожает меня недоуменным взглядом. А я, в свою очередь, устремляю взгляд на улицу.

Что же это такое? Ведь раньше все было по-другому. Я возвращался из боевых командировок, таким победителем, лихим и веселым. Собирал друзей. Мы заваливались в кабаки и гуляли там, обвораживая всех присутствующих женщин. Куда растерялся весь кураж? Где тот кайф возвращения в домашнюю мирную жизнь? А догадка уже стоит рядом.

И я не могу сдержать прорвавшиеся воспоминания. Лавиной они накрывают меня, давая всей своей неподъемной тяжестью, и мне уже некуда бежать. Я все помню...

Ее звали Валерия, но представилась она в наше первое знакомство Леркой. Маленькая, по-мальчишески нескладная молодая девчонка с короткой стрижкой и серьезным острым взглядом, в зеленом, подогнанном под рост камуфляже, который ей удивительным образом шел. Будучи кинологом, она приехала на сборный пункт вместе со своей собакой, черным лабрадором Бураном, измором взяла руководство и единственная добила разрешение на выезд в командировку в составе отряда инженерной разведки на территорию Чечни, для проверок и разминирования дорог.

Парни с любопытством разглядывали ее, кто-то начал отпускать скабрёзные шуточки, а я, ведомый какой-то непонятной мне силой, подошел, протянул руку и представился:

— Дима.

Она пылливо взглянула мне в глаза: не шутка ли, не подколка? — и крепко пожала руку:

— Лерка.

Вот так просто началась наша дружба. Да, да, простая дружба между молодой девчонкой и взрослым, прошедшим уже четыре командировки в СКР, мужчиной. Тонкая струнка натянулась между нами. Что за чувства были у меня к этой задиристой, несмышленной девчонке, пытающейся что-то доказать кому-то, и где — на войне, где вообще никому ничего доказать нельзя? Наверное, отеческая забота, как у отца к дочери, как у старшего брата к маленькой сестренке, как у друга к более слабому, но одновременно и более сильному другу. Какое-то бесполое отношение. Оказывается, иногда так бывает.

Мне была интересна ее жизнь. При этом я, не задумываясь, рассказывал ей о своих приключениях и похождениях. Она только улыбалась, не пытаясь учить меня жизни. Конечно же, я умел красиво травить байки, обхаживая очередную пассию, но здесь все было по-другому. Мне было легко с ней, можно даже сказать, спокойно, а это очень дорогого стоит на войне. Я же для нее был своего рода надежным тылом, прикрытием, единственным другом на этой недружелюбной земле.

С остальными сослуживцами ее отношения складывались сложно. Одни относились к ней, как к товарищу по оружию, другие же пытались подколоть, задеть, зацепить острым словцом. Она ловко пресекала все попытки подкатить к ней. Огрызалась и упрямо пыталась доказать окружающим, что может не хуже парней работать в экстремальных условиях. Не отлынивала от сложных заданий и не требовала себе поблажек. С каким-то внутренним упорством преодолевала все трудности и невзгоды. Заступала в наряды. Выходила на проверки дорог от фугасов, в короткие сроки доказав, что они с Бураном лучше других находят закладки.

Но все ее успехи только усиливали раздражение некоторых бойцов. Она же пыталась не замечать этого. И это злило их еще больше. С каким удовольствием они посмотрели бы на ее слезы, раздув их до уровня бабских истерик! Но Лерка стойко держалась, всем назло, даже мне ничего не высказывая. Не жалела, что приехала сюда. Понимала, что платит за это свою цену.

На «экватор» прибыл проверяющий, старый мой товарищ, сослуживец еще с первой чеченской. Привез водки. Мы нажарили мяса и собрались посидеть с теми, кто не в наряде, отпраздновать, так сказать, эту дату. Подняв третий тост, выпили, как всегда, стоя, помолчав. Затем потекли неспешные беседы «за жизнь», и, конечно же, потихоньку все свелось к расспросам.

— Ну, объясни мне, Лерка, зачем ты сюда поехала?

— А ты?

— Ну, война — это мужское дело.

— И что?

— А то, что воевать должны мужики, а женское дело — сидеть дома и детей воспитывать.

— А я всегда думала, что воевать должны не мужчины или женщины, не старые или молодые — воевать должны профессионалы. Пользы от этого уж точно будет больше.

Проверяющий удивленно хмыкнул. А я, уставший уже от подобных разговоров, которые велись с завидным постоянством, отвернулся, выпив в одиночку еще одну рюмку. Что она может доказать этим мужикам? Свое право на любовь к Родине? Но война — это мужская привилегия, и мужчины не потерпят чужаков на своей территории. Что бы Лерка ни сказала, как бы ни доказывала, что является лучшей в своем деле, все равно чужак здесь — она. Однако, как ни пытался я объяснить ей это, Лерка упорно гнула свою линию, горячась и заходясь на «вековую несправедливость».

К разговору подключились окружающие.

— Что ты здесь ищешь?

— Слушай, твоя бабушка где была во время Великой Отечественной?

— Ну-у, у меня была мировая бабка, прошла от Минска до Одера.

— Так спроси у нее, что она там искала.

Парень обиженно засопел. Но подключился еще один доброхот.

— Лерка, ты дура, ну, как ты не понимаешь, что никогда не сможешь быть наравне с нами?

— Я, может, и дура, но почему я обязательно должна быть наравне с вами? Почему не могу находиться просто рядом, в одном строю? Разве я прошу себе поблажек, разве я не так же, как и вы, тащу службу, разве мой «бронник» легче вашего, или у меня какие-то особые условия службы?

Лежащий у ее ног Буран, почуяв настроение хозяйки, подтверждающе гавкнул. Я ухмыльнулся — защитник... А доброхот не унимался, все больше накаля обстановку.

— Да пойми ты, что это твоя последняя командировка. Никто больше никуда тебя не возьмет, потому что ты — как бельмо на глазу, обуза. Никогда ты не будешь в боевой группе. Я лично пойду к руководству и расскажу все, что было и даже чего не было, но добьюсь того, чтоб баб больше в командировки не брали.

— Подлец, — Лерка выбежала на улицу. Буран преданно засеменил следом.

— Что вы до нее докопались? — немного захмелев, спросил я. Настроение было миролюбивое, ругаться ни с кем не хотелось.

— А ты давай, беги, успокаивай свою подружанку. Ревет, поди, в три ручья.

— Придурок, — беззлобно ответил я своему сослуживцу, закурил и вышел. Лерка сидела на скамейке, гладила по голове Бурана и смотрела на звездное небо.

— Ничего, Лерка, ты здесь никому не докажешь.

— Да я понимаю, но что делать, если я такой родилась? Ну, не повезло мне родиться парнем — и что? Почему в Америке, Израиле, Германии девчонки служат своей стране, никому ничего не доказывая? Почему у них — не на излом? Даже чеченцы со своим шариатом не гнушаются пресловутыми прибалтийскими снайпершами. Почему только я сталкиваюсь с тем, что все кругом знают, где мое место и что я должна делать? Ведь у каждого должен быть свой шанс на подвиг.

Я ухмыльнулся:

— Ты в России — и этим все сказано.

Она поднялась и ушла. А я сидел и смотрел на ночное небо. Нестерпимо захотелось домой. Эх, загулять бы сейчас по-настоящему, с друзьями, девчонками, в дорогом кабаке, повеселиться от души и не видеть этих уже надоевших лиц, не слушать их нудные разговоры и докапывания до Лерки...

И вот я в кабаке, сижу, как когда-то мечталось, но что-то не ладится, не веселит. Даже красотки не заводят. Не интересно. Скучно. Однотипные песни, пустые девахи, для которых важны только они сами.

Выхожу на улицу... Опять бреду, куда ноги несут. Пытаюсь оторваться от воспоминаний тех дней, но они не отстают...

Совсем рядом, едва не задев меня, резко затормозила белая вазовская шестерка. Из раскрытого окна донеслась громкая музыка, и ярко окрашенная пьяная девица, высунувшись почти по пояс, попросила закурить. Я на секунду задохнулся. Замотал головой, прогоняя этот призрак. И опять провалился в воспоминания, кожей почувствовав жар того летнего чеченского дня, ощутив скрип песка на зубах...

Как будто наяву увидел, как мы, уставшие от долгих часов проверки дороги, ведущей в Грозный, сгрудились возле «Урала» на перекур. Около десятка саперов, измотанные километрами и жарой, встали в скудную тень от грузовика. По кругу передали бутылку с теплой противной водой. Хотелось большего — полежать на шелковистой травке пляжа, окунуться в освежающую волну...

Шел шестой месяц нашей командировки, и все устали. Измотались каждодневными проверками дорог, поисками мин и фугасов, длинными скучными нарядами, однотипными днями, похожими один на другой. Устали от ожидания беды и уже перестали ее ждать. Мужики курили — разморенные, отупевшие, отпустившие все на волю случая, безразлично поглядывавшие на окружающий нас мир, такой же безликий и безрадостный.

Лерка стояла рядом, как и мы, замученная, запыленная, с мокрым от пота ежиком волос.

— Эх, снять бы сейчас «бронник» и поваляться на пляже, — устало сказала она.

И эта безобидная фраза вдруг всколыхнула во мне какое-то дикое раздражение, и я ответил ей резкими неправильными словами. Уже говоря, понимал, что выдаю не свои слова, а где-то услышанные, и видимо, запавшие в сознание — гадкие, грязные, несправедливые и очень болезненные... Часть меня ужасалась тому, что я делаю, а другая не могла остановиться. Все накопленные за шесть месяцев усталость, раздражение, страх и каждодневное ожидание беды изливались из меня бранным потоком.

Все удивленно замерли. А Лерка отшатнулась, как будто ее ударили. Она глядела на меня, не веря происходящему, растеряно моргая и закусив губу. Со звоном лопнула связывающая нас тонкая струна.

И в это самое время рядом с визгом притормозила белая вазовская «шестерка». В салоне громыкала музыка. Я увидел, как качнулась кисть руки, выбрасывая нам под ноги «лимонку». Словно в замедленной съемке. А машина, выплевывая из-под колес пыль и камни, с пробуксовкой отъезжала, резко набирая скорость. Я заорал, что было мочи:

— Граната!

Падая, как учили, в сторону от предполагаемого взрыва, я умом понимал, что зря, все зря — это смерть. В голове всплыла заученная цифра сплошного поражения цели. И вдруг, скорее ощутив, чем увидев, я поднял глаза — и не поверил, не захотел принять происходящее. Вопреки всем учениям и наработанным за время тренировок рефлексам, Лерка упала на гранату. На долю секунды мы встретились с ней глазами. По ее пыльной щеке текла слеза, первая за долгую командировку.

А дальше — был взрыв. Резкий, сильный, обжигающий. А затем посыпались комки глины. Кто-то закричал. Послышался чей-то стон. Я вскочил, и тут же, как подкошенный, рухнул на колени — ногу перебило осколком. Но это было не важно.

Я вглядывался в лежавшее рядом тело, надеясь, что это только сон, и сейчас упрямая Лерка поднимется, и все пойдет своим чередом. Но она не поднималась. Буран, сгуля и оставляя за собой бурый след, полз к хозяйке на брюхе. Дополз. Лизнул окровавленную руку, вильнул хвостом и затих, прижавшись к ней мокрым от крови боком.

А я стоял перед ней на коленях, живой и убитый одновременно. Как мне хотелось сейчас так же ползти на брюхе, моля о прощении за все, что я сказал ей, поддавшись минутной слабости. Но война не дала мне этого шанса. Уже нельзя было оттолкнуть ее, самому лечь на гранату, спасая всех от смерти. Этот бой выиграла она.

Шел шестой месяц командировки. Все устали. И уже ничего нельзя было изменить.

Сделано в Петербурге!

В октябре 2016 года Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора», выпускающая журнал «Аврора», стала лауреатом конкурса «Сделано в Петербурге».

Конкурс «Сделано в Петербурге» был задуман и впервые проведен в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В ходе конкурса были определены лучшие товары, продукция и услуги предприятий нашего города. Удачный опыт организации конкурса на протяжении тринадцати последующих лет, постоянный рост числа участников являются свидетельством успеха данного проекта. Конкурс «Сделано в Петербурге» способствует росту качества продукции, получению объективной информации о потенциале наших предприятий, их инвестиционной привлекательности и внедрении передового опыта.

Санкт-Петербургский конкурс товаров и услуг «Сделано в Петербурге» за свою тринадцатилетнюю историю превратился в гражданский институт общественной поддержки предпринимателей. С каждым годом растет престиж конкурса в деловой сфере. Появляются новые интересные номинации, новые направления деятельности экспертных групп. Несколько лет назад впервые была объявлена номинация «Кредит потребительского доверия». Ее актуальность определяется тем, что по данным ежегодных социологических опросов Союза потребителей России свыше восьмидесяти процентов российских граждан хотя бы раз в году сталкиваются с нарушением их потребительских прав, которые причиняют вред их здоровью, влекут за собой материальные убытки и моральный ущерб.

Конкурсы качества дают прекрасную возможность каждой отрасли продемонстрировать свои достижения, представить лучшие образцы своей продукции.

То, что Санкт-Петербург является средоточием культурных ценностей, известно всему миру, и этим достоянием россияне гордятся. А вот о том, что «культурная столица» имеет мощный промышленный и интеллектуальный потенциал, благодаря которому на предприятиях нашего города создается высококачественная, порою уникальная продукция, знают не все. Высве-

тить эту сторону жизни нашего города — одна из задач конкурса качества «Сделано в Петербурге», которую он успешно решает уже не первый год.

Уходит в прошлое представление о том, что российской продукции еще очень далеко до пресловутого «мирового уровня», и что наш потребитель чаще предпочитает заморский ширпотреб. Сегодня российские товары вовсю теснят когда-то вожделенный импорт, и качество многих из них отвечает самым высоким требованиям. Подтверждений тому немало — возьмем, к примеру, любое изделие из ставшего уже знаменитым списка лауреатов конкурса «Сделано в Петербурге». Санкт-Петербург всегда славился стремлением к инновациям и прорывам. Конкурс укрепляет положительный имидж города, продвигает новые виды продукции и услуги.

Знаменательно, что конкурс «Сделано в Петербурге» не стоит на месте. Руководителями конкурса разработана программа «Сделано в России», в которую органично входит одноименный конкурс, способствующая продвижению российских брендов на зарубежные рынки. Все больше предприятий, успешно прошедших рейтинговую оценку своей продукции в конкурсе «Сделано в Петербурге», хотят попробовать свои силы в выходе на федеральный и международный рынок посредством дебюта в конкурсе «Сделано в России».

Лауреатами конкурса 2016 года стали: ПАО «Ленэнерго», ООО «Охранная фирма "Титан"», ОАО «Большой Гостиный Двор», ООО «ВИБРОТЕХНИК», ЗАО «Нева-металл посуда», ООО «Химико-биологическое объединение при РАН "Фирма ВИТА"», ООО «ВКБ-спорт», ООО «ПКФ "РУСМА"», ООО «АЛЬФА-ПОЛ», ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга», СП ЗАО «Интеграл СПб», ООО «АКМЭ ИНТЕЛЛЕКТ», СПб ООК «Аврора» и другие организации, выпускающие нужную продукцию и оказывающие полезные услуги.

Награждение проводили: депутат Государственной думы РФ, первый заместитель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Васильевич Коломейцев и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Борисович Егоров.



Сотрудники журнала «Аврора» — победителя конкурса «Сделано в Петербурге» — в редакции. Илья Бояшов, Кира Грозная.

Информация о проведении конкурса «Серебряный голубь»

Историико-литературный журнал «На русских просторах», Новгородское отделение Союза писателей России (Великий Новгород) и Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора» при информационной поддержке журналов «Невский альманах» и «Аврора» объявили конкурс «Серебряный голубь России», посвященный творчеству писателей и поэтов «Серебряного века», юбилеи которых или памятные даты отмечаются в 2016 году.

Работы принимались на конкурс до 25 сентября 2016 года.

Список работ, поступивших на конкурс «Серебряный голубь России — 2016»

1. Аляева Галина. Писатель-общественник с крестьянской душой (к 130-летию со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича Неверова).
2. Андреева Юлия. Анна Павлова (книга и статья).
3. Андриюшкин Александр. Державин как этнополитик (к 200-летию со дня смерти Г. Р. Державина).
4. Ахатов Эльдар. Прикосновение к вечности (воспоминание-легенда об А. А. Ахматовой).
5. Богданова Ирина Леонидовна. Мне имя — Марина» (75 лет назад, в последний день лета 1941 г., ушла из жизни Марина Цветаева).
6. Вдовенко Д. В. Поэзия К. Д. Бальмонта: экзистенциальный невроз или новая гармония?
7. Владимировна Людмила. Голуби реют серебряные...
8. Воеводова Елена. Есенин (эссе).
9. Выговский Илья Сергеевич (10 лет). Мой серебряный голубь.
10. Гаврис Надежда. 1) Вокруг Дворцовой слободы с Анной Ахматовой и ее современниками (к 50-летию со дня смерти Великого Поэта); 2) Петербургско-финский период Леонида Андреева (к 145-летию со дня рождения выдающегося Писателя и Художника).
11. Гатовский Артур Генрихович. Из Ходасевича.
12. Гусев Александр Анатольевич. Рыцарь без страха и упрека Михаил Лозинский (к 130-летию со дня рождения выдающегося поэта, переводчика, одного из создателей отечественной школы поэтического перевода).

13. Дмитриев Андрей. Год кино — в год Мандельштама. Безвинно убиенным...
14. Елисеев Виктор. Станция Усмань... — последний привет.
15. Звонарева Лола. 1) Наиболее незащищенное из всех животных (зооморфный код в прозе Гайто Газданова); 2) Европа и Россия в 1920 году: взгляд из Варшавы.
16. Измайлов Альберт. 1) Как иногда бывает хорошо и странно жить; 2) И весь мой мир волнующий и странный; 3) Нежность — это специальность Северянина.
17. Канавщиков Андрей. Крученных — наследник Сологуба.
18. Карасев Александр. Завещание поручика Куприна (к 80-летию возвращения А. И. Куприна на родину).
19. Каримов Гумер. 1) Их было четверо. Старые письма к Elen (эссе); 2) Дежурят страх и муза в свой черед (эссе).
20. Климешина Галина Васильевна. Серебряные росы Марины Цветаевой.
21. Колотило Марина. Азбука Алконоста (книга).
22. Коростелева Валентина. Моя мечта надменная и проста...
23. Кравченко Наталия. 1) Певец Петербургской богемы. «Я сам родился ведь на Волге...»; 2) Счастливый домик.
24. Крюкова Елена Николаевна. Бег времени (об Анне Андреевне Ахматовой).
25. Кулинченко Вадим Тимофеевич. Талант художницы.
26. Кунавина Ольга Викторовна. Владислав Ходасевич. Я был (эссе).
27. Лашук Татьяна. Открывая Алданова (к 130-летию со дня рождения Марка Алданова).
28. Лежакова Анастасия. «Живая фреска всех чувств» — Иван Мозжухин (к 105-летию дебюта в кино).
29. Лупан Виктор. Символ нашего времени (работа представлена Ренэ Герра).
30. Луцкий Марк. Еврейские мотивы в творчестве Владислава Ходасевича (эссе). «Игорь Северянин и Владимир Маяковский. К истории взаимоотношений двух поэтов». Эссе.
31. Малахова Елена. Синеокая тень.
32. Медведев Александр. 1) Песня о Родине; 2) Единственный и непревзойденный (к 150-летию со дня рождения Л. С. Бакста).
33. Мяхина Ирина. «Свежий взгляд» на Абиссинию... (к 130-летию со дня рождения Николая Гумилева).
34. Мячина Юлия. Жизненный путь Иннокентия Анненского.
35. Николаев Вадим. Машенька (к 130-летию со дня рождения Николая Степановича Гумилева).

36. Обьедков Анатолий Романович. Бунинские дали.
37. Парамонова Мария. Несравненное право Николая Гумилева (эссе).
38. Пирцхалава Мариам. Дружба с Грузией (к 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама).
39. Подберезин Борис. Загадки Игоря Северянина.
40. Приймак Ирина Владимировна. Конфликт веры в произведении Дмитрия Сергеевича Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник».
41. Руденко Людмила. Он пришел из России» (к 130-летию со дня рождения В. Ф. Ходасевича).
42. Селенина Дарина. 1) Эдуард Багрицкий. Он придумал себя сам; 2) Тайный автор замечательных стихов.
43. Серебренникова Ирина Глебовна. Петербург в поэзии Серебряного века (эссе).
44. Серебряков Кирилл Дмитриевич. 1) Писатель за рулем; 2) Моцарт русской живописи; 3) «Хлестаков» в кругах интеллигенции.
45. Соловьева Татьяна Алексеевна. 1) Где Мережковский познавал Русскую Историю; 2) Черубина де Габриак.
46. Тетерин Александр. Великое искусство.
47. Уткин Сергей Сергеевич. Повесть о настоящем.
48. Фунт Игорь (Игорь Попов). 1) Сияние разума вечного странника Бориса Зайцева; 2) Черное платье — символ эпохи, или Предтеча постмодернизма (к 50-летию со дня смерти Анны Ахматовой); 3) Умереть... и остаться («О смерти я тогда молился богу»); 4) Тотальное отчуждение Мандельштама; 5) Кидать золото нищим! (к 75-летию со дня смерти Д. С. Мережковского; 6) Последняя инкарнация Хлебникова (к 130-летию Велимира Хлебникова); 7) Другой бог Александра Блока — Aut deus, aut natura «Изнемогаю на кресте!»; 8) Бродячая собака (к 105-летию открытия).
49. Чернышев Василий Иванович. Чудо. Тайна. Авторитет. Религия как душа нации (глава из книги).



Элла Бельская, Николай Мотовилов

Я. И. Перельман – великий популяризатор науки

Яков Исидорович Перельман (на фото, 1882-1942) — ученый, популяризатор физико-математических наук, основоположник жанра научно-занимательной литературы. Один из первых пропагандистов идей К. Э. Циолковского. Автор более ста книг, которые переведены на двадцать четыре языка народов мира и изданы общим тиражом свыше тринадцати миллионов экземпляров. Именем Перельмана назван кратер на обратной стороне Луны.

Большой Энциклопедический Словарь, М., 1997.

Элла Александровна Бельская. Окончила физический факультет ЛГУ. Занимается краеведением, имеет ряд публикаций, выступала на радио. Живет в Санкт-Петербурге.

Николай Николаевич Мотовилов. Филолог, переводчик. Окончил филологический факультет ЛГУ. Живет в Санкт-Петербурге.

С 1958 года выпускники физического факультета Ленинградского Университета собирались сначала через пять лет, а потом каждый год. На одной из таких встреч было решено издать альманах воспоминаний о жизни в студенческие годы. На вопрос к участникам альманаха, что пробудило в них интерес к профессии, большинство отвечали: «Книги Перельмана». Несомненно, так же ответили бы и математики. Но о Перельмане-человеке, о его жизни, о его личности выпускники не знали почти ничего. Многие не знали даже, жив он или умер. Перельман не любил рекламировать себя, а первая его биография вышла только в 1986 году. Кроме нее, есть лишь отдельные статьи в журналах и газетах. Широкий круг научной и просветительской деятельности Перельмана до сих пор остается менее известным, чем он того заслуживает. Мы должны восполнить этот пробел.

1. Белосток. Детство и юность

Яков (Соломон-Яков) Исидорович Перельман родился 22 ноября (4 декабря) 1882 года в Белостоке — уездном городке Гродненской губернии. В 1897 году в городе насчитывалось шестьдесят шесть тысяч человек, в 1909 году — восемьдесят девять тысяч. Здесь были небольшие предприятия по обработке леса и кожи, стекольные и суконные фабрики.

Яков рано лишился отца: Исидор Перельман, германский подданный, счетовод суконной фабрики, скончался, когда младшему сыну было всего десять месяцев. Мать, Генриетта Исааковна, поднимала детей — трех сыновей и дочь Иоганну (Анну) — на жалованье учительницы младших классов и на заработки от частных уроков немецкого и французского языка. Потом стал работать старший сын Герман. Вместе с матерью он заботился об образовании детей: подбирал книги для чтения, выписывал столичные журналы. Под руководством старшего брата Яков делал первые физические опыты. Когда братья подросли, Герман уехал в Германию. Судьба его после 1933 года неизвестна.

Средний сын Иосиф, будущий русский писатель Осип Дымов, а затем и Яков, поступили в Белостокское реальное училище. Оно считалось лучшим во всей губернии. Действительно, здесь были прекрасные учебные кабинеты, библиотека насчитывала девять тысяч единиц хранения. С 1882 года действовало «Общество вспоможения нуждающимся воспитанникам», финансируемое частными лицами и отчасти городской управой. Самым бедным выдавали по три рубля на приобретение учебников.

Иосиф еще в училище начал писать. В 1892 году он опубликовал в журнале «Вокруг света» свой «Рассказ капитана». За это его чуть не исключили из училища: начальство все еще не оправилось от потрясения десятилетней давности, когда оказалось, что из Белостокского реального училища вышел один из народовольцев. Иосиф все-таки окончил училище и поступил в петербургский Лесной институт (будущая Лесотехническая академия).

Яков продолжал учиться. Ему легко давались математика и — особенно — физика. Математик А. А. Мазулов часто проводил занятия по геометрии на вольном воздухе (отсюда и название одной из частей «Занимательной геометрии» — «Геометрия на вольном воздухе»), предлагал внепрограммные задачи, подбирал для учеников литературу по истории математики, а главное — учил мыслить нестандартно. Физику преподавал Е. А. Бунимович, окончивший Петербургский Университет. Он умел учить увлекательно и занимательно. Латынь и греческий язык в реальных училищах не преподавались, так что для изучения естественных наук оставалось больше времени.

Как раз тогда Яков прочитал «Уранию» Фламариона и увлекся астрономией. В начале 1899 года поползли слухи о близком конце света: на Землю-де выпадет огненный дождь. Реалист Перельман понимал, что этот «дождь» — не что иное, как поток метеоритов, наблюдаемый три раза в столетие, когда Земля проходит близ созвездия Льва. Земле он не приносит никакого вреда.

23 сентября (5 октября) 1899 года «Гродненские губернские ведомости» напечатали статью за подписью Я. П. «По поводу ожидаемого огненного дождя». За эту статью Яков получил семь рублей двенадцать копеек.

В 1901 году Яков Перельман окончил реальное училище. Он подал документы в Лесной институт, где уже учился его брат. Принимали по конкурсу аттестатов. В аттестате Перельмана не было отметки по закону божьему. Брат Иосиф через директора императорских театров И. А. Всеволожского обратился к министру земледелия, и 25 октября (7 ноября) 1901 года Яков был зачислен.

2. Петербург. Три университета. Семья

Первым университетом Якова Перельмана был Лесной институт.

Основанный в 1803 году, он был в 1811 переведен на Выборгскую сторону, в ту ее часть, которая и сейчас называется Лесной. Болотистая, малопригодная для заселения местность в результате мелиоративных работ и разбивки парка изменилась до неузнаваемости. Под руководством главного садовника Э. Г. Вольфа на базе парка была создана лаборатория для изучения растительного мира. Каждый студент обязан был посадить дерево. Есть тут и деревья, посаженные братьями Перельманами.

Братья поселились на частной квартире в доме № 4 по Большому Казачьему переулку. Они все еще числились иностранными подданными, это «наследство» досталось им от отца. Иосиф принял российское гражданство в 1899, Яков — в 1904 году.

Лесной институт гордился своим профессорско-преподавательским составом. Здесь работали выдающийся лесовед Г. Ф. Морозов, «отец русской ботаники» И. П. Бородин, зоолог Н. А. Холодковский (переводчик «Фауста»), знаменитый естествовед Д. Н. Кайгородов, математик Д. С. Домогаров, профессор физики Д. Л. Лачинов, который даже собирался предоставить Якову Перельману место лаборанта при своей кафедре. Но вакансии все не было, и Яков, чтобы платить за обучение, вынужден был перебиваться уроками физики и математики.

В 1903 году торжественно праздновалось столетие института. Перельман в это время находился в академическом отпуске: не было денег на

оплату учебы. В 1909 году он, наконец, получил диплом вместе с памятной медалью в честь юбилея Лесного института.

Вторым петербургским университетом Перельмана был журнал «Природа и люди».

Журнал был основан в 1889 году издателем П. П. Сойкиным и студентом Военно-медицинской академии В. С. Груздевым. Редактором стал Груздев, врач по образованию, человек энциклопедических знаний, имевший опыт литературной работы. В числе сотрудников были автор ряда книг по географии, ботанике и химии Ф. С. Груздев, математик С. П. Глазенап, врач А. М. Никольский, известный исследователь Азии П. С. Козлов.

Якова привел в журнал Иосиф, представивший его В. С. Груздеву. В №5 за 1901 год была опубликована написанная еще в Белостоке статья Перельмана «Карл Максимович Бэр» (исполнилось 25 лет со дня смерти выдающегося естествоиспытателя, одного из основателей Русского географического общества). Так в редакции появился самый молодой, пока внештатный сотрудник. Он писал под псевдонимами: Я. Лесной, П. Я. Цифиркин, Сильвестров, П. Недымов и др., но первая статья о Бэре была подписана «Яков Перельман». В 1904 году Перельмана приняли в штат, в 1907 он стал членом редколлегии, а в 1913 — после смерти Груздева — заведующим редколлгией журнала «Природа и люди».

Третьим петербургским университетом Перельмана было Русское общество любителей мироведения (РОМЛ), основанное в январе 1909 года народовольцем Н. А. Морозовым, будущим почетным академиком. Членами общества были, в частности, П. Ф. Лесгафт, Д. Н. Кайгородов, С. П. Глазенап. Задачей общества было распространение научных, особенно естественно-научных знаний, организация библиотек, создание обсерваторий, помощь молодым ученым. Общество с 1912 года издавало свои «Известия». Перельман был членом общества с момента его основания, а затем и его секретарем. Именно на заседании РОМЛ он прочел первую в истории России публичную лекцию о возможности межпланетных полетов. Именно работа в обществе помогла ему впоследствии написать «Межпланетные путешествия», а затем и «Занимательную астрономию». Общество существовало до 1930 года. Его преемником было ВАГО (Всеобщее астрономическое и геофизическое общество).

27 мая (9 июня) 1912 года был заключен брак между Яковом Перельманом и Анной Давыдовной Каминской. Перельман встретился со своей будущей женой, студенткой женского медицинского института (ныне это Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова), в Сестрорецке. Они прожили в любви и согласии тридцать лет. Их единственный сын Михаил, родившийся

в 1919 году, обнаружил исключительные способности к математике. Эти способности не пропали даром: из-за плохого здоровья мальчик подолгу жил с матерью в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, и школу закончил практически экстерном. Отец посылал ему учебники, книги (не только по математике), задания по математике и физике. В «Занимательной алгебре», излагая второй признак делимости на 11, Перельман пишет: «Не желая присваивать себе чужих заслуг, отмечаю, что этот признак найден моим сыном-школьником». В 1937 году Миша Перельман поступил на математико-механический факультет ЛГУ, досрочно окончил его и к началу 1941 года был уже аспирантом, готовым к защите диссертации. В 1942 он погиб на Ленинградском фронте.

Брак Перельмана косвенным образом ускорил выход в свет первого издания «Занимательной физики». Эта рукопись уже два года лежала в столе у Сойкина. Скромный до застенчивости Перельман не торопил Сойкина с изданием, но теперь ему нужны были деньги на содержание семейства, на завершение образования жены, и он стал настойчиво напоминать издателю о книге. Наконец, весной 1913 года «Занимательная физика» поступила в продажу.

Книга состояла из описания ста сорока парадоксов, задач, опытов, курьезных вопросов. Текст иллюстрировали сто шестьдесят рисунков. Издатель, да и автор, почти не рассчитывали на успех: книга могла показаться неподготовленному читателю малоинтересной.

Успех, однако, превзошел все ожидания. На выход книги откликнулись положительные рецензиями не только специальные издания: «Электричество и жизнь» (№№ 7-8), «Вестник опытного физика» (№136), «Известия русского общества любителей мироведения» (№7), «Русская школа» (№9), «Физик-любитель» (№104), «Педагогический сборник» (декабрь 1913), но и «Русское слово» (31.08.1913), «Нива» и даже газеты правого толка: «Правительственный вестник» (12.05.1913) и «Новое время» (19.05.1913). Воспитательный комитет при Педагогическом музее военно-учебных заведений (в Соляном городке) постановил «признать книгу заслуживающей внимания для учеников средних учебных заведений».

Но самой дорогой наградой был отзыв профессора университета О. Д. Хвольсона, автора многотомного «Курса физики», по которому учились студенты. Хвольсон советовал Перельману продолжать работу по популяризации научных знаний. Сбывались слова Осипа Дымова, сказанные младшему брату: «Придет и твое время».

Вторая часть «Занимательной физики» вышла в 1916 году. В предисловии Перельман писал: «Эта книга представляет собой самостоятельный сборник, не являющийся продолжением первой книги... Она названа «второй» лишь потому, что написана позднее первой. Успех первого сбор-

ника побудил автора обработать накопившийся у него материал, и таким образом состоялась эта вторая книга, или, вернее, другая книга, обнимающая те же отделы школьной физики».

3. Перельман и Циолковский

Ракетная техника в России развивалась давно, и к концу XIX века достигла значительных результатов. Еще в XVIII веке на вооружение русской армии и флота были приняты пороховые зажигательные ракеты. В первой половине XIX века военные инженеры А. Д. Засядько и К. И. Константинов создали боевые ракеты с реактивными двигателями на черном порохе. В 1861 году К. И. Константинов публикует капитальный научный труд «О боевых ракетах». В 1866 году адмирал Н. М. Соковнин предложил схему ракетного аэростата. И, наконец, революционер-первомартовец Н. И. Кибальчич (1854–1881) в каземате Петропавловской крепости, в ожидании казни, разрабатывал «Проект воздухоплавательного прибора», работающего по принципу ракеты. Проект пролежал в архиве департамента полиции тридцать семь лет — до самой революции. Это был первый в мире проект ракетоплана.

В № 5 журнала «Научное обозрение» за 1903 год была опубликована статья К. Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Журнал, однако, не дошел до читателей: издатель М. М. Филиппов трагически погиб при взрыве в лаборатории. Было возбуждено уголовное дело и весь тираж журнала, кроме очень немногих экземпляров, конфискован полицией. Вторая часть труда Циолковского была опубликована лишь через 10 лет (1911–1912) в «Вестнике воздухоплавания».

«Новое время» издевательски отозвалось о «калужском мечтателе», обозвав его «каким-то провинциалом», который мечтает улететь в небеса на «фейерверочной шутихе». Иначе отнесся к Циолковскому научный мир. В журнале «Природа и люди» появилась восторженная статья В. В. Рюмина «На ракете в мировое пространство». Статья обсуждалась на заседании редколлегии. Так вошел Циолковский в жизнь Перельмана, который до конца дней своих оставался пропагандистом и популяризатором его идей.

20 ноября (3 декабря) 1913 года он выступал на заседании Общества мироведения с докладом «О возможности межпланетных путешествий». «Здесь перед нами уже не измышления романистов, — говорил Перельман, — а научно обоснованная и глубоко продуманная техническая идея, высказанная вполне серьезно... Вообразите себе ракету в десятки метров длиной, снабдите ее таким запасом горючего, чтобы она успела развить

скорость в одиннадцать километров в секунду (эта скорость, мы знаем, достаточна, чтобы покинуть землю безвозвратно) — тогда цепи земного тяготения будут разорваны». Доклад был опубликован в «Современном слове» (01.12.1913) и других петербургских журналах и газетах. В Калугу было послано приветствие Циолковскому. С августа 1913 года началась переписка Циолковского с Перельманом. Она продолжалась до конца жизни Циолковского. К сожалению, они не встречались.

В 1915 году Перельман публикует книгу «Межпланетные путешествия». Экземпляр первого издания он послал в Калугу с дарственной надписью: «Инициатору этой книги, глубокоуважаемому Константину Эдуардовичу Циолковскому, от автора». Книга много раз переиздавалась и каждый раз переделывалась. В шестом издании (1929 г.) текст был почти полностью обновлен, а глава «Проекты К. Э. Циолковского» фактически написана заново. «Текст этой главы, — пишет автор, — просмотрен и отчасти пополнен К. Э. Циолковским». К этому изданию великий ученый написал и краткое предисловие.

В седьмое издание были включены материалы о звездоплавании и о теории ракетного движения, в девятом — очерки о питании космонавтов (тогда этого слова еще не было) и физике полета в условиях невесомости. Во второй части «Занимательной физики» Перельман поправляет Жюль Верна: путешественники на Луну будут пребывать в невесомости не только в момент равного притяжения Земли и Луны, а все время полета. Значит, они должны есть и пить в среде без тяжести. Перельман доказал, что это возможно.

В 1932 году, к 75-летию Циолковского, Перельман выпустил книгу «Циолковский, его жизнь, изобретения, научные работы». Два года спустя из Калуги в Ленинград пришло письмо: «...вчера, 15 декабря 1934 года, после шести часов вечера я натолкнулся на новую мысль относительно достижения космических скоростей, заменив в моем воображении сотни лет (как я писал в 1913 году) только десятками лет». В мае 1935 года Циолковский прислал Перельману отрывки из восьмой главы еще не опубликованной рукописи с припиской: «Вот то открытие, о котором я Вам писал».

Через несколько месяцев Циолковского не стало. Его дело продолжали многие, в том числе и Я. И. Перельман. Он вошел в ленинградскую «Группу по изучению ракетного движения» (ГИРД) и работал в ней вплоть до ее ликвидации. Сохранилась его переписка с будущим академиком С. П. Королевым, который, в частности, требовал массовой литературы о ракетном деле, полетах в стратосферу, а в перспективе — и в космос. Отвечая на призыв Королева, Перельман еще раз переработал «Межпланетные путешествия», а в 1934 году выпустил книгу «К звездам на ракете». Под его редакцией вышла книга Циолковского «Грезы о Земле и небе».

Летом 1934 года в СССР приезжал Герберт Уэллс. Перельман преклонялся перед Уэллсом, в 1917 году он написал о нем статью «Вещий талант» и напечатал ее в журнале «Природа и люди». Но к технической стороне уэллсовской фантастики он отнесся критически. В Ленинграде Уэллс встретился с группой популяризаторов науки. Среди них были писатель А. П. Беляев и Я. И. Перельман. Уэллс отметил, что Перельман был единственным, кто нашел ошибку в его романе «Человек-невидимка»: по законам физики невидимый должен быть слеп (см. вторую часть «Занимательной физики»). Перельман указал и на другую ошибку великого романиста: создание антигравитационного вещества (роман Уэллса «Первые люди на Луне») невозможно. На вопрос писателя: «Как вам удалось разгадать их?» он отвечал просто: «Я, видите ли, физик, математик и популяризатор науки».

Заслуги Перельмана перед космонавтикой не забыты: его именем назван один из лунных кратеров. Малой планеты по имени «Перельман» нет лишь потому, что космические объекты называются чьим-либо именем только один раз.

4. Петроград. Война и революция

Началась Первая мировая война. Она рассеяла семью Перельманов: Герман жил в Германии — стране, которая воевала с Россией; Иосиф — уже Осип Дымов — еще в 1913 году уехал в США ставить свои пьесы, да там и остался. В двадцатые годы он пытался получить разрешение вернуться в Россию, но безуспешно. Переписка братьев продолжалась до середины 30-ых годов.

Генриетта Исааковна, мать Перельмана, и его сестра Анна перебрались в Россию, в Петроград. Они жили в доме на Плуталовой улице, где теперь висит мемориальная доска. Генриетта Перельман скончалась в 1925 году.

Анна Давыдовна с самого начала войны была на военной службе. Ее направили в ржевский госпиталь. Она не только лечила раненых, но и старалась облегчить их жизнь, чем могла, писала за них письма, заботилась о родных, приехавших их навестить. Сохранились письма раненых к А. Д. Перельман с благодарностью за внимание и заботу (ей писали И. Б. Портнянский из Кадникова, Н. А. Левин из Елизаветграда, В. С. Кузьмичев из Саратовской губернии, отец раненого Д. Виленского).

Между тем Россию один за другим захлестывали кризисы: снарядный, продовольственный, топливный... Я. И. Перельман работал в Особом совещании по топливу. Он предложил, в частности, перевести стрелки всех часов на час вперед («декретное время»). Это была полумера, но она все же на какое-то время помогла сэкономить дефицитное топливо.

Весной 1918 года издательство Сойкина было национализировано. Типография издательства на ул. Стремянной, д. 12 выпускала, главным образом, политическую литературу. Еще раньше перестал выходить журнал «Природа и люди». Вскоре после переезда правительства в Москву. Перельмана вызвала для переговоров Н. К. Крупская. Ему была предложена должность инспектора Единой трудовой школы. Он принял должность, но со своей стороны пожелал принять участие в естественно-научном журнале для юношества. Журнал был разрешен. Его название — «В мастерской природы» — взято у тургеневского Базарова: «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Редактором журнала был назначен Я. И. Перельман. Он привлек к работе в журнале К. Э. Циолковского, Д. О. Святского, В. Н. Верховского, О. Д. Хвольсона, Я. И. Френкеля, А. В. Цингера, В. В. Бианки. Сам Перельман поместил в журнале сто пятьдесят статей и заметок, в том числе «Приемы быстрого счета», «Потомок древнего абака», «За пределы атмосферы», «Работа человеческой машины», «Парадоксы падения», «Из страны пирамид в русскую деревню», «У крайних границ тепла и холода», «Дрова в метрической системе», «Полеты в мировое пространство».

Редакция помещалась на Литейном пр., д. 25. Журнал выходил — правда, с перебоями — с февраля 1919 до 1930 года, тиражом до 4000 экземпляров.

Анна Давыдовна в 1918–1921 гг. жила у родных во Пскове: Петроград голодал. Там, во Пскове, 21.02.1919 и родился Миша Перельман.

Наряду с журналом «В мастерской природы» Яков Перельман работал в Рабоче-крестьянском университете, в Петроградском политехникуме и других учебных заведениях. Старые учебники не годились для новой аудитории: предлагаемые в них задачи не были связаны с изучением природы, с окружающим миром, с достижениями техники. Перельман пишет новые учебники и пособия: «Новый задачник по геометрии», «Техническая геометрия», «Техническая физика», «Физическая хрестоматия» и другие. Он был одним из самых деятельных пропагандистов метрической системы мер. В 1920–1929 г. им написаны и опубликованы не менее пяти пособий по этой системе («Старые и новые меры», «Метрическая система», «Азбука метрической системы», «Математика кустаря»), причем некоторые из этих пособий выдержали пять-восемь изданий.

НЭП оживил не только хозяйственную, но и культурную жизнь России, в частности, издательскую деятельность. В Петрограде (ул. Стремянная, д. 6) появилось издательство «Время». В числе его основателей были С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, В. И. Вернадский. Заведующим отделом «Занимательная наука» по предложению А. М. Горького был назначен Я. И. Перельман. Горький из-за границы зорко следил за работой издатель-

ства и в письмах к его руководителю И. В. Вольфсону постоянно спрашивал: «Как там занимательная наука?»

Здесь следует сказать два слова о самом понятии научно-занимательного жанра. Он не тождественен научно-популярному жанру, который в доступной форме излагает сведения о науке и ее творцах, об ее истории, новейших достижениях и перспективах. Научно-занимательный жанр делает то же, но в виде вопросов, задач, материала для самостоятельного размышления и опытов. Читатель «Живой математики» или «Занимательной физики» с каждой страницей как бы сам делает открытие. Отсюда и громадная популярность этого жанра. И основоположником его, по крайней мере у нас, был именно Перельман.

Первыми из серии «Занимательная наука» вышли переработанные и дополненные первая и вторая части «Занимательной физики». Затем были изданы «Занимательная ботаника» А. В. Цингера, «Занимательная зоология» и «Занимательная физиология» А. В. Никольского (в первой из этих книг автор популярно изложил законы Менделя), «Занимательная статистика» Е. Е. Святковского, «Занимательная метеорология» Д. О. Святского и Т. Н. Кладо, «Занимательная химия» и «Техника наших дней» В. В. Рюмина, «Занимательная авиация» К. Э. Вейгелина, «Занимательная техника в прошлом» В. И. Лебедева, «Занимательная география» С. А. Аржанова, «Занимательная фотография» Н. Ф. Ильина, «Занимательное стихосложение» Н. К. Шульковского и, наконец, известная многим поколениям «Занимательная минералогия» А. Е. Ферсмана.

Издательство «Время» работало до 1932 года.

5. Ленинград. Триумф занимательной науки

Пропаганда ракетного дела, преподавание, издательская деятельность, борьба за метрическую систему мер — все это не отвлекало Перельмана от его главной задачи: создать популярные, доступные всем и одновременно увлекательные пособия по математике и физике, которые — при постоянной переработке — служили бы века. И он со сверхчеловеческой работоспособностью писал и издавал все новые и новые книги, и в то же время дополняя и переделывая старые. В 1925 году выходит «Занимательная геометрия», в 1926 — «Занимательная арифметика», в 1929 — «Занимательная астрономия», в 1928 — «Занимательная алгебра», в 1933 — «Занимательная механика». К 1929 году, когда было отмечено тридцатилетие творческой деятельности Перельмана, библиография его насчитывала свыше тридцати только отдельных изданий общим тиражом около полтора миллиона экземпляров. А ведь были еще статьи и заметки в газетах и журналах, предисловия к книгам Жюль Верна, К. Фламариона, К. Вильямса, А. П. Нечаева!

С начала двадцатых годов Перельман заведовал научным отделом вечернего выпуска «Красной газеты» (позже — «Вечерний Ленинград»). Он завел в газете отдельную полосу — «В мире науки». В ней появилось много статей и заметок, не только Перельмана.

Летом 1934 года на Елагином острове была открыта выставка, получившая название «Павильона занимательной науки». Она работала и летом следующего года, затем ее экспонаты были переданы во вновь созданный Дом занимательной науки (ДЗН) — единственное в мире (по крайней мере, в то время) такого рода культурно-просветительное учреждение. Его называли также «домом чудес».

Перед открытием Дома Перельман успел побывать в Брюсселе (единственный его выезд за границу), на конгрессе по проблемам преподавания математики в средней школе. Там он сделал два доклада (оба на французском языке): о второй Ленинградской математической олимпиаде учащихся средних школ и о будущем Доме занимательной науки. Занимательный характер науки, подчеркивал Перельман, должен опираться на научную основу.

«Дом чудес» был открыт 15 октября 1935 года на Фонтанке, в бывшем дворце графа Шереметева (Фонтанный дом). Директором ДЗН был назначен В. А. Камский, научным руководителем был сначала сам Перельман, а затем астроном Г. Г. Ленгауэр.

«Задача этого своеобразного просветительного учреждения, — писал Перельман, — популяризация научных знаний, но не последних достижений науки, а ее фундаментальных положений и основных законов, которые напрасно принято считать общеизвестными» («Известия», 06.10.1935).

ДЗН состоял вначале из трех отделов: математики, физики и географии, потом появился и отдел астрономии. Здесь можно было не только трогать руками экспонаты, но и самим производить физические опыты. Посетители могли увидеть аэродинамическую трубу, макеты «вечных двигателей», рентгеновский аппарат, фотоэлемент (дар А. Ф. Иоффе), оптические приборы, барометры, гигрометры, «машину времени», телескоп, «звездолет», выполненный по эскизу Циолковского, и даже посмотреть чуть ли не первые в городе телепередачи. Среди посетителей Дома был Г. М. Гречко, будущий космонавт. Одну из экскурсий по Дому занимательной науки провел не кто иной, как Н. А. Морозов.

Тридцатые годы были годами расцвета популяризации науки. В литературу вошла плеяда молодых авторов, умевших просто писать о сложном: М. Ильин («Горы и люди», «Человек и стихия», «Как человек стал великаном»), Л. В. Успенский («Слово о словах»), К. Н. Беркова («Герои и мученики науки»). Заметим, что в эти же годы вышли и лучшие советские

учебники: «Грамматика русского языка» Бархударова, «История СССР» Шестакова, «История древнего мира» Мишулина.

В декабре 1939 года, несмотря на финскую войну, научный мир отметил сорокалетие творческой деятельности Я. И. Перельмана. В Доме занимательной науки состоялось торжественное собрание. 14 декабря «Известия» опубликовали адрес юбиляру. Адрес подписали академики А. Ф. Иоффе и С. Н. Бернштейн, профессора Л. В. Канторович, Р. О. Кузьмин, В. И. Смирнов, Д. К. Фаддеев, Я. И. Френкель и другие.

Между тем в «Доме чудес» открылся еще один зал — кабинет электричества. Планировалось открытие отдела языкознания. Но все планы сорвала война.

6. На боевом посту

28 июня 1941 года было последним днем работы Дома занимательной науки. На следующий день он закрылся — как полагали, на время войны, но, как оказалось, навсегда. Все военнообязанные сотрудники ДЗН ушли на фронт. Многие погибли, в том числе и В. А. Камский. Погибла и большая часть экспонатов. Воссоздавать их и возрождать «Дом чудес» было уже некому.

1 июля Перельман пришел в Петроградский военкомат. Его назначили лектором-инструктором по подготовке войсковых разведчиков. В августе Л. В. Успенский рекомендовал его на пропагандистскую работу в частях флота. Анна Давыдовна работала в госпитале на улице Академика Павлова. С начала блокады она находилась на казарменном положении.

Перельман читал лекции солдатам и морякам по ориентации в любой местности в любую погоду: «Как найти дорогу в чаще зимой и летом», «Как определить расстояние до объекта», «Как измерить ширину и глубину реки, озера», «Как ориентироваться по звездам и луне», «Как измерить высоту дерева, здания, башни». Он учил их мерить всем, чем угодно: карандашом, спичкой, бумажной полоской, стрелкой наручных часов, даже пальцем руки, ориентироваться по муравейникам, по расположению ветвей на деревьях. Он объяснял им физические основы ведения прицельного огня, полета пуль, снарядов и мин, дальнего меткого броска гранаты, эффективного метания бутылки с зажигательной смесью по вражеским танкам. Он раздавал им карточки-памятки отдельно для каждого рода войск. Вот одна из таких памяток — для моряков, воевавших на суше:

«Помните, товарищи бойцы! На расстоянии до пятидесяти шагов хорошо различаются глаза и рты фашистских солдат. На расстоянии двухсот шагов можно различить пуговицы и погоны гитлеровцев. На расстоянии

трехсот шагов видны лица. На расстоянии четырехсот шагов различаются движения ног. На расстоянии семисот шагов видны оконные переплеты в зданиях».

Кто знает, сколько жизней спасли лекции Перельмана?

Он читал их на сборных пунктах военкоматов, в казармах, на кораблях. В декабре перестал работать городской транспорт. Яков Исидорович, старик уже почти шестидесяти лет, получавший те же сто двадцать пять граммов, что и все служащие, опираясь на палку, ходил через весь город. Однажды, по дороге с лекции, он добирался с Обводного канала до Плуталовой улицы целых четыре часа: два раза пришлось спускаться в убежище. 28 декабря в его квартире взрывной волной выбило стекла. В январе и феврале он еще читал лекции фронтовым разведчикам, иногда консультируя их по телефону (его телефон не был отключен).

18 января 1942 года умерла Анна Давыдовна. 16 марта (дата регистрации смерти) скончался Я. И. Перельман. Вскоре умерла и его сестра Анна. Все трое, согласно «Книге памяти», похоронены на Пискаревском кладбище. Сын Перельмана Михаил, как уже сказано, погиб на Ленинградском фронте и похоронен в Осиновой Роще.

Последний из Перельманов — Осип Дымов — с 1913 года жил в Америке, изредка наезжая в Европу. Во время войны он написал на родном языке (идиш) воспоминания под заглавием «Что я помню», рассказав в них о жизни своей семьи до 1905 года. Умер он в 1959 году. Род Перельманов прекратился.

7. Жизнь после смерти

Род Перельманов прекратился, но великий просветитель Яков Исидорович Перельман продолжал жить в своих трудах. При жизни он получал тысячи писем, но и после войны — даже в девяностые годы! — ему писали школьники, не знавшие, что его давно нет в живых. На некоторых письмах стоял адрес «ул. Плуталова, д. 2, кв. 12»: Перельман в своих ответах корреспондентам не боялся указывать свой домашний адрес.

Яков Перельман не имел ни ученых степеней или званий, ни правительственных наград, не получал никаких государственных премий, о нем нет статей ни в одном издании БСЭ (в «Советском энциклопедическом словаре» 1990 года, правда, есть), но целые поколения ученых, изобретателей, писателей-фантастов выросли на книгах Перельмана. Вскоре после войны началось переиздание его книг. Оно продолжалось и в последующие годы. У Перельмана появились последователи: в первое послевоенное десятилетие появились «Математическая смекалка» Б. А. Кордемского, коллективный труд «Пять минут на размышление».

Чтение книг Перельмана, помимо их познавательной ценности, было хорошо еще и тем, что в них содержались ссылки на иностранных ученых, рассказы об открытиях, сделанных на Западе, обширные выписки из Фламариона, Жюль Верна, Уэллса, Эдгара По, Марка Твена. В эпоху гонения на все иностранное это был глоток кислорода.

В 1986 году в Москве вышла первая биография Перельмана («Доктор занимательных наук» Г. Мишкевича). К этому времени общий тираж его книг достиг тринадцати миллионов экземпляров, из них свыше девяносто тридцати пяти тысяч в зарубежных странах. Они были переведены на пятнадцать иностранных языков. Так имя Перельмана вошло в мировую науку.

Перельман много сделал для нас. Но мы далеко не все сделали для популяризации самого Перельмана. Выпуск полного собрания его сочинений (включая журнальные и газетные заметки и статьи), создание музея в его квартире, восстановление Дома занимательной науки — дело, видимо, отдаленного будущего. Что же можно и нужно сделать еще при жизни нашего поколения?

Необходимо, во-первых, составить полную библиографию книг, брошюр, статей и заметок Перельмана.

Необходимо, во-вторых, переиздать, пусть небольшим тиражом, «Межпланетные путешествия» в последней прижизненной редакции, вместе с докладом «О возможности межпланетных путешествий».

Необходимо, в-третьих, опубликовать в петербургской или московской печати неопубликованные ранее работы Перельмана, в частности, его рукопись «Что такое занимательная наука» и доклад «Занимательная Арктика», прочитанный в 1937 году по радио.

Необходимо, в-четвертых, дать имя Перельмана Плуталовой улице, которая ныне называется по имени... даже не домовладельца, а хозяина питейного заведения, и установить в сквере около дома № 2 бюст Перельмана.

Наконец, необходимо — и это прежде всего — включить задачи и опыты Перельмана в школьные учебники математики и физики.

Этим мы отдадим хотя бы часть нашего неоплаченного долга великому популяризатору науки.

Я. И. Перельман

Возможны ли межпланетные путешествия?

*Доклад, прочитанный 20.12.1913 на заседании РОМЛ.
Печатается по «Современному слову», 01.12.1913.*

Суждено ли нам когда-нибудь совершать путешествия на иные планеты — или мы навсегда останемся пленниками земного шара? Лет двести-триста тому назад, когда воздухоплавание было только заманчивой грезой, этот вопрос казался тесно связанным с проблемой летания по воздуху. Но вот мы уже путешествуем по воздуху, перелетаем через реки, горные хребты, пустыни, моря, скоро, вероятно, перелетим через океан — а вопрос о полетах в бездны мирового пространства остается по-прежнему не разрешенным.

Оно и понятно: ведь это две совершенно различные проблемы.

С точки зрения механики между движением аэроплана и, например, паровоза нет большой разницы: колеса паровоза отталкиваются от рельсов, винт парохода — от воды, а пропеллер аэроплана отталкивается от воздуха. Но в мировом пространстве нет воздуха, нет вообще никакой среды, на которую мог бы опираться движущийся снаряд. Поэтому, чтобы осуществить межпланетные путешествия, техника должна разрешить совершенно особую задачу — передвигаться, не имея никакой опоры в окружающей среде.

Разрешима ли эта задача? Может ли современная наука указать путь к ее разрешению? И не намечается ли уже теперь — хотя бы в фантазиях романистов — форма осуществления этой мечты в далеком будущем, когда первые небесные дирижабли прорежут пустыни мировых пространств и перенесут земных туристов на луну, на планеты, в область других звезд-солнц?..

Чародей Жюль Верн весьма остроумно решил эту задачу — по крайней мере, в фантазии. Вы помните, конечно, как он посадил в огромное пушечное ядро пассажиров, зарядил этим ядром исполинскую пушку, и выстрелом отправил своих героев на луну... Гениальный фантаст, придумавший свой электрический «Наутилус» еще тогда, когда не было ни подводных лодок, ни электродвигателей, романист, провидевший воздушные управляемые корабли задолго до «Цепелинов» и «Грандов» — не указывает ли нам и здесь на плодотворную идею, заслуживающую внимания техники?

Остановимся немного на смелом проекте Жюль Верна и попробуем разобратся, что в нем исполнимо, и что является неосуществимой мечтой.

Читатели Жюль Верна склонны думать, что фантастична самая возможность перебросить предмет с Земли на Луну; все остальное не вызывает уже у них сомнений. Но это не так. Идея отправить ядро на Луну — несколько не утопична. Легко вычислить, что всякий предмет, покидающий земную поверхность со скоростью более восьми верст в секунду, никогда уже не упадет на землю. Наши современные пушки обладают силою в десять раз меньшей. Но это уже вопрос технический. Завтра химики могут напасть на соединение, обладающее взрывчатой силой вдесятеро большей, чем пироксилин — и тогда ничто не помешает нам наполнить мировое пространство пушечными ядрами, посылать стальные изделия Крупна на Луну, на Марс и т. д. А если бы напряжение тяжести на земном шаре было всего в десять раз слабее, нежели теперь, то мы бы уже и сегодня могли отправлять ядра и пули на иные планеты. Среди светил нашей солнечной системы есть много таких, где идею Жюль Верна вполне возможно осуществить, пользуясь нашими обыкновенными пушками.

Но как обстоит дело с пассажирами? Участь их недаром беспокоила Жюль Верна. И знаете, какой момент небесного путешествия был для них самым опасным? Момент выстрела, момент отправления в путь; точнее говоря, та ничтожная доля секунды, в течение которой ядро-вагон будет скользить по каналу орудия. Мистер Барбикен — один из трех Жюль-Верновых пассажиров — предупреждал своих товарищей, что момент, когда ядро полетит, будет для них совершенно так же опасен, как если бы они находились не внутри ядра, а впереди его. Барбикен вполне прав: с точки зрения механики совершенно безразлично, ударит ли пассажиров наружная часть снаряда или нижняя площадка вагона-ядра. Эффект должен получиться один и тот же, и напрасно Жюль Верн думал, что обезопасит своих героев, если снабдит ядро водяными или пружинными буферами. Расчет показывает, что никакими ухищрениями немисливо ослабить удар настолько, чтобы сделать его безопасным для пассажиров. В течение нескольких сотых долей секунды скорость пассажиров должна возрасти от нуля до пятнадцати верст. Такое быстрое нарастание скорости выразится в том, что пассажиры будут с неимоверной силой придавливаться к полу своей каюты; они словно станут в несколько десятков тысяч раз тяжелее и, конечно, должны быть раздавлены собственным весом. (Вспомним хотя бы, что цилиндр мистера Барбикена в эти роковые мгновения будет весить не менее 1000 пудов).

Чтобы избежать такого быстрого и опасного нарастания скорости, необходимо удлинить путь ядра в канале орудия. Расчет показывает, однако, что только шестисотверстная пушка может отправить пассажиров в путь живыми — да и то, если мы сможем как-нибудь удалить атмосферу, через которую быстро несущееся ядро должно пронестись, как твердую

массу. Как видим, приходится оставить этот заманчивый проект.

Соперник и литературный заместитель Жюль Верна — Герберт Уэллс — также фантазировал на эту тему. В остроумном романе «Первые люди на Луне» он предлагает такой проект межпланетных путешествий. Надо изобрести вещество, которое было бы столь же непроницаемо для силы притяжения, как непрозрачные тела непроницаемы для света. Тогда, защитив себя от земного притяжения слоем этого вещества, нетрудно было бы перелететь на Луну или на любую планету. Ту же идею — об изобретении вещества, избавляющего от тяготения — высказал и Курт Лассвиц (немецкий философ и физик) в известном романе «На двух планетах». Ход мыслей у обоих фантастов несколько различный, но оба сходятся в одном: что путешествия по небесным пространствам легко осуществимы, если люди найдут вещество, которое не подвержено силе тяготения.

Быть может, в идее такого вещества нет ничего невозможного, но ставить разрешение интересующей нас проблемы от подобного гипотетического открытия — значит, обречь себя на неопределенно долгое ожидание.

Для умов практических, вероятно, более интересен следующий проект, основанный на использовании силы так называемого «светового давления». Недавно умерший русский ученый П. П. Лебедев доказал опытным путем, что лучи света, падая на тело, всегда оказывают на него известное давление. Освещая земной шар, обливая его потоками света, солнце в то же время и отталкивает его от себя давлением световых лучей. Для массивной планеты, как наша Земля, сила этого отталкивания, хотя и измеряется миллионами пудов, но в миллиарды раз слабее притяжения, а потому Земля как бы не чувствует его. Но для очень мелких тел, масса которых ничтожна, отношение светового давления к притяжению выражается уже более крупной дробью. Доказано, что мельчайшие пылинки отталкиваются светом сильнее, нежели притягиваются солнцем и планетами; они могут поэтому носиться по мировым безднам вопреки силе тяжести. Мельчайшие бактерии и их зародыши легко могут покидать наш земной шар, чтобы, подталкиваемые солнечными лучами, умчаться в межпланетные и межзвездные пустыни.

Не может ли и человек воспользоваться этой силой? Нельзя ли, например, легкий вагон снабдить большим зеркалом, которое под давлением солнечных лучей покинуло бы Землю и увлекло бы с собою пассажиров? Увы — нет: самое тонкое зеркало (в 0,0001 долю миллиметра — толщина тончайших золотых листков) должно было бы иметь поверхность в несколько верст, чтобы увлечь с собой вагон с людьми. Да и едва ли кто рискнул бы воспользоваться межпланетным вагоном, который мчится с возрастающей скоростью и которого мы не в силах остановить...

В стороне от всех фантастических проектов стоит идея, высказанная нашим известным теоретиком воздухоплавания — К. Э. Циолковским. Здесь перед нами уже не измышление романиста, а научно разработанная и глубоко продуманная техническая идея, высказанная вполне серьезно. К. Э. Циолковский указывает на единственный реальный путь осуществления межпланетных путешествий. Принцип, на который опирается его проект — это давно известный, но еще почти не использованный техникой принцип реакции, отдачи (проявляющийся, например, при стрельбе). На этом основано устройство ракеты — и межпланетный дирижабль Циолковского, в сущности, не что иное, как огромная ракета.

Отчего ракета взлетает вверх? Ошибочно думать, что ракета летит подобно пуле или что она «отталкивается от воздуха вытекающими из нее газами». В том-то и дело, что полет ракеты нисколько не зависит от воздуха и вообще от окружающей среды. Газы, образующиеся при сгорании пороха в трубках ракеты, стремительно вытекают вниз — а сама ракета силою реакции (отдачи) отбрасывается в обратном направлении, т. е. вверх. Если вы вообразите себе ракету колоссальных размеров, с камерой для людей, могущих по желанию регулировать истечение газов — вы получите наглядное представление об управляемом снаряде Циолковского.

Преимущества такого снаряда очевидны. Во-первых, он в полном смысле слова управляем, ибо регулируя скорость и направление истечения газов, пассажиры могут по желанию изменить быстроту и направление своего движения. Во-вторых, нарастание скорости происходит здесь не внезапно (как в ядре Жюля Верна), а постепенно, по мере истечения газов, так что пассажирам не грозит опасность быть раздавленными собственным весом.

Циолковский разрабатывает свой проект уже более двадцати лет¹. Правда, он еще настолько далек от практического осуществления, что не вылился даже в конкретную форму, но принцип указан совершенно правильно. Любопытно, что известный французский авиатор и конструктор Эсно Пельтри² недавно выступил в Париже с докладом о возможности достичь Луны на аппарате, основанном именно на этом принципе. Очевидно, идея реактивного прибора для межпланетных путешествий в наши дни, как говорится, «носится в воздухе».

Главное и, пожалуй, единственное препятствие к немедленному осуществлению реактивного небесного дирижабля — это отсутствие доста-

¹ См. его пространную работу «Исследование мировых пространств помощью реактивных приборов» («Вестник воздухоплавания» 1911-1912 гг)

² Изобретатель моноплана «Реп», председатель французского «Общества воздушной промышленности».

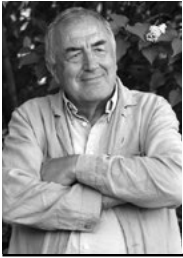
точно сильного взрывчатого вещества. Мы еще не знаем источника, который при современном состоянии техники способен был бы развить силу, достаточную для движения такой огромной ракеты³. Но вспомним, что в таком же положении были всего четверть века назад первые пионеры авиации: принцип летания был указан правильно, и остановка была лишь за достаточно могучим двигателем. Нет ничего невозможного в том, что не сегодня-завтра будет найден необходимый источник энергии — двигатель будущих небесных дирижаблей. Тогда заманчивые мечты о достижении иных миров, о путешествии на Луну, на Марс или Сатурн превратятся, наконец, в реальную действительность. Воздух, необходимый для дыхания, нетрудно будет взять с собой (в виде хотя бы жидкого кислорода), точно так же, как и аппараты для поглощения выдыхаемой углекислоты. Точно так же, конечно, вполне мыслимо снабдить небесных путешественников достаточным запасом пищи, питья и т. д. С этой стороны едва ли могут представиться серьезные препятствия для путешествия, например, на Луну, а со временем — и на планеты.

Итак, если нам суждено когда-либо вступить в непосредственное сообщение с другими планетами, включить их в сферу своей добывающей промышленности, быть может, даже колонизовать иные миры, если астрономия превратится когда-нибудь в «небесную географию и геологию», словом, если земному человечеству суждено вступить в новый, «вселенский» период своей истории, то осуществится это, всего вероятнее, при помощи исполинских ракет и вообще реактивных приборов. Это — единственное намечающееся в наше время практическое разрешение проблемы межпланетных путешествий.

Источники:

1. Перельман, Я. И. Дом занимательной науки. — «Известия», 1935.
2. Перельман, Я. И. Что такое занимательная наука? — Рос. гос. ист. архив, ф. 796.
3. Перельман, Я. И. Занимательная Арктика. — Петербургский филиал Архива РАН, ф. 387.
4. Мишкевич Г. И. Доктор занимательных наук. — Л., 1986.
5. Бельская, Э. А. Автору занимательной физики. — «Санкт-Петербургские ведомости», 04.03.1995.

³ К. Э. Циолковский указывает как на возможный источник энергии для «Ракеты» на перегретый водяной пар, образующийся при смешении жидких кислорода и водорода, запас этих веществ на снаряде должен быть очень значителен. Эсно Пельтри указывает на радий, таящий такой огромный источник энергии, который надо лишь научиться освобождать в течение нескольких минут: нормально вся эта энергия освобождается в течение нескольких тысячелетий. Надеется на радиоактивные вещества и сам Циолковский. Однако потребные для этого количества радия так огромны (исчисляются фунтами и пудами), что едва ли рационально было бы вести поиски в этом направлении.



Валерий Попов

О Довлатове

(Отрывок из книги серии ЖЗЛ «Довлатов»)

Валерий Попов. Русский писатель, сценарист, кинематографист. Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кинематографистов. Председатель дипломной комиссии сценарного отделения института кино и телевидения. Автор сорока книг. Публиковался в изданиях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и других. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2013 г.), Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства (2014 г.), Гоголевской премии за книгу «Зощенко» (2015 г.) и других. Награжден орденом «Дружбы» (2009 г.) и знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014 г.). Живет в Санкт-Петербурге.

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе.

— Вот невезуха! — воскликнем мы. — Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны!

Впрочем, сам бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным: родиться всегда хорошо. Наверно, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена: все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе.

Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада, и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни — даже самой ранней, — без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг не кто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе — и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу. А кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией... Да, рано начал наш герой!

Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде.

Примерно тогда и я сюда вернулся и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял — и действовал на нас. После моей низкоэтажной Казани (и довлатовской Уфы) огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура (в основном, эклектика, как мы понимаем сейчас) с башнями, бойницами, восточными окнами будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте — а в продолжение чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой, мы шли в гости, и вдруг заворожено застыли перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице: волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать — но чувствовали, запоминали. Разрушенность, «забытость» Ленинграда после войны (старые жильцы сгнули, кто в блокаде, кто в ссылке, и никто уже не помнил, что значит этот витраж) — рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и воссоздать именно мы.

Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спасанакрови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде, словно в затерянном таинственном городе — большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого — мало ли было тогда в школах таких Сереж? Предполагал ли он?

Сам Довлатов преподнес свое детство так:

«Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа».

Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал:

«Помню, первого сентября делали переключку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а так же национальность. И вдруг встает пухленький темненький мальчик и тихо говорит: “Сережа Мечик, еврей”. Конечно, по классу прошел смехок. Во-первых, слово “еврей” традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия у Сережи была смешная и очень забавно сочеталась с его кругленькой фигуркой: “Мечик” звучит как “мячик”».

«Толстый застенчивый мальчик». И тут Довлатов сразу за душу берет! И я — вдруг с волнением вспоминаю — был такой же! Но, наверное,

это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей, хулиганской толпе будущих уроков, заполняющих тогда все дворы. «Толстый» — это значит, все-таки, немножко подкормленный мамой — в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей забубенных родителей, махнувших на все рукой. «Застенчивый», как я вспоминаю, значило в те времена — не впаянный в дворовую, уличную, полублатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой тех, кто по слабоволюю тянулся за ней еще в дворовых играх. Рассказ о первом появлении Сережи в школе друг заканчивает так:

«...Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злосчастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил)».

Близко знавшие Сергея люди утверждают, что фамилия Довлатов-Мечик появилась где-то еще в средних классах. И все-таки, наверное, это было неслучайно? И в Америке еще был Довлатов-Мечик, и только на обложках появилось — Довлатов. Однако — дослушаем одноклассника:

«Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще — а бедный Сережа совсем смутился».

Такое начало школьной жизни было и у меня — с отчаянием и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь «застенчивых мальчиков» состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника — и тоже горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя — увы, самое то... О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается: почему все шишки на него? Потому! Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти «шишки», будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было — Карла. Такая вот несчастливо-счастливая судьба!

Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:

- Нарисуйте каждый, что хотите.
- А что, что? — слышались голоса.
- Что хотите!

Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест: кто как себя покажет, так потом с ним и обращаться... Я показал себя хуже... нет — слабее всех! Когда дети

подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками (наверняка уже не раз отработанными с воспитателем в детском саду) я, почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку — поместившуюся с клювом, ногами и хвостом... в одну клеточку тетради. Почти не различить! Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго... Зато я это помню, и могу об этом написать — в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное, и давно уже забыл... А я помню! Вот так.

Вспоминает соседка Довлатова:

«Сережа не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания... Не то чтобы он был скованным. Он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню, чтобы Нора Сергеевна проявляла какую-то особую строгость, но в детстве Сережа слушался ее беспрекословно».

Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее — тут видят тебя, и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство — да и вся жизнь в этом ключе, — могла бы быть идеальной для будущего скрипача или математика, но не для писателя:

«Черные дворы. Зарождающаяся тяга к плебсу».

Без этого, видимо, будущему писателю никак... Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебсу мог придумать и сказать только несомненный аристократ, аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает, для него окружение такого рода — «свои парни в доску», самое то! А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного его выше... Но «рейды» в него делать приходится: будущему писателю нужна «вся жизнь», а не только домашняя. Но в начале тебя, вышедшего из домашней оранжереи, принимают в штыки или, хуже того, не замечают, не видят в упор — красуются совсем другие.

...«Почему я всегда один? Что же — так пройдет время, и никто не увидит меня, и уж тем более не поинтересуется — какой я?» Это, наверное, и есть первый эмоциональный толчок к писательству: быть хоть как-то замеченным, оставить свой след.

Вспоминаю, как в поисках зрителей (то бишь читателей) я однажды вышел в школьный двор и с тоской увидел «спящую» своим уставом хулиганскую школьную «шоблу»: они заворачивали за угол школы расслабиться после уроков и покурить. «Иди» — «Но зачем?» — «Надо!» Через силу подошел, встреченный насмешками, развязно попросил закурить — и в результате от искры сгорел рукав моего нового ватно-

го, перешитого бабушкой из отцовского, синего пальто! И тот горящий рукав — один из первых пережитых мной сюжетов. Не сгоришь — не напишешь!

«Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым...»

Это очень важный момент — на общем фоне вдруг увидеть себя, оценить, осознать: а ведь меня преследуют не потому, что я хуже, а наоборот — потому что лучше. Теперь надо, чтобы и учителя заметили это и оценили — но сделать это надо плавно, не настораживая злобный класс. Помню тот осторожный и тщательный подъем по ступеням самосознания, самоутверждения: хулиганы, привычно ринувшись к тебе «подухариться», как говорили они, вдруг встречают твой спокойный, уверенный, насмешливый взгляд — и осекаются.

«Наша школа на Фонтанке, 62, — продолжает Дмитриев, — была расположена в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, улицей Ломоносова, улицей Рубинштейна и переулком Щербакова. Это места сплошной застройки с внутренними дворами. Жилые дома примыкают друг к другу, и по крышам можно обойти весь квартал. Весной ребята из класса, и мы с Сергеем в том числе, выходили через чердачное окно на крышу соседнего со школой дома на Фонтанке. Оттуда открывался прекрасный вид, и было приятно позагорать на теплом кровельном железе. По крышам мы шли от Фонтанки до самого Сережиного дома № 23 по улице Рубинштейна. Дополнительным развлечением было бросить в водосточную трубу камень или осколок кирпича, что вызывало грохот и переполох, после чего нужно было поспешно скрыться в чердачном окне».

Послевоенное ленинградское детство... Лучший трамплин для творческого взлета трудно изобрести. После Уфы или Казани, широко раскиданных, простоватых на вид, вдруг сразу оказаться в Ленинграде — все равно, что проснуться в огромном таинственном замке. Древние стены с башнями, восточные дворцы, извилистые реки улиц среди каменных берегов... лучших декораций для первых грез не сыскать.

Бесконечные темные подвалы, чердаки, крыши, с которых открывается безумный вид, и когда вылезает из слухового окна и распрямляется — захватывает дух, и кажется, что ты первый, кто это увидел. И это верно: с таким чувством, с таким волнением первый — ты. Помню: с ужасом и восторгом я стою на скате крыши, почти на самом краю, и гляжу на свою огромную тень на доме напротив. Неужели, — приходит странная мысль, — если я осмелюсь и подниму руки — то он, этот великан, тоже поднимет? Собравшись с духом, поднимаю. Машу руками — и он в ответ машет мне! Невероятно! Этот гигант мне подчиняется! Завтра снова увижусь с ним. Для будущего писателя, начинающего мечтать и выдумывать, нет ничего лучше таких картин!

Душные чердаки под наклонными крышами, косые солнечные лучи, в которых беснуются пылинки. Дровяные сараи в дальнем сыром углу заднего двора. Оказаться в пахучей их полутьме — все равно, что в пещере с сокровищами. Нам повезло с этим в детстве. Сейчас дети все больше резвятся в виртуальном пространстве — а мы, помнится, прыгали через пропасти с крыши на крышу!

«Мечты о силе и бесстрашии. Похороны дохлой кошки за сараями. Моя речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера».

Помню и я свою тягу к возвышенному, к сочинению какой-то яркой, небывалой жизни... лишь бы взлететь, воспарить над этой тягучей школьной унылостью! Помню свои стихи в седьмом, кажется, классе: «И в любых сраженьях, ни за что и никогда я не сдамся... Женья!»

Какая еще такая Женья? Откуда взялась?... Из стиха — откуда ж еще? Из рифмы! Потом уже, для подтверждения стиха, пришлось подгонять под него реальность. Девочка с этим именем была в нашем классе всего одна, и притом крайне мне не нравилась. Но что делать — сперва мы сочиняем стихи, потом они диктуют нам жизнь. Скоро весь класс знал: он с ней «ходит»... и даже посвящает стихи! Первая сладкая слава, первое внимание публики! Но какой ценой! Я вынужден был ее провожать, и мы долго напряженно целовались. Это стихи теперь уже командовали нами. Да, непростое это занятие, ответственное — смутно начинал понимать я. И чуть ли не выработал отношение к любви, как к суровой обязанности, неизбежной расплате за сладость творчества. К счастью, она с родителями-военными вскоре уехала на юг, и отношение это не успело во мне закрепиться. Отношения литературы и жизни не так просты... это ощущается уже в самом начале.

Что Довлатов решил принести себя в жертву искусству, было видно сразу. Одноклассники рассказывают, как он однажды принес в школу фотографии знаменитого Раджа Капура с усами из самого популярного тогда индийского фильма «Бродяга» — популярней тогда не было ничего! — и только тщательно приглядевшись, можно было понять, что это не Радж Капур, а загримированный Сергей. Он уже жаждал сверхпопулярности! Тихий Сережа Мечик искал для себя достойный образ. И нашел — образ Сергея Довлатова. Фотографии те — первые из известных нам мистификаций, из которых были потом созданы как жизнь Довлатова, так и его литература.

В школе он пытался делать и литературный журнал — первый опыт будущих головокружительных проектов.

«1952 год. Посылаю в “Ленинские искры” четыре стиха. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных. Первые рассказы в журнале “Костер”, написанные на самом низком для среднего профессионала уровне».

Показательно, конечно, что он так сразу и так определенно взялся за перо и не мечтал стать летчиком или пограничником — считалось, что все мальчишки тогда только этим и грезили. Но он проявил самостоятельность, обозначил путь, хотя, конечно, не обошлось без наследственности — отец его писал, был автором скетчей, а тетя Мара занималась литературой активно, будучи одной из самых знаменитых в городе редакторш — редактировала самого Алексея Толстого. Так что дух этот жил в семье... И вообще, литература кажется самым быстрым (и простым) способом установить в мире не чью-то, а именно твою справедливость. Тяга к перу, уверенность в своем праве писать появляется, особенно у прозаиков, гораздо раньше жизненного опыта и мастерства, поэтому первые «успехи» на этом поприще лучше спрятать (и Довлатов, в конце концов, мудро спрятал три четверти, написанного им...) Но без этих неудачных опытов не придешь и к удачам. Кашу надо мешать очень долго, время от времени пробуя, а потом вдруг — о радость! — вроде ничего. Но сразу во рту сладко не станет: сначала будет горько, потом кисло. И лишь на минуту... а потом снова — провал!

Почти во всех автобиографиях будущие литературные знаменитости подчеркивают свое жалкое, неудачное начало. Кроме того, что это часто бывает правдой, это и правильный литературный прием: тем осязаемее взлет! Вообще замечено, что главный взлет у человека — один. По краям его — ямы. Вундеркинды начинают хорошо, но, за редким исключением, плохо заканчивают — плохо, естественно, относительно времени взлета. Вот и выбирай время, когда взлететь. Не слишком рано... но и, конечно, не слишком поздно. Если бы Довлатов сразу писал для «Костра» хорошие рассказы — а там действительно были хорошие рассказы и хорошие авторы... так и лежал бы сейчас всеми забытый в пыльных подшивках этого «Костра»! Но он словно ждал — другого времени, другого, более заметного, места.

«Аттестат зрелости. Производственный стаж. Типография имени Володарского. Растущая тяга к плебсу (буквально ни одного интеллигентного приятеля)».

Конечно, вырасти лучше в благополучной среде... но динамичных сюжетов, неожиданных поступков, колоритных личностей там мало, а и провести всю жизнь среди мальчиков из хороших семей означает сделаться таким же... Но нельзя с этой компанией и порвать. Ведь, в конечном счете, оценивать литературу, да и любой другой твой успех, будет именно благополучная компания, и делать все надо на ее вкус. И Довлатов такой «солидной» аудиторией обзавелся очень рано — интеллигентных приятелей у него было достаточно, начиная с Андриюши Черкасова... но и кинуться в «кипящий котел», как сделал это Ивануш-

ка-дурачок, тоже бывает необходимо. Только надо выбрать подходящий момент... да еще суметь потом вылезти, и обо всем написать. Горький, который жизни хлебнул побольше других писателей, сказал, однако, что повар не должен свариться в своем супе. Дистанция необходима, но какая? Котел должен бурлить рядом, и горячие брызги должны лететь на лицо... иначе ты не повар, а холодный ремесленник. Как все рассчитать — обжечься, но не свариться? И тянет туда все сильнее, и если ты настоящий писатель, то сварись непременно в конце концов — тем более если это «суп из тебя», а именно такой суп и варил Довлатов. И все это надо рассчитать быстро... даже еще не понимая, зачем!

Помню, в классе я дружил и общался только с отличниками — Лакиным, Амигудом, Шабесом — и это правильно (от компании зависит, как другие оценят тебя) — но вне класса стремился на танцы в компании двоечника и пьянчуги Краснова. Вечером, после школы нужнее был он. Мы ходили на знаменитые тогда «грязные танцы» в Мраморный клуб, а также в клуб «Лентрубли» и Дом культуры работников связи на улице Герцена (ныне Большой Морской). Так что к плебсу тянуло, особенно к той половине его, которая называется «прекрасной»... Прекрасными они были не всегда, но уж, конечно, по вечерам с ними было поинтересней, чем с нашими школьниками! Помню тягучие звуки джаза, прильнувшие друг к другу в полутьме пары и отчаянную решимость, не всегда оканчивающуюся успехом: «Вот эту — грудастую, с наглым взглядом приглашу!» Как же без плебса? А потом вдруг жесткая рука на плече: «Пойдем выйдем!» Без крови из носа не обойтись. Мужчина должен драться. С пай-мальчиками скучно. Жизнь пугает, но манит.

И все же, я думаю, не улица, не школа и тем более не общение с плебсом превратили робкого Сережу Мечика в того красивого, уверенного, эрудированного и ироничного Сергея Довлатова, которого теперь знают все. В школе довлатовская легенда не сложилась — да и не могла сложиться. Ему нужен был другой «полигон». В обычной советской школе, несмотря на фундаментальность образования, какого даже в помине нет сейчас, не было установки на развитие яркой, неповторимой и тем более фрондирующей личности. Героями становились или способные к учебе конформисты, отличники либо комсомольские вожаки (очень редко это удавалось совместить), или уж совсем забубенные хулиганы, чаще всего уходившие после школы в безвестность или в тюрьму.

Довлатов, к счастью, не вписался ни в одну из этих категорий. Впрочем, совсем рядом была так называемая английская школа, куда брали самых талантливых и поощряли творческое и личное своеобразие — эта школа на Фонтанке, совсем недалеко от довлатовской, по конкурсу — и по собственной инициативе, — действительно отбирала и выращивала

лучших. Это не афишировалось, но было известно, что она готовит будущих дипломатов. В ней из моих знакомых учились Андрей Черкасов, Андрей Битов, Сергей Байбаков, Лев Ядрошников. Каждый из них добился многого, и все они дружно называют ту школу замечательной — там их действительно развивали и поощряли их индивидуальность. Там были замечательные учителя. Довлатов до той школы не дотянул. Был бы отличник, его, как других отличников, туда бы, может, и перевели — хотя в той элитной школе негласно действовал знаменитый «пятый пункт» (графа «национальность»), но несколько учеников там были и с «пятым пунктом». Из той английской школы ребята выходили уже с большим самомнением, помогавшим им потом делать карьеру... Довлатов же оказался в обычной советской школе, которая вряд ли могла — да и не должна была, — оценить его выпирающую из всех рамок личность.

Однако к окончанию школы Сергей из робкого Сережи Мечика превратился-таки в весьма уверенного и эрудированного юношу с явным чувством превосходства перед убогим окружающим миром, которое он чуть прикрывал самоуничижительной иронией. Смутно вспоминая школьные уроки биологии, скажу: «Яркая бабочка вылетела из невзрачного кокона». Что, кроме генетических данных, так благоприятно подействовало на него? Точно уж не стандартная советская школа. И не двор. И не улица. С окончанием послевоенной хулиганской эпохи уличными героями стали стилиаги и фарцовщики. Довлатов с присущей ему любознательностью и это попробовал — но то была не его карьера, и он скоро к этому остыл.

И все-таки яркая личность появилась. Даже фамилию он сменил — не было уже робкого Мечика, появился Довлатов.

Конечно же, главной его «питательной средой» были не школа, не двор и не улица, а родной дом, семья.

Маму его, Нору Сергеевну, я хорошо помню, хотя в дом его попал значительно позже ранних его друзей, уже в эпоху литературной суеты. Но у моего лучшего друга была мать, чуть похожая на маму Довлатова, той же среды и заправки — это был тип весьма интеллигентных, знающих и воспитанных женщин, работающих, как правило, в библиотеках, издательствах или академических институтах, но изрядно огрубевших в коммуналках и очередях, а порой даже в лагерях и ссылках и слегка даже бравирующих, особенно с возрастом, этой грубоватостью (а некоторые — и весьма хриплым от «Беломора» голосом). Помню, меня очень взбадривал их стиль общения, уверенный и слегка агрессивный, их умение сочетать академические цитаты с непринужденным матом. Рождался смелый и обаятельный образ, которому хотелось подражать.

Известен случай, когда мама Довлатова, угощая завтраком Сергея с заночевавшей у него девицей, непринужденно спросила: «А б.... твоей горошек тоже давать?» Сергей, оценив мамин стиль, расхохотался (о реакции девушки история умалчивает).

Давая сыну пример уверенного обращения с окружающей действительностью, мама сумела направить его и в лучшее ленинградское общество. Она дружила с Ниной Черкасовой, женой замечательного актера Николая Черкасова. Он был не только великим актером, которого знали все, но и членом Верховного Совета, председателем всяческих комитетов, в том числе и международных... в общем, человеком все-сильным и при этом порядочным, веселым и щедрым. Крепко дружил, например, с гениальным, но опасным Евгением Шварцем, работающим «на грани фола». На комаровской даче Черкасовых собиралась самая лучшая компания, которая могла быть тогда. Появлялись в Комарово у Черкасовых и Нора Сергеевна с сыном Сережей. Комаровские встречи той поры оказались потом весьма интересны и полезны для Довлатова... Молодец мама, всем бы такую! Но замечательные мамы почему-то чаще всего бывают у замечательных сыновей — и наоборот.

Близко знавшие Нору Сергеевну отмечают ее талантливость во всем — она была хорошей актрисой, и могла бы играть еще долго, но из скромности ушла. Она считала, что стариться на сцене имеют право лишь великие актрисы. Не зная нот, она на слух подбирала на рояле самые сложные вещи. Была великолепным рассказчиком, и ее бывший муж Донат говорил, что ей надо выступать на эстраде, как Ираклию Андронникову. Она была по-кавказски вспыльчива, но никогда не повышала голоса. Она была гордой. Будучи давней подругой Нины Николаевны, жены Черкасова, с которой они вместе начинали играть в театре, она никогда ни о чем — ни прямо, ни через жену — не просила всемогущего Черкасова. Лишь однажды, когда у Довлатовых хотели отнять комнату и сделать из нее кладовку, Черкасов вмешался — но исключительно по инициативе Нины Николаевны — Нора Сергеевна была против.

Но главное, будучи талантливым корректором, она передала сыну безошибочный литературный слух. Один из друзей дома вспоминает: «Помню, я как-то зашел к Сереже домой и спросил: “Нора Сергеевна, что это у вас бардак такой? Шарфы какие-то валяются!» Она ужаснулась: “Леша! Как вы могли!” Я подумал, что и вправду сказал что-то лишнее: “Извините, пожалуйста, Нора Сергеевна. Я не хотел вас обидеть!” Она ответила: “Шарфы, Леша, шарфы! Ударение на “а”! Запомните это на всю жизнь”».

Сережа уроки мамы впитал, и потом всю жизнь гордился знанием пунктуации и ударений, изводя этим знанием друзей и коллег.

В Довлатове соединились две крови — армянская — от матери, и еврейская — от отца.

Сергей не был похож ни на отца, ни на мать. С чего вдруг появился на свет такой красавец и гигант? Впрочем — Нора Сергеевна была очень красива в молодости, а Донат, говорят, тоже был не плох, и рост его был выше среднего, и только из-за болезненной худобы он казался не очень крупным. Но Довлатов больше стремился к мифам и легендам — и один из его мифов — о небывалых, легендарных его предках. А какие еще предки могли быть у него? Сергей писал, что ростом и буйным нравом вышел в своего еврейского деда — Исаака, который перебрался из деревни во Владивосток, был часовщиком, потом приобрел закусную. Он был высок и могуч. Когда он пошел на войну (первую империалистическую) то, как пишет Довлатов, «усы его достигали погон». На каком-то смотре его увидел государь и перевел в гвардию... Что-то все это напоминает... Вспомнил рассказ Довлатова о том, как его еще в люльке, в Уфе, заметил и чуть ли не благословил великий писатель Андрей Платонов. Впрочем, послушаем самого Довлатова: «Зачислили его в артиллерийскую батарею. Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие».

Дальше идет не хуже: «Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции». Сломал во время рекламной акции железную американскую раскладушку, когда лег на нее. Очень много ел. «Батоны разрезал не поперек, а вдоль. Прежде чем идти в гости, дед обедал... Вернувшись домой из гостей, с облегчением ужинал... Все правильно. А какой еще, по-вашему, дед мог и быть у такого человека, как Довлатов? Только такой!

«Как-то раз в Щербаковском переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой. Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги».

Интересно, что за самим Сергеем Довлатовым тоже числится такой подвиг! Кто из них, интересно, «поделился подвигом» — он или дед? С самим Довлатовым (если верить) произошло следующее. Однажды он, ревнуя, вышел из дома за Асей и поднял за бампер машину ее поклонника. Эта история считалась абсолютно достоверной — мне ее рассказывала сама Ася. Какое-то просто поразительное сходство подвигов деда и внука! Единственное объяснение этому можно найти лишь в том, что внука звали — Сергей Довлатов.

«Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе считали его вспыльчивым. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал:

— АБАНАМАТ!

...И в доме наступала полнейшая тишина».

Дальше Сергей рассказывает о том, как дед его вступил в столкновение со стихией, а именно с землетрясением...

И вот, от таких, столь колоритных предков и появился Сергей Довлатов! А какие еще, спрашивается, предки должны быть у человека, который и сам рано стал легендарным? Довлатов строит свой героический миф не со дня своего рождения, а с гораздо более древних времен! Вот так работают некоторые люди, создавая свой образ.

«У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать...» Можно сказать — путаем уже и сейчас.

«У деда Исаака было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда — в Бельгию. Старшие — Михаил и Донат — тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом. Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду равнодушны...»

Из этого повествования вывод такой: зато Сергей вобрал и воплотил в себе мощь и красоту обоих этих дедов!

Папа Сережи, Донат Мечик, тоже был человеком весьма примечательным — и хотя в семье давно уже не жил, тоже дал сыну правильную закваску. Биография его пунктиром обозначена в рассказе об отце из сборника «Наши». Но поскольку в нем, как и во всех произведениях Довлатова, достоверность отступает перед вымыслом, стоит обратиться к фактическим данным:

«Донат Исаакович Мечик (20.VI.1909 — 22.X.1995) родился во Владивостоке. Закончил Ленинградский театральный институт. По окончании был принят в созданный Л. С. Вивьеном Театр актерского мастерства. В тридцатые годы занимался театральной режиссурой, ставил спектакли в филиале Молодого театра С. Радлова, в Театре транспорта, был художественным руководителем Республиканского драматического театра Мордовской АССР и Ленинградского районного драматического театра. Начиная с 1928 года совместно с Вивьеном осуществлял постановку спектаклей в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина... В период эвакуации заведовал в Новосибирске литературной частью Пушкинского театра.

После войны занимался эстрадной режиссурой (работал режиссером Концертного бюро Ленинградской Филармонии, киностудии «Ленфильм»). Писал произведения для эстрады. Руководил производственно-творческой комиссией в профкоме драматургов. В Ленинграде вышла его книга «Искусство актера на эстраде» (1972) и ряд статей, по-

священных театру и эстраде. С 1967 по 1980 год руководил эстрадным отделением Музыкального училища при Ленинградской Консерватории, где преподавал актерское мастерство.

В 1980 году Д. Мечик эмигрировал в Соединенные Штаты, где вышли его книги «Выбитые из колеи» (1984), «Закулисные курьезы» (1986) и «Театральные записки» (1989). Его воспоминания печатались в русскоязычной эмигрантской прессе (сборник «Руссика-81», журналы «Стрелец» и «Литературный курьер», газеты «Новый американец», «Новое русское слово», «Панорама», «Мир» и др.), а также во многих российских газетах и журналах.

Уже зная весьма эксцентричного молодого писателя Довлатова, я с интересом разглядывал и его отца. От кого происходят такие занятные личности, как Сережа?

Нужно сказать, что Донат Мечик был в те годы гораздо более авторитетен в городе, чем его непутевый и еще никак не определившийся сын. С интересом проникая на всяческие театральные просмотры и модные вернисажи (культурная жизнь города тогда была весьма бурной), я то и дело видел Доната Мечика: он всегда что-то уверенно излагал в центре самой авторитетной компании, встряхивая жесткими седыми прядями на прямой пробор — и все, кивая, с ним соглашались. Безусловный и безупречный авторитет!

При этом просачивались сведения (распространяемые, я думаю, и насмешливым сыном), что Донат Исаакович всего лишь преподает эстрадное мастерство в каком-то училище и к высокому искусству причисляет себя несколько самонадеянно... Неважно! Главное — кем ощущает себя человек, а не кем он является по служебному расписанию. И он ставил себя весьма высоко, и все этому порядку подчинялись — или делали вид.

Помню встречу с ним лицом к лицу на углу улицы Рубинштейна и тогда Пролетарского, ныне Графского переулка. Шел ли он по улице Рубинштейна, возвращаясь после душевной беседы с сыном?.. Не уверен, но очень было похоже. Он шел, невысокий, поджарый, в вызывающе роскошном желтом пальто с острыми лацканами (таких «польт» в России не продавали), и с двух сторон шли две статных красавицы, каждая по меньшей мере на голову выше его, с почтением ему внимающие... видимо, ученицы.

Лицо его, слегка рябоватое, с глубокими складками по краям рта, с расчесанными на прямой пробор седыми прядями, было значительным и скорбным. Взгляд его небольших глаз был весьма надменный, значительный и слегка утомленный. Многие, даже незнакомые люди на него засматривались — с таким достоинством он нес себя.

Сын его, гигант и красавец, внешне вовсе был не похож на него — но что-то очень важное (помимо литературных способностей), он от него получил. Как говорят умные старые евреи, в жизни важнее всего «выходка», умение войти так, чтобы все взгляды повернулись к тебе.

Помню, я ходил к одному парикмахеру, в самую обычную обшарпанную парикмахерскую... но каким достоинством, каким величием веяло от него! Знаменитейшие люди (помню, к примеру, Кирилла Лаврова) покорно ждали очереди к нему — хотя ничего особенного он не делал, да и что такого особенного можно сделать с растительностью на голове, да еще в строгое советское время? Но у него было главное — «выходка», умение преподнести себя как бесценный дар.

И Сергей, безусловно, перенял этот дар у папы — и где-то даже его превзошел. Его появление всегда обставлялось, как событие.

Кроме этого бесценного дара, Донат Исаакович, будучи давно в разводе с семьей, тем не менее, дал Сергею множество правильных советов — порой, правда, театральнo-напыщенных, что позволило Сергею потом блистательно посмеяться над папой в своих сочинениях. Похоже, отец был первой «моделью», на которой Сережа оттачивал свою наблюдательность и безжалостный юмор. «В жизни отца рыба занимает такое же место, как в жизни Толстого религия», — вот одна из «звонких монет», которыми сын расплатился со своим родителем. Довлатов, помню, с усмешкой говорил мне: «Отец довольно часто бывает за рубежом, но когда я спрашиваю его о духовных ценностях — он почему-то рассказывает мне, какое замечательное было белье в номере, и как прекрасно было вино!»

Эта ирония улетучилась, когда Сергей «загрел» в армию — тогда отец стал для него самым важным человеком. Их переписка бесценна. Да и чисто практически — именно Донат Исаакович, в конце концов, вытащил Сергея из самого пекла. «Повар» должен вариться в супе — но должен вовремя выпрыгнуть из него.

Думаю, что многие из нас, выросшие тогда, должны благодарить жизнь за отличных родителей. Мои родители тоже разошлись — но позже, чем у Довлатова, уже когда я учился в институте. Но, тем не менее, до сих пор вспоминаю их дни рождения и другие праздники в доме как что-то замечательное. Красивый, обильный стол, но главное — большое количество красивых, солидных, явно успешных друзей в хороших костюмах, с орденами или планками, с прибавками, анекдотами, песнями, а иногда и стихами собственного сочинения. Родители моих школьных друзей (я больше выбирал друзей успешных) вышли из самых разных сфер (мои были агрономы, селекционеры) но все они, как и мои родители, были людьми уверенными в себе и своем деле, сильными и неза-

висимыми, которых не так-то легко было сбить с толку или настолько запугать, чтобы они отказались от шумных застолий и острых анекдотов (многих из них «пугали» вплоть до ареста, но сути их это не изменило). Спасибо родителям — они нас не только родили, но и показали, как честно и доблестно жить «при любой погоде». И таких родителей, кстати, было много, кого ни спроси из моих друзей — все довольны. Нет, не было тогда, как многие считают, повального рабского страха — но не было и всеобщего бездумного энтузиазма. Родители наши трезво понимали, что Сталин — злодей, сгубивший множество невинных людей... Ну и что? Ложиться и помирать? Нет, лучше работать, и жить, и получать все возможные удовольствия... Думаю, для нас это было самое правильное воспитание. Отец мой не однажды ругался вдрызг с самыми главными академиками, секретарями обкомов по сельскому хозяйству, референтами ЦК... тогда его переводили в деревню, в самые захудалые селекционные хозяйства — и именно благодаря суровым условиям он выводил там самые лучшие, самые стойкие сорта.

— Куда они меня денут? Земля-то есть везде, значит, можно сеять! — усмехался отец.

Так же «кидали» туда-сюда и отца Сергея, но дело всегда было при нем — и везде он приспособлялся, делал дело, находил друзей, полезных людей, поклонниц — и побеждал.

Стойкости, оптимизму, умению работать везде и всегда мы обязаны, конечно, нашим родителям. Сказать про них, что то было поколение запуганное, раболепное, бездеятельное, может только полный дурак — ему, значит, досталось от родителей лишь слабоумие...

Так что заголовок — «Семья и школа» — самый подходящий для этой главы: семья на первом месте. Семья в жизни Довлатова, конечно, была важнее школы. И, вспоминая его весьма неробкую семью, понимаешь, как к семнадцати годам из неловкого первоклашки образовался весьма эрудированный и самоуверенный красавец, ценивший свой неповторимый стиль речи и поведения, уж конечно, гораздо выше всех тех банальностей, что окружали его в школе, а потом и в университете. И эту незаурядную свою сущность Довлатов вскоре продемонстрировал во всей красе.



В сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник Сергею Довлатову (автор — академик Российской Академии художеств, лауреат Государственной Премии России В. Б. Бухаев).

Как уже кем-то подмечено, журнал «Аврора» предвосхищает события примерно на год: ведь еще в прошлом году снимок этого памятника красовался на обложке четвертого выпуска нашего журнала (тот номер вышел в свет 4 сентября 2015 г.) с вопросом: «Быть или не быть памятнику Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге?»

«Быть!», — ответили петербургские власти и неравнодушные граждане.

И радует, что к 75-летию замечательного петербургского писателя Сергея Довлатова, которого, как известно, «читают даже те, кто ничего не читает», в нашем городе, в одном из «довлатовских» мест наконец-то установлен ему памятник.

Фото Сергея Компанийченко

АВРОРА

Редакция:

Главный редактор: **Кира Грозная**

Илья Бояшов (*ответственный секретарь*), **Роман Всеволодов** (рубрика «Дебют»),

Сергей Компанийченко (*художественный редактор*),

Вячеслав Лейкин (*отдел поэзии*), **Татьяна Лестева** (*отдел критики*),

Даниэль Орлов (*отдел прозы*), **Виталий Познин** (*отдел публицистики*),

Виктория Черножукова (*литературный редактор*)

Корректор: **Александр Ковбас**

Верстка: **Виктория Ивашкова**

Редакционный совет:

Председатель: **Валерий Попов**

Владимир Бауэр, Михаил Бурдуковский

Вадим Лапунов, Анатолий Пантелеев,

Дмитрий Поляков-Катин, Лидия Сычева,

Владислав Чернушенко, Владимир Шемшученко

Адрес для писем:

197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,
Журнал «Аврора»

Тел.: (812) 230-65-75

E-mail: avrora19-69@mail.ru, www.avrora69.ru

Рукописи принимаются только в электронном виде.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель:

Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора».

Альманах «Журнал „Аврора“»

Зарегистрирован 03.07.98 Северо-Западным региональным управлением

Государственного комитета по печати Российской Федерации.

Регистрационный № П 3165

Адрес редакции, издателя и учредителя:

197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А.

Подписано в печать 08.11.2016. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная.

Тираж 1000 экз. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23. Заказ № 723

Отпечатано в типографии ГАОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический колледж»

198264, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 31

Цена свободная

Оформить подписку на альманах «Журнал „Аврора“» Вы можете в любом отделении связи.
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» — 42468. В каталоге «Прессинформ» — 70033.

По вопросам приобретения номеров за предыдущий период обращаться в редакцию.